

5-1970

стихи

Михаил Львов

Ветераны

Поседели комбриги
И комдивы мои.
Пишут первые книги.
Вспоминая бои.
Постарели комвзводы,
Кто вернулся с войны.
Не стареют народы,
Но стареют сыны.
Ордена и медали
Героических лет
От осколков — спасали,
От старения — нет.
Ну, а кто не вернулся.
Кто навек молодой?
Кто теперь обернулся
Обелиском, плитой!
Им помочь невозможно —
Не вернуть их назад.
Потому и тревожно
На душе у солдат.
О мои командармы.
Полководцы атак!
Были так легендарны.
Были молоды так!
А теперь тяжелеют,
Но на жизнь не ворчат.
И лелеют-жалеют
Неразумных внучат.

Другу

О мертвецах поговорим потом.
М. ДУДИН

Они остались. Мы вернулись
С признанием счастья и вины.
С нелегкой музыкой столкнулись
Послевоенной тишины.
Сменялись осени и зимы.
Менял нас трудный наш маршрут.
Они одни неизменимы.
Они, как слезы, в нас живут.
И с каждым годом разрастаться
Необъяснимой той вине.

Нам никогда не оправдаться
Перед погибшими в войне.
Как верят в совесть, в них мы верим.
Судьба их — нам теперь судья.
Себя погибшими проверим,
Проверим
павшими
себя.
Вдали от молодых и модных.
Два побратима пожилых.
Поговорим о наших мертвых,
А после можно о живых.

*

У меня на столе
есть Джалиля портрет.
Рядом —
смотрит
из траурной рамы Хикмет,
И — с гвоздикою белой —
глядит, улыбаясь,
Так похожий на них
человек —
Белояннис.
Все они
никого,
ничего не боялись.
Не случилось им рядом
шагать по земле.
Но портреты их
рядом
стоят на столе.
Есть какая-то нить,
что связует бесстрашных
За предельной чертой —
как солдат — в рукопашных.

Юлия Друнина

В сорок пятом

Шли девчонки домой
Из победных полков.
Двадцать лет за спиной
Или двадцать веков!
Орден на груди
Все же меньше, чем ран.
Вроде жизнь впереди,
А зовут — «ветеран».

Шли девчонки домой.

Вместо дома — зола.
Ни отцов, ни братьев,
Ни двора, ни кола.
Значит, заново жизнь.
Словно глину, месить.
В сапожищах худых
На гулянках форсить.

Горько... В черных полях
Спит родная братва,
А в соседских дворах
Подрастает плотва.
И нескладный малец
В парня вымахал вдруг.
Он сестренку твою
Приглашает на круг.

Ты ее поцелуй.
Ты ему улыбнись.
Повторяется май,
Продолжается жизнь!

Правила игры

Помнишь нашу детскую игру!
Полотенце бьется на ветру.
Полотенце — парус, стол — корвет.
Нам одиннадцать веселых лет.

Помнишь, друг мой, наш отважный кэп,
Как свистели мачты, ветер креп!
Я стою спокойно у руля.
Крысы удирают с корабля.
(Вечно роль крысиную играл
Парень по прозвищу «Фискал».)

Крысы удирают с корабля,
Прыгая в кипящую волну.
Рифами ощерилась земля,
И, похоже, нам идти ко дну.
Крысы удирают с корабля.

Шквальный ветер нам кричит:
— Держись!
Я держусь за руль, держусь за жизнь.
Жизнь, похоже, у меня одна,
А вода морская солона.
Крысы удирают с корабля.

Если захлебнуться суждено,
Если все равно идти на дно.
Веселей на пару с кораблем.

За рулем, ребята, за рулем!
Крысы удирают с корабля!

...С той поры прошло немало лет,
Много бурь трепало мой корвет.
Крысы удирали с корабля.
Но не покидала я руля:
В душу с той — ребяческой — поры
Врезались мне правила игры:

Если захлебнуться суждено,
Если все равно идти на дно.
Веселей на пару с кораблем,
За рулем, ребята, за рулем!
Крысы, удирайте с корабля!

*

Не встречайтесь с первою любовью,
Пусть она останется такой —
Острым счастьем.
Или острой болью,
Или песней, смолкшей за рекой.
Не тянитесь к прошлому:
Не стоит.
Все иным покажется сейчас...
Ведь должно же самое святое
Неизменным оставаться в нас.

*

Бывает жизнь забавною вначале:
— Ах, первое свиданье! Первый бал!
У юных девушек свои печали:
— Не позвонил! С другою танцевал!
У юных девушек свои печали...

Но плачут женщины одни в дому.
Их похоронки с милыми венчали,
Не в дымке молодость их скрылась,
А в дыму.
В дыму войны.
В их душах обожженных
Тоскливый вой сирены не затих.
Их никогда не называли «жены»
И вдовами не называли их:
Невестами с любимыми расстались,
Чтоб целый век одним провековать.
Ссутулясь, подбирается к ним старость,
И вот уже их величают — «мать».
Они же колыбелей не качали.
Они одни встречают Новый год...

А ваши, девочки, светлы печали,
Хотя, бывает, плачете ночами.
Клянусь вам, все до свадьбы заживет!
Пусть только вновь сирена не взревет,
Пусть не утонут города во мгле —
Хватает одиноких на земле!

От имени павших

(На вечере памяти поэтов,
погибших на фронте)

Сегодня на трибуне мы — поэты,
Которые убиты на войне,
Обнявшие со стоном землю где-то,
В своей ли, в заграничной стороне.
Читают нас друзья-однополчане.
Сединами они убелены.
Но перед залом, замершим в молчанье, —
Мы, парни, не пришедшие с войны.
Спят юпитеры. А нам неловко:
Мы в мокрой глине с головы до ног.
В окопной глине каска и винтовка,
В проклятой глине тощий вещмешок.
Простите, что ворвалось с нами пламя,
Что еле-еле видно нас в дыму,
И не считайте, будто перед нами
Вы вроде виноваты, — ни к чему.
Ах, ратный труд — опасная работа,
Не всех ведет счастливая звезда.
Всегда с войны домой приходит кто-то,
А кто-то не приходит никогда...
Вас только краем опалило пламя,
То пламя, что не пощадило нас.
Но если б поменялись мы ролями,
То в этот вечер, в этот самый час.
Бледнея, с горлом, судорогой сжатым,
Губами, что вдруг сделались сухи.
Мы, чудом уцелевшие солдаты,
Читали б ваши юные стихи.

ПРОЗА

РОМАН

Иосиф Герасимов

ТУДА И ОБРАТНО

Часть первая

ЭШЕЛОН

1

Был июль, и было жарко, двери теплушки не закрывали даже на ночь. Можно было спать сколько угодно, хотя была дана команда проводить занятия, чтобы был какой-то режим, но все равно никакого режима не было, потому что на станциях останавливались редко и в разное время: иногда будили ночью и звали дневальных с ведрами на кухню, чтобы получить обед, уходили в караулы на платформы и стояли там тоже разное время, иногда и по восемь часов, но никто на это не жаловался, потому что ехать на платформах было хорошо.

Так шел эшелон трое суток. Отмелькали сожженные деревни Калининщины и пошли необстрелянные леса, целехонькие станции с аккуратными копнушками сена, ягодные поляны, тихие речки в диких зарослях. Безветренная неподвижность. Тишина. Сначала все это казалось неправдой: неужто на самом деле есть такое? А когда поняли: да, есть, вот оно стоит, живое, нетронутое, — присмирели и часами сидели у раскрытых дверей. В них иногда задувало паровозной гарью, она пахла печеной картошкой, это был хороший, крепкий запах, очень домашний, и от него и от стука колес приходило успокоение.

— В штабном девочки едут, — сказал Коваль. Он сказал это лениво и тут же зевнул.

Все промолчали, и он сказал еще раз:

— Я видел троих. Ничего девочки! Телефонистки. Тогда отозвался Логачев:

— А у меня в Виннице была любовь. — Он лежал на нарах, лицом к дверям, на животе, подобрав под подбородок вещевого мешок.

— Травить будешь? — спросил Удодов.

— Нет, — сказал Логачев. — Это была любовь. Про нее нельзя травить.

— Сколько дней? — серьезно спросил Коваль.

— Пять, — ответил Логачев.

Я знал, что сейчас он все равно начнет рассказывать, и все это знали и ждали, потому что иначе Логачев просто не мог, и, хотя ему никто не верил, его всегда слушали.

В этот эшелон попал я случайно: выписался из госпиталя за два дня до конца войны и направился под Кенигсберг, чтобы отыскать там свой полк, и, пока ехал на попутных, фронта не стало, штабы снялись. В Риге повстречал знакомого майора, тот сообщил, что дивизию нашу направили в Карелию и там демобилизуют из нее первую очередь, а остальные, кто помоложе, еще немного послужат. Вместе с майором стал добираться до Карелии на забитых до отказа поездах, которые шли без всяких расписаний; в пути мы потеряли друг друга, и я угодил в Красные казармы, куда патрули Ленинграда сводили всех отставших от своих частей. Тут же написал письмо полковому командиру, чтобы тот затребовал меня через военную комендатуру, но ответа не было более месяца, и я решил, что письмо или затерялось, или же у части сменился номер полевой почты, и тогда уж мне никак не добиться вызова.

В казармах жилось вольно, хотя увольнения в город давали с трудом, но нарядами и построениями не обременяли, разговоров только и было — о демобилизации. Исполнилось мне в то время двадцать два года, а многим товарищам моим было по двадцати лет, и хотя каждый из нас успел хорошо повоевать, мы понимали: за один прием всех отпустить не могут, сначала уйдут домой те, кто постарше, и потому мы мечтали как о самой малости: если выпадет послужить хотя бы с полгодика, — сверх этого уж никак нельзя, — то лучше бы поближе к дому. Время от времени появлялись в казарме чужие офицеры, прозвали их «вербовщиками», так как приходили они предлагать службу в различных соединениях, которые нуждались в пополнении.

Офицеры эти понимали, что собраны в казарме большей частью те, кто в досталь хватил фронтовой жизни и теперь, после Победы, требовал к себе уважительного отношения, потому не прибегали к приказу, а запросто садились к столу и впрямь, как

вербовщики, ведущие дела по найму, старались потолковой объяснить, какие им воинские специальности нужны; знали они, что солдат в первую очередь интересуется, где, в каких краях им предстоит нести службу, но не спешили с ответом, стараясь сначала заманить хорошими условиями, и потому не скупилась на посулы. Но и у солдат взгляд был поднаторей, и, слушая офицера, они могли загодя определить, что за часть он представляет и как там будет служить. Я не спешил, все ждал ответа от своих, но, когда стало ясно, что надежды нет, вдруг решил, — офицер, который пришел в тот день, был скуп на слова, часть свою не возносил в похвалах, а о месте только намекнул, что скорее всего жить придется где-то на Урале. А так как дом мой был в Свердловске, это все и решило...

— По имени она была Марья, — сказал Логачев. Мы уже привыкли, что когда он начинал, то первую фразу произносил негромко, но торжественно; она звучала у него, как заголовок к повествованию; при этом он ни на кого не смотрел, уставившись в пространство наивными серыми глазами, словно возбуждал в памяти пережитое и пытался поточнее взглянуть в него, чтобы не упустить важных подробностей. Это его шаманство действовало, все притихало.

— По имени она была Марья, — повторил он еще раз. — У нее были медные, как апельсин, волосы.

Он был красивый парень, этот Логачев, высоколобый, с крепким, прямым носом законченной классической формы, словно его отлили по гипсовому слепку с какого-то греческого бога, и нос этот отлично пришелся на удлиненное лицо с насмешливыми губами и впадинкой на остром подбородке.

— Прелестно, — сказал Коваль.

— Дешевка, — отозвался лейтенант Катанцев и сплюнул.

Прежде он никогда не вмешивался, если кто-нибудь начинал травить, и мне казалось, он не очень-то вникал в смысл наших рассказов, он вообще был молчалив и всегда хмур; как только я его увидел, то сразу понял: со взводным нам не повезло.

Этому лейтенанту было лет двадцать семь, но нам он казался если не стариком, то, во всяком случае, много прожившим человеком, потому что в теплушке собрались ребята от двадцати до двадцати двух лет, и каждый из нас хоть что-то да стоил — это можно было определить по орденам и медалям на гимнастерках. У Катанцева же была одна медаль, «За боевые заслуги». Все на лице его было закруглено: скулы, подбородок, картофелевидный нос, и даже губы уходили к углам скобкой. Голову он брил наголо, причем делал это сам опасной бритвой, не глядя в зеркало, и когда он занялся этим с утра, сидя на краю нар, то я видел на лицах ребят любопытство: порежется или нет; но он сдирал с головы лезвием мыльную пену, пальцами левой руки быстро ощупывал обритое место и снова проводил по нему лезвием; череп его был, как розовый, туго накачанный мяч, и казалось, бритва на нем пружинит и отскакивает.

— Здорово!. — сказал Коваль. — Это почище чем танец босиком на колючей проволоке.

Потом лейтенант забрался в угол, где было его место, и стал там рыться и что-то переключать в вещмешке. «Трофеи», — подумал я. Впрочем, мне было все равно, чем там у него был набит мешок, я думал только, что с ним нам будет несладко. Он скорее всего из тех неудачников, которых война обошла и продвижением по службе и наградами, а там, куда мы едем, будет казарменный режим, а это тебе не траншея и не землянка, там строгая служба, и все права над тобой у взводного, а такой неполноценный лейтенант очень легко может сделать тебе веселую жизнь. Вот же, даже сейчас другие взводные собираются в штабных вагонах, там у них вроде офицерского клуба, а этот едет всю дорогу с нами, и за все эти три дня пути нельзя было отделаться от ощущения, что каждое твое движение контролируют его маленькие, острые глаза.

И вот, когда он сказал это свое «дешевка», Логачев приподнял голову с мешка, в который упирался его подбородок, посмотрел на лейтенанта так, будто его неожиданно

разбудили. Я и прежде видел такой взгляд у людей. Ничего хорошего в нем не было; это — как гладкое озеро, на дно которого швырнули связку гранат, и через секунду она взорвется.

Логачев медленно, по-змеиному подтянул свое длинное, гибкое тело, рывком вскочил и встал в проходе, взяв стойку «смирно»; при этом острый подбородок с выемкой задрался вверх.

— Что ты в женщинах понимаешь! — зло сказал Катанцев, у него посинело на круглых скулах и зажглись маленькие глаза. '

Я навидался и в госпитале и в Красных казармах, как вспыхивали стычки из-за пустяков. Мы хоть и были молоды, но уже так навоевались, что нервы были, конечно, у всех никудышные, и если на войне каждый умел держать себя в рамках, потому что думал и жил другим, то в это промежуточное время безделья мог вдруг не сработать какой-то там предохранительный винтик или отскочить какая-то запайка, которая держала накопившуюся в тебе злость, и тогда уж нельзя было остановиться.

Но ничего не произошло. Логачев стоял, не шевелясь.

— Сядь, — сказал Катанцев и отвернулся, но отошел не сразу, все налилось в нем, все было тяжелым: и кулаки, лежащие на коленях, и затверделые щеки, и обритая голова, склоненная на вздувшейся шее. И, глядя на него, я чертовски пожалел, что не сумел добраться до своих в Карелии: там у меня были друзья и много знакомых в штабе и среди офицеров, — и я стал думать, как бы мне там хорошо служилось. А этот взвод, куда я попал, весь был собран из ребят, которые воевали в разных частях, им еще надо притереться друг к другу, пообвыкнуться, понять, кто чем дышит, и если это легко бывает на фронте, то очень тяжело в мирной жизни.

Правда, один старый знакомый у меня был здесь: это Удодов. В первый же день он подошел ко мне и сказал:

— Привет гвардейцу!

Я долго смотрел на него, стараясь вспомнить, где я видел эту смешную физиономию с узкими монгольскими глазами, косыми — это про такие глаза говорят: один на вас, другой в Арзамас, — близко посаженными к кривому носу, будто этот самый нос он сморщил один раз набок, да так это у него и осталось; все в лице Удодова было асимметрично, даже правое ухо казалось больше левого и торчало из-под пилотки, как локатор. Но вот что странно: чтоб увидеть всю эту асимметрию, надо было взглянуть в Удодова, а с первого взгляда все казалось на этом лице правильным, только когда он смотрел на вас, чудилось, что он ехидно подсмеивается. За это очень даже легко можно было при первом знакомстве невзлюбить Удодова. Но на самом деле никакого ехидства и высокомерия в нем не было — просто у него было такое строение лица.

Я так и не смог вспомнить, где мы были вместе, и тогда он напомнил:

— Пятачок на Великой помнишь?

Вот когда я по-настоящему удивился: как же он-то не забыл, ведь прошло с тех пор полтора года, и за это время он наверняка повидал столько людей, что всех их невозможно удержать в памяти!

— Значит, ты живой? — сказал он.

— Я-то живой, — ответил я. — А вот как ты живой?

— А черт его знает! — ответил он. — Давай закурим.

Мы закурили и стали вспоминать, как это было на реке Великой. Мы там торчали, наверное, полгода, потому что война остановилась, уперлась в эту водную преграду и не могла сдвинуться дальше, немцы понастроили на том берегу сильнейшие укрепления, и мы тоже очень здорово зарылись в землю, обжились в землянках в пять здоровенных накатов. Немцы постреливали с правого берега, а мы с левого. Деревни вокруг были все сожжены, по ним уже так пристрелялись, что даже не осталось печных труб, и мы ходили туда по ночам, искали ямы с картошкой — это мы здорово наловчились делать. Почва в тех местах была песчаная, и картошка в ямах хорошо сохранялась, она была разваристой, рассыпалась в

котелках, поблескивая так, будто ее густо присыпали солью. Многие у нас на этом дополнительном пайке хорошо отъелись.

Но было на том участке фронта одно место, где шла настоящая, злая война. Наши отбили на правом берегу плацдарм, и, как все такие плацдармы, его называли «пяточок», туда удалось переправить артиллерию и самоходки, и немцы лупили по этому пяточку со страшной силой, зимой лед у переправы весь был издолбан снарядами. Чтобы не получилось так: одни загорают в землянках, а другие стоят насмерть, — наши меняли на пяточке подразделения. Я попал туда в весне, когда оттаяли косогоры и из тыла стали прибывать на рубеж танки, и всем стало ясно: скоро начнем наступать.

Вот там я и встретил Удодова. Не помню, зачем уж мне нужно было добраться от траншей на КП, но я тогда явно свалил дурака, обманувшись затишьем по фронту, пошел не по проверенной дороге лощинкой, а двинулся напрямик через горку. А, надо сказать, этот склон был весь у немцев на виду. И вот когда я прошел с полпути, слева от меня рванул снаряд, да так близко, что я едва успел ткнуться носом в пенек. Потом я выглянул и увидел немецкую самоходку: она очень нагло стояла за болотцем, и видно было, как покачивался ее ствол. И я тут же подумал: сейчас она даст еще раз — и точно, тут же ухнул выстрел с откатом, и снаряд разорвался немногим выше первого. Я очень удивился: неужели эта самая самоходка заметила меня и решила поохотиться за одним человеком? Как бы там ни было, но дело было плохо, потому что пенек — это совсем не укрытие и надо было куда-нибудь смыкаться. Оглядевшись, я увидел, что неподалеку, за валуном, есть окопчик, и, тут же решившись, рванул к нему, и прыгнул, но тотчас чуть было не выскочил обратно, потому что подо мной сразу шевельнулось живое.

— Си-илен, — пропели над моим ухом.

Тогда я и увидел его лицо, и сразу меня взяла злость, потому что мне почудилось: он подсмеивается надо мной. Но я ведь и вправду испугался; не знаю почему, но когда почувствуешь под собой живое, всегда вздрагиваешь от страха сильнее.

— А ты что тут разлеся? — сказал я. Тогда он поморщился и попросил:

— Слезь, пожалуйста, с ноги.

Тут я увидел, что штанина у него распорота и под ней видна перевязка.

— Ты что, ранен? — спросил я.

— Есть маленько, — сказал он. — Задело, но не сильно.

Самоходка все постреливала, и я понял, что дотемна нам из этого окопчика не выбраться. Не помню, о чем мы там говорили, но одно сохранилось в памяти — нож. Пока мы стояли в обороне, ребята из оружейных мастерских наловчились делать великолепные финки с наборными ручками из цветного плексигласа и алюминия, их меняли на зажигалки, мундштуки, всякие трофейные побрякушки и, конечно, на водку и табак. Нож, который я увидел у этого парня, был особый, такой мне прежде не встречался — это был настоящий боевой нож, из отличной стали, оттянут и наточен, и ручка у него была набрана из дерева, отполирована, и по ней шли медные прожилки.

— Махнемся, — сказал я ему. — Хочешь на часы, у меня швейцарские.

— Ты не обижайся, — ответил он. — Но я не могу. Это от кореша талисман. А он погиб.

— Ясно, — сказал я, хотя долго еще продолжал поглядывать с завистью на эту финку в добротных кожаных ножнах.

Потом у него начался жар, и, едва стемнело, я выволок его из окопчика и оттащил в медсанбат.

Вот и вся встреча. Такую забыть очень легко.

Между прочим, из-за этого самого ножа Удодов и столкнулся с Катанцевым.

— Снять, — сказал Катанцев, увидев его на ремне у Удодова. — Не положено.

Тут надо знать одну вещь: все мы везли с собой что-нибудь неположенное: так, у меня в мешке хранился завернутый в тряпицу никелированный офицерский «вальтер» с двумя запасными обоймами. Уберечь его было не так-то легко, потому что еще в Красных

казармах и позднее в этой части, когда мы готовились к посадке в эшелон, нам устраивали несколько раз «поверочку»; для этого со всеми вещами выстраивали по одному и заставляли выворачивать карманы и мешки. Нужно было немало выдумки, чтобы утаить пистолет или нож. Я-то понимал, как трудно было Удодову пронести такую великолепную финку через госпиталь и другие передраги, чтобы никто на нее не позарился, и удивился, зачем он ее носит на ремне.

— Не могу, — сказал Удодов лейтенанту.

— Сам сниму, — сказал Катанцев, и по всему было видно, что это не просто угроза.

Вот тогда Удодов вскипел, но все же финку убрал...

Так и получилось, что Роман Удодов был единственным моим знакомым в этой части; у нас было что вспомнить, хоть и немного, но было, и еще мы могли рассказать друг другу, как каждый из нас жил за это время, после той встречи, а это не так-то уж мало. Вот почему мы и стали держаться вместе.

2

Сначала мы увидели, как разбежались рельсы, их стало очень много на огромной площадке, где блестели черным мазутом лужи, набросан был мусор: смятые пачки от папирос и махорки, клочки бумаги, старая солома, — и за этой площадкой тянулись пыльные кусты, листья их покрылись сажей и копотью; рельсы блестели на солнце, словно их только что отшлифовали, и по этим приметам можно было понять, как много прошло здесь поездов. Потом потянулись эшелоны, большинство из них было похоже на наш: теплушки, теплушки, набитые солдатами, платформы с танками, зачехленными орудиями, «катюшами», зелеными ящиками, — и вдруг среди всего этого военного, когда уж состав наш замедлил ход, проплыла платформа, на которой укрытый брезентом и обтянутый веревками стоял большой концертный рояль орехового дерева и рядом с ним пузатые, с золочеными ручками, обитые яркой материей в красных розах кресла.

С нашим лейтенантом Катанцевым происходило что-то неладное: он стоял у раскрытой двери, весь напряженившись, вытянув шею, лицо его пошло от такого напряжения пятнами; он зажал в кулак лямки туго набитого мешка, и, когда стукнулись с тяжелым грохотом буфера, и заныло железо под вагоном, и задрожал от удара дощатый пол, Катанцев спрыгнул вниз. До земли, усыпанной грязной от масла галькой, расстояние было немалое, ноги лейтенанта подвернулись, и он, перегнувшись, чуть не пошел головой в эту гальку, но сделал прыжок, удержался и тут же, повернувшись к нам, крикнул, указав на меня:

— Сержант, за меня остаешься! — и сразу же исчез, словно растворился на глазах в знойном, насыщенном дымом, запахах гари и пыли воздухе.

— Фраер, — сказал Логачев. — Не иначе базарить ринулся, барахлишко трофейное сбывать, — и тут же посмотрел на меня. И все остальные, будто по его команде, повернулись ко мне, и я сразу понял, о чем они подумали, потому что у Коваля на такой случай хранились наши общие две буханки хлеба и пайковый сахар.

— Конечно, — сказал я. — Об чем речь? Только команды дождемся.

А она не замедлила явиться, эта самая команда: вдоль вагонов уже бежали связные, только галька с хрустом разлеталась из-под подошв их сапог; они знали, что несут хорошую весть, и выкрикивали ее радостно.

— Стоянка два часа! Дневальным на кухню с ведрами!

— Все ясно, — подмигнул мне Коваль черным плутовским глазом. — Паровозную бригаду менять будут. Двинулись?

— По-тихому, — предупредил я.

Мы по одному спрыгнули вниз, впрочем, эта предосторожность была не нужна, потому что все узкое пространство между нашим и соседним эшелонами было забито солдатами. Они шумели, гоготали, приплясывали, разминая ноги. Чтобы не тратить зря времени, мы поднырнули под вагон и тогда услышали: где-то впереди, за платформами,

груженными углем, играет оркестр. На этот звук мы и пошли, пробираясь через составы, и когда обогнули последний, — а он был пассажирским, — то сразу же увидели вокзал.

Это было длинное одноэтажное здание с прямоугольными колоннами, полукруглыми окнами, окрашенное, наверно, несколько лет назад в зеленый цвет, потому что эта зелень с трудом пробивалась сквозь густой, растрескавшийся слой прочно уплотненной пыли. Там на платформе возле колонн и стоял оркестр, странный по своему подбору: седая тупоносая женщина тяжело била в барабан, два старика в железнодорожных фуражках дудели в медные трубы, паренек играл на баяне. Гремел марш из кинофильма «Встречный», и эта довоенная музыка плыла над густой толпой, над куском красной материи, что висела у входа в вокзал: «Привет демобилизованным воинам!». Бог весть, что делалось на перроне! Женщины, детишки, солдаты сбились в кучу, и там плакали, голосили, кричали, и весь этот шум смешивался с маршем, паровозными гудками, металлическим лязгом вагонов. Возле стены вокзала, вытянувшись в длинный ряд, стояли женщины с ребятей, стояли затаившись, словно ошеломленные громкими звуками, и взгляды их рассеянно блуждали вдоль пассажирских вагонов.

— Эх, везет же человекам! — сказал Логачев. — Домой, братишки, в постельки к женам!

— Ладно, пошли, — сказал я. — Время.

Мы твердо знали, что рынок должен быть тут, возле вокзала. И едва мы свернули за угол, где был дощатый старый забор, как увидели справа площадь, ограниченную рядами фанерных ларьков, и там поставлены были длинные столы, бревенчатые их опоры врыты в землю, и между ларьками у столов и дальше, где виднелось несколько подвод, кружилась, толкаясь, орала разномастная толпа.

— Шикарно! — сказал Логачев, и его классический нос плотноядно раздулся. — Такой великолепной толкучки отродясь не видел, — и тут же завопил: — Эх, бублики, горячи бублики!

— Тихо! — одернул его Коваль. — Патруль накличешь. — Он умел стремительно принимать решения, мозги его были поставлены так, что они работали со скоростью автомата, — уже потом я узнал, что этот чернявый, обезьяньего вида парень ушел на войну с физмата. — Слушай сюда, — приказал он. — Всем там делать нечего, потеряемся. Я один, а вы ни с места. Ясно? — Он быстро огляделся вокруг, и тут же его взгляд остановился на чем-то удивительном, потому что его лохматые, короткие брови стремительно взлетели вверх. — Вот они! — воскликнул он. — Птички. Это наши, из штабного.

Мы оглянулись. У ступеней вокзала на растрескавшемся асфальте стояли три девушки и с ними майор в отглаженной чистенькой гимнастерке с золотыми погонами, излучающими под солнцем ослепительное сияние, и все они — девушки в хромовых сапожках, перетянутые в талии широкими офицерскими ремнями, в гимнастерках со свежими подворотничками — были как бы отъединены от всего остального: от орущего, потного рынка, от замусоренного асфальта и вокзальной грязи; они были сами по себе, как островок таинственного мира.

Возле ног одной из них — белокурой, краснощекой, плотного сложения — стоял шикарный, коричневой кожи чемодан, а через руку перекинута аккуратненько сложенная шинелишка зеленого английского сукна. Другая была худенькая, черненькая, с острым носиком и печальными глазами. Она все гладила эту белокурую по погону и что-то шептала ей. А третья стояла к нам спиной, только видно было, что она стройна и что у нее хорошие, крепкие ноги.

Пока мы их разглядывали, Коваль исчез.

— А эта черненькая хороша, — сказал Логачев. — Мальчишки, кому-то везет в жизни, а он еще и недоволен. Кармен! Испанского плана девочка. А?

В это время со стороны улочки с кривыми домишками выскочила полуторка и, отчаянно завизжав тормозами, встала, громыхнула расшатанным кузовом. Из кабины выкатился седой, усатый, в линялой толстовке человек и, завопив что-то абсолютно

непонятное, кинулся к белокурой, и та, отбросив свою шинелишку, повисла у него на шее. А человек этот сморщился, заплакал и стал тыкаться усами ей в голову. Потом, когда это кончилось, майор забросил в кузов шикарный чемодан, белокурая обошла всех, со всеми поцеловалась, кроме майора, села вместе с усатым в кабину, и лишь успела махнуть рукой, как полуторка, выбросив облачко бензинового дыма, рванулась с места и, развернувшись, влетела обратно в кривую улочку.

— Ясно, — вздохнул Логачев. — И эта дома. Армия теряет лучшие кадры.

Вот тогда-то третья и повернулась к нам. Только сейчас я увидел, что она выше черненькой, волосы ее со слабым медным налетом туго заправлены под пилотку; лицо сразу чем-то отталкивало, не то чтобы некрасивое, — нет, все на нем правильное: чуть удлиненное, с прямым носом, тонкими, сжатыми губами, и глаза у нее большие, серые, открытые, но во всем этом лице была такая холодность, что сразу делалось не по себе; она посмотрела на нас, словно прошла насквозь, и мне даже показалось, что при этом у нее чуть криво, презрительно дернулись губы. Правда, я тут же заметил, что с левой стороны, повыше подбородка, у нее маленький косой шрам. Она посмотрела на нас и отвернулась. Я услышал, как рядом охнул Удодов.

— Она, — сказал он.

— Что «она»? — спросил я.

— А, черт возьми! — провел он ладонью по лицу. — Честное слово, она!

— Ты знаком с ней, славянин? — спросил Логачев. — Так какого же черта... Может, швартанемся?

— Да постой ты, — огрызнулся Удодов и посмотрел, как эти трое — майор и две девушки — заворачивали за угол вокзала. — Да она-то меня и не помнит. Это я... — удрученно произнес он. — А может, я ошибся.

— Догоним! — решительно сказал Логачев.

Но Удодов и не собирался догонять, он растерянно посмотрел ей вслед и вдруг рассмеялся.

— Вот ведь штука. Даже не верится, что так быть может.

Но мы ничего не успели от него узнать; откуда-то из гудящей базарной массы перед нами возникло красноглазое лицо с серой козлиной бородой и, обдав гнилостным запахом, прошипело:

— Солдатики, гадаю по старинной книге. Хиромантия жизни. По тройку с носа. Рискнем, солдатики?

— Отчалим, папаша. — Это уж сказал Коваль и, оттерев козлотородого, мигнул нам, указав в сторону забора.

Мы прошли метров сто. Здесь был свален металлический лом: рамы от кроватей, ржавые, погнутые рельсы — и все это сплелось в странные, скелетообразные конструкции. Коваль поднял гимнастерку, вытянул из-под живота бутылку, заткнутую бумажной пробкой, и тут же извлек из кармана четыре красавца малосольных огурчика, ровненьких, с пупырышками.

— Первач, — сказал он, поболтав бутылкой. — Давайте, ребята, по кругу из горла, — и протянул бутылку мне, видимо, посчитав, что коль Катанцев оставил меня доглядывать за остальными, то я официально признанный старший.

Я отмерил на бутылке четвертую часть, вынул зубами пробку и запрокинул бутылку — тут важно было не ошибиться: не отхлебнуть лишнего и не оставить своего другим. Но этому я научился в госпитале. Расчет простой: три крепких глотка — и твоя четвертая часть.

Самогон был злой, теплый, и когда я оторвался от бутылки, то чуть не задохнулся, но Коваль вовремя успел подсунуть огурец.

— Как в аптеке, — сказал Коваль, разглядывая бутылку. — Далек пойдешь, сержант. Потом пил Логачев, потом Удодов, и, когда бутылку взял Коваль, он вдруг сказал:

— Я штабного там встретил. Знакомый. Такая новость: завтра утром в Свердловске будем.

Тут меня сразу осенило. Это было так просто: пойти немедленно на вокзал и отбить телеграмму матери. Четыре года я ее не видел.

— Встретимся н-> перроне, — сказал я. — Через десять минут, — и, не став им ничего объяснять, быстро пошел к вокзалу.

Оркестр все еще играл. Женщина, бившая в барабан, изнывала от пота, он струйками стекал по ее белому, старческому лицу. Пассажирский стоял на своем месте, но толкотни на перроне не было, там остались только те женщины, которые жались к стене. Когда я шел мимо них, то чувствовал, как каждая ощупывает меня тоскливым, беспокойным взглядом, и мне стало неловко, словно я в чем-то был повинен перед ними.

Я прошел через зал, где спали люди на полу, сидели на скамьях, ели, успокаивали детей, добрался до окошка почты, подал телеграмму.

Когда снова вышел на перрон, оркестра там не было и пассажирский состав ушел, женщин у стены осталось совсем немного, теперь они не стояли, я сидели на цементном покрытии в кротких позах, с тусклой, полуугасшей надеждой в глазах. Я подумал, что, может, они будут ждать еще одного поезда, —

ведь сейчас мало какие поезда ходят точно по расписанию, а может, они надеются, что те, кого они ждут, вдруг объявятся в проходящем эшелоне, — ведь станция эта большая и узловая. Едва я это подумал, как увидел нашего лейтенанта Катанцева.

Он стоял ко мне спиной, возле большого полукруглого окна, и в сером стекле отражалось его лицо. Оно совсем набрякло тяжестью, все в нем словно еще плотнее сбилось, и глаза заплыли, остались две круглых, воспаленных пробоины, и на это лицо легла тень болезненности. Рядом с Катанцевым стояла женщина, держала его мешок, держала так, будто не ощущала ни объема, ни тяжести, и, казалось, он сам повис рядом с ее рукой. Она была в сереньком платье из грубой материи, которую называют «чертова кожа», тоненькая, с колючими плечиками, стройная, и смотреть на нее было больно — такое у нее красивое, очень русское лицо, синеглазое, чуть скуластое, русые волосы падали на плечи, и вся она словно бы дрожала, как от озноба, и волосы и покрытые темноватым румянцем щеки — все это было в трепетном движении. Говорила она быстро, захлебываясь:

— Тетя Маня прибежала... Говорит, ты!.. Ой, что же Мишеньку-то я с собой не прихватила!.. Говорит, там, на вокзале. Как подхватила... А у меня и гостинец третьего дня приготовлен. Холодец твой любимый... Может, успеешь, Ваня, может доскочим?.. Или я за сынишкой сбегая... А? Сбегая...

— Не надо, — хмуро сказал Катанцев.

— А догонишь своих, ну догонишь же, Ваня! Как же дома-то не побывать? Как же? — и тут же громко, голосисто крикнула: — Ванечка! — и, бросив на перрон чужой в ее руке мешок, упала всем телом ему на грудь и забила на ней. — Ванечка!

Он оторвал ее от себя, сказал все так же тяжело:

— Служба, Зина...

Под его сильными, цепкими пальцами плечи ее перестали вздрагивать.

— Я люблю тебя, Ванечка, — тихо, в отчаянии сказала она. — Я ждала гак...

— Не голоси, — сурово сказал Катанцев. — Не положено. Слышишь? Люди тут, — и оглянулся, словно желая узнать, смотрят ли на них. Темные провальчики его глаз скользнули по мне, но на лице ничего не изменилось, он отвернулся, и я так и не понял, увидел он меня или нет. Чтобы не мешать им, я пошел с перрона.

А потом, это было через полчаса, когда я с ребятами вернулся в свою теплушку, и дневальный подал нам котелки с кулешом из свиной тушенки и пшена, и когда уже отзвучали команды об отправке, Катанцев вскочил в вагон, прежде всего уставился на меня, спросил:

— Все на месте?

— Все, — доложил я.

Только после этого он обернулся к дверям. Внизу стояла женщина, она прижимала к груди мешок и покорно смотрела вверх. Эшелон двинулся, сначала медленно, и она пошла

рядом с вагоном, ноги ее в тяжелых ботинках цеплялись за мелкую гальку, она так и шла, прижимая мешок, молча, не сводя глаз с лейтенанта, а он стоял, прислонившись к косяку, и тоже молчал. Она все шла и шла, не переходя на бег, пока эшелон не набрал скорость, и так она исчезла с наших глаз. Катанцев не выглянул из вагона, а все продолжал стоять у косяка. Все смотрели на него. Это длилось долго. Отмелькали пристанционные постройки, окраинные домишки, и потянулся сосняк с болотцем, тогда лейтенант повернулся к нам и сказал, как обычно:

— Приготовиться к чистке оружия.

— Железный он, дьявол! — шепнул мне Логачев и презрительно фыркнул: — Службист!

Мы почистили автоматы, потом Удодов прижался ко мне плечом и зашептал:

— Это знаешь, какая женщина? Ты даже понять не можешь, какая это женщина!

Я сначала подумал, что он говорит об этой Зине, которая провожала Катанцева, но он тут же объяснил:

— Телефонистка наша. Я ее там, на реке Великой, видел.

Его раскосые глаза лучились, один смотрел на меня, другой туда, где тянулся сосновый лес.

— Расскажу, не поверишь. Но это не треп. — Самогон на него подействовал, и ему хотелось выговориться. — Только тут что-то неладное. Я хорошо помню: она ребенка ждала. Это мы все заметили... Да ты и сам, может ее встречал?

— Нет, — ответил я, мне не интересно было его слушать, я думал сейчас о другом, о тех, кого видел на вокзале, и о телеграмме, которую послал матери; мне представлялось: она так же будет сидеть у стены, покорно ждать, и я пытался представить ее лицо, которое не видел четыре года, но вместо него всплывали потные щеки и седая прядь той старухи, что была в барабан, и мне становилось страшно, что я вообще мог забыть лицо матери.

А он все говорил мне в ухо, стараясь одолеть своим шепотом стук вагонных колес и в то же время заботясь, чтоб другие его не услышали:

— Понимаешь, я тогда по льду полз, как последняя тварь. Потом по берегу. А уж подтаяло. Весь в грязи. Думаю: что же это за Галимов? Только комбата убило, а теперь этого Галимова прислали. Вваливаюсь в землянку. Картошкой жареной пахнет. А я забыл уж, как она пахнет. Тут выходит она. Такая строгая девочка. «Ноги, — говорит, — оботри, потом в жилье лезь». Сам понимаешь, какая меня злость взяла. Вот, думаю, мы там, на пяточке, носы под пули подставляем, а этот Галимов только объявился, уже пепеже себе завел, картошку жареную лопает. Я на нее в крик. А тут он сам выходит. Ладно, говорит, ночью у вас буду, обстановочку лично уточню...

А я все думал: как же я встречу с матерью, что ей скажу? Это будет страшно, если я ее не узнаю. В чем она одета? За четыре года все прежнее у нее износилось, а синее выходное платье она скорее всего продала. Учителям нелегко живется. У нее, наверное, и карточка-то не рабочая...

— ...Мы всю ночь с ним ползали, — говорил Удодов, — а на рассвете немцы решили нас с высоты шугануть. Нас-то и было полтора десятка. Два часа держались. Галимов этот отчаянный малый оказался. Ну, его там и... Когда гранату бросал. Делать нам было нечего, и мы с этой высоты драпанули. А комбат там остался лежать. Понимаешь? Вот тут-то самое главное и пошло. — Удодов не на шутку разнервничался, закурил, а я подумал: «Что же он так психует? Мало ли что было. Сколько мы видели всяких смертей, на сто жизней хватит».

— И тут она приходит. Ночью. «Ребятишки, — говорит, — я хочу его похоронить». Понимаешь, это нужно опять туда лезть, к высоте, тащить на себе комбата, его было видно, как он там лежал. А по* пробуй сунься. Немцы там на стреме, будь здоров как! Не пролезешь. Мужики наши, конечно, молчат. Тогда она говорит: «Я сама пойду. Мне только один солдат и нужен, чтобы прикрывал». Вот тогда Петька Васильев и говорит: «Ладно. Пойдем». Он у нас из блатных был. Смелая морда. Дождались они, когда ночь на спад. Луна ушла. Туман. И что ты думаешь? Приволокли они Галимова. Потом в лесочке могилу

вырыли, похоронили его. Вот тогда днем мы и увидели, что она в положении. Это ведь тоже не сразу заметишь, приглядеться надо. Это я тебе точно говорю. Потом я ее не видел. У нас слух пошел: с Галимовым она из госпиталя пришла. Он ее мужем считался. У них свадьба в госпитале была. Представляешь, когда хоронили, ни слезинки не выдавила. Вот такая женщина, ты только подумай, какая женщина! Не пойму я, что она тут в эшелоне? Ведь если у нее ребеночек... Как считаешь, может так быть, чтобы она родила и снова в армию? Может, а?

— Не знаю, — ответил я.

— Эх, ничего ты не понимаешь! — огорченно сказал он и замолчал.

За открытыми дверями вагона тянулся темный лес, в глубине его скопились густые сумерки, разрезанные сизыми полосами тумана, оттуда тянуло болотным запахом сладкой гнили и грибами, а над этим лесом краснела закатная полоса, верхним краем утопая в глубокой синеве неба, покойной и теплой.

А мать я так и не увидел утром, хотя наш эшелон и прошел мимо Свердловска. Он мчался на предельной скорости, и промелькнули городские здания, прямая улица, по которой шел трамвай. Катанцев стоял рядом со мной, положив тяжелую руку мне на плечо, готовый в любое мгновение сжать ее, если я попытаюсь прыгнуть вниз, а я и впрямь был готов к этому. Только через полгода я узнал, как мать неделю бродила по этой огромной станции, заглядывала в вагоны эшелонов, мокла под дождями, пока не свалилась от бессонницы и жестокой простуды, и потом много лет я не мог простить себе этой телеграммы.

В тот же день, когда пролетел наш эшелон мимо Свердловска, из вагона в вагон пополз слух: «Мы едем на войну». Тут только все опомнились: как же могли мы забыть, что в мире еще не было тишины, еще была где-то очень далеко Япония и дальневосточные границы? Там затаилась война.

Война.

Из огня да в полымя.

3

На полустанке Роман Удодов заступил на пост; выпало ему караулить на платформе, где стояли закрепленные тросами «студебеккеры» — это считалось хорошим местом, потому что всегда можно было, если пойдет дождь или сильно начнет донимать ветер, забраться в кабину и поглядывать на платформу сквозь стекло. Для начала он сел на подножку одной из машин, закурил, пряча сигарку в кулак под плащ-палатку, чтобы ветер не очень выбивал искру из тлеющей махорки; ему хорошо было здесь, он мог подумать о себе, о жизни, как любил это делать и прежде, когда оставался наедине.

Вокруг тянулась долина — безлесная, однообразная, она перекатывалась волнами плоских холмов; ближе к путям было видно, как тянулись сухие, перепутанные травы в сизом мерцании, а по мере того как холмы уходили к горизонту, они все больше синели, пока не становились угольными, упираясь в слабую желтизну самого края неба; а наверху открывалось огромное пространство наступившей ночи, безлунное, но все унизанное крупными звездами, и Роман был словно в полете над притихшей землей. Внизу, под ногами, стучало и позванивало, ветер шелестел по брезенту, которым укрыт был «студебеккер», здесь, на просторе, в нем слаб был запах гари, и нес он с собой вкус сладкой горечи хлебов и медовых цветов.

Удодов не торопил себя с мыслями, зная, что впереди у него много времени для одиночества, курил, наслаждаясь, как вдруг ему почудилось, что кто-то есть за его спиной, но там ничего не было, кроме железной дверцы кабины, и все же он встал, огляделся, перед ним открылась длинная платформа и тяжелые силуэты машин. Удодов прислушался, но никаких человеческих звуков не обнаружил, и все же ощущение, что кто-то есть рядом, не

покинуло его, а еще более укрепилось; надо было обойти платформу, но прежде всего он рванул на себя дверцу кабины.

Она сидела в полумгле, облокотясь на баранку руля, накинув на плечи шинель, черты лица ее ступшевывались темнотой, но он узнал ее сразу, вернее, угадал тем особым и никем не объясненным чувством, когда даже сквозь стену можно понять: там именно тот, о ком ты подумал.

— Закрой, — сказала она безразличным голосом. Но он не шевельнулся, держась за ручку дверцы.

— Закрой, кому сказала! — теперь уж прикрикнула она.

— А я вас знаю, — наконец произнес он.

— Ну и что? — спросила она. — Тут таких знатоков полк.

— Нет, — ответил Удодов. — Я вас с Великой знаю. Галимов... — Но он тут же осекся, подумав, что вспоминать убитого сейчас ни к чему.

В руке ее, по-мышинному пискнув, зашумел фонарик, из тех механических игрушек, которые надо сжимать ладонью, чтобы в них заработал крохотный моторчик, и тонкий луч света скользнул по его лицу, остро резанул по глазам, но Удодов не отвернулся, прищурился, а фонарик все жужжал, как будто там у ее рук роилась, вращаясь, пчелиная семья, и, когда моторчик умолк и погас свет, она сказала:

— Нет. Не помню.

— Это не я с вами тогда ходил. Васильев.

— И его не помню, — отозвалась она. — Да какая разница.

— Разница есть, — сказал Удодов. — Он смелей оказался. Там очень просто было со смертью поцеловаться.

— На войне везде с ней легко поцеловаться, солдат. Ну вот, поговорили, а теперь закрывай. Иди, карауль.

— Ладно, — сказал Удодов к хлопнул дверцей, хотя ему совсем не хотелось этого делать.

Он сел тут же на подножку и стал размышлять, почему она забралась сюда, ведь в пассажирском вагоне, где ехали штабные, наверняка у нее есть своя полка и там хорошо можно выспаться. Но мало ли что придет на ум женщине, особенно такой. Он же ведь сам видел, как там, на пяточке, она полезла под нос к немцам за мертвяком, только для того, чтобы предать его земле.

Тут же Удодов почувствовал запоздалую обиду. По сути дела, она его выставила, не пожелав даже узнать, кто он и что. Бог с ней! Да Удодов ничего и не хотел от этой гордычки, просто узнал ее на вокзале, и ему интересно было выведать, как же сложилась у нее жизнь дальше, потому что тогда на пяточке она его поразила. Вот и все. Но если она так его сторонится, то можно и наплевать. И, отрешившись мысленно от этой женщины, он стал думать о своем.

А разобраться Удодову надо было во многом, и в первую очередь надо было понять, что же произошло после того, как прошелестел по эшелону слух: «Мы едем на войну...» В тот день, когда объявлена была Победа, он оказался в Ленинграде, у себя дома. Была в этом какая-то нелепость, доходящая до неправдоподобия: три года пробыть почти безвылазно на передовой, а встретить конец войны в постели, дома.

Отпуск Удодов получил в конце апреля, когда они торчали на разбитой железнодорожной станции в Курляндии, войска ушли далеко на Запад, были под Берлином, а они уперлись в могучую оборону, прижав немцев и власовцев к морю, и те огрызались отчаянно. Это генералу вдруг пришла на ум мысль сказать после того, как Удодов притащил языка: «Проси, солдат, что хочешь», — вот он и ляпнул: «Отпуск». Хотя отлично знал, что никаких отпусков не полагается, да и речи теперь о них быть не может. Генерал был молодой, веселый и отступаться от своих слов не захотел, и выдали Удодову командировочное предписание в Ленинград, и тогда-то он сам удивился: зачем ему это

понадобилось, ведь в городе у него никого не осталось, только разве соседи по коммунальной квартире.

Вот так и получилось, что Удодов встретил конец войны в комнатенке в одиннадцать метров, с рваными, выгоревшими обоями, с выбитым паркетом, который сожгли в блокаду; осталось здесь из всей мебели только железная кровать да узел с тряпьем. Ему уж в домоуправлении успели рассказать, как мать пролежала окоченевшая на этой кровати пятеро суток, пока ее не нашли мальчишки из бытового отряда...

...В ту ночь, когда он вернулся с войны, где-то в пятом часу он проснулся от воя, грохота, шума, от которого сотрясался весь их старый, запутанный дом, и еще не успел ничего сообразить, как ворвались к нему соседи: седая, тридцатилетняя Клавдия, непричесанная, в пальто, накинутом на ночную сорочку, и ее безногий муж и, захлебываясь от слез, кинулись его целовать, приговаривая: «Кончилась!.. Кончилась!» Его выволокли из постели, потащили на коммунальную кухню, там уже народу набилось много, и все плакали, не утирая слез, орали наперебой, не слушая друг друга, а потом, не сговариваясь, рванули на улицу.

Его несло и кружило в толпе, пока не очутился он на набережной возле гранита и увидел в утреннем серебристо-розовом тумане Неву, воздушные тени дворцов на том берегу и вздрогнул от забытой красоты этого города: вот тогда-то простая и неожиданная по своей силе мысль явилась ему: «Жив!». Наступила та секунда озарения, когда мгновенно стало ясно: вся война, вся наука ставшего привычным, но наполненного бесконечными неожиданностями окопного быта, закономерности которого Удодов привык обнаруживать не столько разумом, сколь отработанным инстинктом, — все это вдруг оказалось мгновенно отжившим, превратившись из настоящего в прошлое. Но понятие «жив!» не было столь одномерно, оно включало в себя будущее, а это значило, что оно было утешением, и надеждой, и грузом некогда соседствовавших судеб, оборванных пульей, ножом, осколком, огромный узел, сплетение чувств и мыслей, и, чтобы нести его в себе, нужна была не покорность, а терпение — все теперь окупится, все придет и утвердится. И вдруг спустя два с половиной месяца снова: «Войн а!» Словно, раскрутившись, надежды наткнулись на сигнал «Стоп!», и все надо начинать сызнова, надо возвращаться опять туда, где шипят осколки, разорвавшиеся мины, где хлюпает под животом грязь, когда ползешь на исходный рубеж, лезть в воронку, пропахшую вонючим газом разрыва, и бежать впереди, раздирая в надсадном крике легкие, и не знать, никогда не знать, что будет с тобой через мгновение. Снова туда, что, казалось, уж отжило, став прахом прошлого. Снова тебя возвращали в мрачный дом, где ты уж однажды умер, а потом оказалось, что это только сон, ты ощупал себя и рассмеялся: «Жив!», — но тебя тут же подхватили и опять привели в сырой и мрачный подвал твоего сна, и тогда ты понял: на этот раз вокруг реальность...

«Что же? — размышлял Удодов, сидя на ступеньке «студебеккера». — Все идет по спирали, и никуда от этого не денешься... Только жаль, что все летит к чертям, а не так, как задумалось...»

Удодов услышал, как шелкнула за спиной ручка. Он успел отскочить, иначе бы ему не миновать удара дверцей по спине.

— Алло! — позвала она, высунувшись из кабины. — Ты так и торчишь тут? — В голосе ее прозвучала насмешка. — Послушай, кажется, я вспомнила: это не ты приходил в землянку с донесением грязный, как черт?

— Допустим, — ответил Удодов.

— Ты или не ты? — спросила она резко.

— Я.

— Так и отвечай. Странно, вот того парня, что со мной ползал, не помню, а тебя все-таки вспомнила. Физиономия у тебя такая.

— Какая?

— Врубается в память.

— Это оттого, что я косой.

— Не в этом дело. Смешная у тебя рожица, еще есть в ней что-то, не пойму... А ты чего злишься?

— Просто не люблю, когда из себя корчат.

— Что же я корчу?

— Свысока поглядываешь, — выпалил Удодов. — Меня всего трясти начинает, когда вот так свысока. Между прочим, я тогда в землянке сорвался из-за этого же. Человек к вам на брюхе приполз, а вы картошку жареную лопаете и фыркаете: «Ноги оботри».

— Про картошку ничего не помню.

— Да черт с ней. Это я так, к слову.

Она помолчала, потом сказала подобранным голосом:

— Это тебе показалось, что я свысока. Настроение у меня сейчас — дрянь.

— Может быть, — примирительно вздохнул Удодов.

— Знаешь что, — сказала она, — забирайся-ка сюда в кабину. Я бы к тебе сошла, да там ветрено, а мне что-то нездоровится.

— Я на посту, — ответил Удодов, но тут же понял, что капризничает.

— Да ладно тебе. Садись! Поговорим, может, время быстрее пройдет.

Он скинул с плеча автомат, забрался в кабину, но дверцу не закрыл, порешив, что так оно будет лучше, а то еще эта женщина подумает, что он намерен к ней пристать. Но она тут же попросила:

— Захлопни. У меня здесь с левой стороны стекло открыто. А так сквозняк.

Он закрыл дверцу, подвинулся и почувствовал тепло ее ноги.

— А вы что же не у себя в пассажирском?

— Зачем ты меня на «вы» называешь? — сказала она. — Как учительницу... Тебе сколько лет?

— Двадцать один.

— Ну, а мне двадцать. Видишь, я даже младше тебя. А зовут меня Надя.

— Это я помню.

— Смотри, какая у тебя память.

Вокруг тянулась все та же равнина с волнистыми изгибами плоских холмов, сейчас плыли над ней просветлевшие туманы, длинными волокнами цепляясь за крепкую, сухую траву, небо впереди побелело, а вверху, где еще держались похолодевшие звезды, ослабло в своей синеве, и мутный свет проник сквозь стекла кабины, теперь при нем можно было разглядеть ее лицо. Оно было бледно, с синими тенями под большими глазами и синими же губами, ее и вправду немного знобило, и она куталась в шинель, накинутую на плечи.

— Ты махорку куришь? — спросила она.

— Солдатский паек, — кивнул он.

— Давай я тебя беломориной угощу, — достала из кармана шинели пачку папирос, протянула ему, он взял папиросу и хотел было вернуть пачку, но она отмахнулась. — Да забирай все.

— Сама что же?

— Мне теперь бросать надо. Хватит. Да я вообще-то мало курила.

— На мирную жизнь перестраиваешься, — усмехнулся Удодов. — Не рано ли?

— Нет, — глядя вперед за стекло, ответила она. — Я скоро дома буду. Вот настанет утро — и конец. Вчера Валька сошла, вечером Сима. Скоро мой черед.

— Ясно.

— Нет, — покачала она отрешенно головой. — Ничего тебе не ясно.

Все-таки у нее был странный голос, совсем не девичий, глухой, чуть с хрипотцой, как у пожилой женщины, где-то на изломе средних лет, и слова она выговаривала не плавно, а немного отрывисто, как привыкшие к команде кадровые военные.

— Все ясно, понятно, — упрямо повторил Удодов. — Домашняя жизнь и все такое прочее. Теперь тебе ребеночка надо растить.

Она даже не повернулась к нему, а все смотрела вперед, где за платформами, за крышами теплушек, за черными рваными клубами паровозного дыма вставало солнце, оно то виделось, как сквозь закопченное стекло, огромным рыжим кругом, то, когда дым развеивало, слепило глаза сильным косым лучом, и все под этим солнцем по обеим сторонам дороги стало другим: равнина не была больше такой загадочной и волнистой, открылись поля с низкорослыми хлебами, поросшие цветущей сурепкой, изрезанные рытвинами, а неподалеку от железнодорожного полотна тянулся корявый, пыльный проселок, и вдали были видны черные дома деревень.

— Нет у меня ребеночка, — сказала она просто, но от этой простоты ее ответа ему сделалось не по себе. — Мертвенького родила.

Он долго жевал мундштук папиросы, пока она не сказала:

— Вот так, — но не вздохнула, а словно бы поставила точку. — Ну, что приуныл?

— Да ничего, — поежился он и тут же, еще не обдумав, зачем он это делает, спросил: — Он что, тебе мужем был, Галимов этот?

— Нет. Никто он мне не был. Просто комбат... А муж у меня дома.

— Смотри-ка ты, — удивился Удодов. — А у нас другое говорили...

— Мало ли, — неопределенно сказала она. Что-то стало раздражать его в ней, то ли ее голос, то ли эта нарочитая простота интонации, за которой крылась своя искусственность, а может быть, он почувствовал разочарование, что еще одна из легенд его окопной жизни рухнула, обернувшись обыкновенным и не очень приглядным бытом, и ему захотелось покинуть эту кабину.

— Ладно, — сказал он. — Пойду пройду по платформе. Надо поглядеть, как да что.

Но она тут же строго сказала:

— Сиди! Не украдут твои машины.

Это прозвучало как пр'иказ. Он усмехнулся, но выходить из кабины не стал. Он помолчал, оглядывая окрестности, и сказал:

— Большая у нас Россия. Все едем, едем — и все разное... А знаешь, ее татаро-монголы из края в край прочесали на лошадях. Орды. Тьма. У них у каждого по многу лошадей было. Он летит, за ним табун. Боевые лошади, кумысные кобылицы. Тылы у них иной раз черт знает где оставались с женами, ребятей, котлами. Думаешь, как питались? Вену у коня надрежет, горячей крови напьется — и в бой. Попробуй останови-ка такую лавину...

— Ты это зачем? — спросила она.

— Так просто, — ответил он. — Вспомнилось, читал где-то, давно, до войны.

— А-а, — протянула она и еще сильнее запахла в шинель и больше уж не говорила, видимо, почувствовав, что меж ними оборвалась протянувшаяся было нитка доверия.

А тем временем впереди на широком пространстве возникло хаотичное нагромождение крыш, дымных труб, башен, они были как бы в одной плоскости, впечатываясь темными силуэтами в солнечное небо, потом постепенно стали обретать объем, увеличиваясь в размерах, и вот уже возник целый город товарных вагонов, казалось, они стоят плотно — стена к стене и паровоз с размаху врежется в них, но нашелся просвет, и в узкий коридор стал втягиваться весь эшелон, сбавляя ход, и опять привычно стукнули буфера.

Удодов вышел из кабины «студебеккера». Надя вылезла за ним, оглядываясь и щурясь, словно ступила из полутьмы на свет.

— Эй, на посту! — раздался голос разводящего. — Смена!

Он посмотрел на Надю, собираясь проститься, и удивился: перед ним была совсем не та женщина, которую он встретил на вокзале и помнил по пяточку, она стояла под шинелишкой бледная, безразличная, и тени гордости не было в ее позе, а нечто жалкое. И он вздохнул горестно, подумав, что так вот и бывает: издали все кажется иным, чем оно есть на самом деле, когда разглядишь поближе.

— Счастливо тебе до дому добраться, — сказал он, закидывая на плечо ремень автомата.

И тут произошло неожиданное: она вдруг схватила Удодова за плащ-палатку и, судорожно перебирая тонкими пальцами по жесткой материи, заговорила просяще, с тоскливой, беспомощной мольбой в голосе:

— Слушай!.. Проводи меня! Я тебя очень прошу!.. Мне это надо... Проводи, а? Я быстро за вещичками сбегаю...

— Куда же тебя проводить? — растерянно спросил он.

— Домой, — сказала она. — Тут недалеко... Совсем недалеко. Ну, будь добр! А?

И он уж ничего не мог поделать с собой, лишь кивнул покорно:

— Ладно. Только я в теплушке автомат оставлю и доложусь.

— Вон там, у водокачки, встретимся, — сказала Надя и посмотрела на него благодарно.

4

Был ранний час утра, солнце уж встало, но на черной траве, что росла по откосу путей, и на листьях хилых кустов лежали, не истаяли круглые капли росы, в воздухе держалась свежая прохлада, пахло близкой речкой — это Удодов почувствовал сразу, как только они миновали последний состав.

Надя сказала, прибежав к водокачке:

— Успеешь, часа четыре стоять будут. В баню поведут. Видишь, как все забито. Это я у штабных узнала, когда прощалась.

Он нес ее затертый на сгибах фанерный чемодан, обтянутый черной клеенкой, а вещмешок закинул себе на спину. Надя хотела сама тащить этот мешок, да он не дал: не велика тяжесть, а ей хватит и шинелишки, которую перекинула она через руку.

Вокзал остался от них слева, только виделось вдали серое кубообразное здание, наверное, построенное где-то в довоенные годы, а неподалеку з том месте, где был спуск с откоса, стоял старинный белый домик с черной надписью «Кипяток». Возле него толпились с котелками и ведрами солдаты. Надя скользнула по этому месту взглядом и приостановилась. В кранов, на ящике, поставленном на попу, сидела девочка лет пяти в ситцевом платице, с синим бантиком в волосах, у ног ее была плетеная корзина. Девочка держалась за деревянную ручку крана, и, когда кто-нибудь из солдат подставлял котелок или ведро, она открывала кран. Солдатам это нравилось, они смеялись, перешучивались и клали в корзину кто ломоть хлеба, кто кусок сахара.

«Тоже промысел, — подумал Удодов. — От горшка два вершка, а уж чья-то кормилица».

Надя тревожно оглядывалась на эту девочку, словно пыталась вспомнить, знакома она ей или нет, пока не спустились с откоса к забору, где росла дикая трава и крапива. В заборе было выбито несколько досок — по всем приметам это был старый лаз, потому что тропу, ведущую к нему, утоптали прочно, она была жестка, как асфальт. Они миновали этот лаз, и сразу же открылась зеленая улочка, а справа от нее река. Стояли тихие деревянные домики с черными стенами, и на них отчетливо выделялись белые наличники окон. Все здесь было сонно и неподвижно: и пыльные ветви сирени, и цветущие мальвы, и кусты картофеля нт крохотных огородиках. Старые ивы сплелись на берегу реки, и сквозь их ветви было видно, как над водой стелется реденький туманец, и вся улочка дальше впереди была подернута им же, он тянулся не только от воды, но и от кустов, от земли, от железных плохо окрашенных темной охрой крыш. Удодов с удовольствием вдохнул в себя чистый воздух этой сонной тишины, было странно вот так, сразу оказаться в ней, мгновенно оставив за спиной другой мир, наполненный сутолокой, лязгом металла, командами. В Наде, кчак показалось ему, тоже произошла перемена: лицо ее просветлело, щеки зарозовели, сгоняя бледность дорожной бессонницы.

Они свернули за ивовые деревья, и тут открылся перед ними висячий мост: был он узкий — два человека едва могли на нем разминуться, справа от моста, под ивами, сидели трое мальчишек, удили рыбу, а слева были причалы, из воды выглядывали полусгнившие сваи, из них положены доски, и < ним цепями с тяжелыми замками закреплены лодки, черные, просмоленные и кокетливо окрашенные в разные цвета. Лодок этих много тянулось вдоль берега; река-то сама была не так уж широка, ее легко можно было пересечь несколькими сильными гребками весел.

Они взошли на мост, чувствуя, как он пружинит под подошвами. На середине Надя остановилась, взявшись за трос, он был влажным, с колючими заусеницами, но она не заметила этого, смотрела вдаль. Удодов увидел, как за домами, за деревьями, за всей этой зеленью поднимались в молочном и желтом дымах заводские корпуса, там пыхтело и гулко охало. Надя смотрела на открывшийся простор жадным, остановившимся взглядом, и Удодов понимал ее, потому что не так уж давно сам испытал в Ленинграде это ошеломляющее чувство узнавания.

Он поставил чемодан, полез в карман за папиросами. Мальчишки возле ив побросали удочки на землю и смотрели на них. И эти взгляды Удодов знал, он замечал их и на ленинградских улицах, а здесь, в этом тихом уголке, они были неизбежны, потому что каждый из этих мальчишек, завидев военного с чемоданом, жаждал угадать: кто же это вернулся, не свой ли?

Со стороны завода раздался гудок, он начался с шипящей басовитой ноты, потом, как бы ухнув, взлетел на высокую, призывную, словно поначалу ему что-то мешало вырваться в полную силу в небо. Надя вздрогнула от него, вытерла ладони о гимнастерку и, закинув шинель на плечо, быстро пошла по мосту.

На том берегу уходила вглубь улица, похожая на ту, что они миновали, только здесь, кроме деревянных, попадались еще темно-серые дома из шлакобетона, вдоль заборов тянулся дощатый, скрипучий тротуар, отделенный от проезжей части заросшей канавой. Во дворах уж началось движение: перекликались, откашливались, стучали топорами. Впереди виднелся перекресток, там, наверное, проходила большая улица, по ней, взбив пыль, прошел грузовик. Пока Удодов и Надя торопливо шли тротуаром, этот перекресток начали пересекать люди, в провале между угловыми домами они возникали, как на экране, их становилось все больше и больше, в темных лоснящихся одеждах шли, сунув руки в карманы, подавшись корпусом вперед, как против ветра.

Неподалеку от перекрестка стоял фанерный, окрашенный в синее ларек. Надя остановилась возле него и, переведя дух, словно после бега, прижала ладошку к груди. Лицо ее теперь было так же бледно, как в кабине «студебеккера», глаза запали еще больше, отливая горячечным, нездоровым блеском, тонкие губы перекошились, и глубже стал коротенький шрам в углу их, над подбородком. Так, замерев, она впиалась взглядом на противоположную сторону улицы, где стоял дом, в отличие от других обшитый свежим тесом, наполовину окрашенный в зеленое, и хорошо был виден отсюда дворик: небольшой, ухоженный с ровненькой поленицей дэов. корявой черемухой, самодельным душем — кабина, укрытая с боков толем, а наверху поставлена чернея бочка. Дверь из дому во двор была распахнута, и оттуда пахло жареной рыбой, и Удодов невольно сглотнул слюну. Этот запах был хорош еще и тем, что перебивал скопившийся у ларька аромат прокисшего пива.

Надя как встала возле синей фанерной стенки, так и не смогла сдвинуться с места, хотя сделать ей было нужно до дому не более десяти шагов.

— Ну, что же, пошли, — нетерпеливо сказал Удодов.

Но Надя, казалось, и не услышала его слов, вся устремленная взглядом в этот дворик. Удодов посмотрел туда еще раз и только теперь понял, что так ее взволновало. Под душем кто-то мылся, за толевыми перегородками слышался плеск воды, мужское посвистывание, прерываемое восторженным оханьем.

Она ждала того, кто появится из кабины душа.

И он появился. Выскочил в трусах, сдернул с черемухи мохнатое полотенце, сразу же принялся растирать им кудлатую русую голову и порозовевшее от прилива крови тело, плотное, с крепкими мышцами, делал он все это левой рукой, потому что с правой у него не все было ладно — на кисть ее натянута черная перчатка, но и левой он управлялся проворно, крикнул в сторону распахнутой двери:

— Ма! Пошамать быстро! Опаздываю!

Лицо его Удодов разглядел, когда он, бросив полотенце на сук, стал напяливать брюки — в нем все было крупно: выпуклый лоб, нос, полные, сочные губы, брови круто сбегались на переносице, будто две столкнувшиеся прямые линии, и меж ними границей легла продольная, крепкая складка. Он одевался так же быстро, как и растирался полотенцем, поднырнул под гимнастерку, словно пробил ее головой до ворота, она легко обтянула его крепкий торс — так умеют одеваться только кадровые военные, приученные в казармах подниматься по тревоге. Лицо свежее, хорошо отдохнувшее. Одевшись, он легко побежал к дому.

Все это произошло стремительно, и когда Удодов посмотрел на Надю, то отступил в растерянности. Она стояла, приложив кулак ко рту, впившись зубами в пальцы, да так сильно, что на указательном выступила кровь; глаза ее застыли, подернувшись слезой, шинель она обронила, и та валялась на земле, где был набросан разный мусор: окурки, яичная скорлупа, кожа от воблы.

Удодов поднял шинель, отряхнул и, взяв Надю за руку, сказал:

— Пойдем.

Но она оттолкнула его, сильно и больно ударив локтем.

— Нет, — сказала она отрешенно, с нервной дрожью в голосе. — Не могу! Не могу!.. Нет! — и попятилась за ларек.

«Что же делать-то?» — растерянно подумал Удодов, жалея ее.

В ларьке зашуршало, потом ударило так, что задрожала фанерная стенка, — это, наверное, пришел продавец и, готовясь к открытию, переставлял там бочки или ящики. В той стороне, где был перекресток, двигалась толпа, там много было женщин, одетых, несмотря на теплое утро, в телогрейки, в темных платках; смеясь и толкаясь, шли подростки; ноги идущих взбивали пыль.

Прошло еще минут пять. Хлопнула калитка возле недокрашенного дома, и на улицу вышел тот самый человек, что мылся под душем. Он был при новенькой военной фуражке без звезды, гимнастерка его туго была схвачена офицерским ремнем, в левой руке он держал кожаный портфель с двумя замками, ботинки хорошо начищены и блестели на солнце. Он рассеянно скользнул взглядом по ларьку, но не дотянулся до того места, где стоял Удодов, а остановил взгляд по другую сторону ларька, где, видимо, была дверь, и крикнул туда насмешливо:

— Эй, Гринь, «Беломор» не найдешь?

— Пайковым не торгую, — отозвался хриплый голос. — «Ракета».

— Эх ты! — с попреком сказал человек и решительно пошел в сторону перекрестка.

Удодову показалось, что Надя вот-вот сорвется с места, выскочит из своего укрытия и кинется за этим легко идущим человеком, помахивающим портфелем. Но она не сдвинулась, так и стояла, подавшись вперед, пока он не смешался с толпой. Тогда-то все в ней ослабло, она пошатнулась и, не в силах более стоять на ногах, села на чемодан, подперла обеими руками подбородок, сжав его цепкими пальцами.

— У-у-у-у, — тихо покачиваясь из стороны в сторону, как баюкают детей, протянула она.

— Да ты что это? — забеспокоившись, сказал Удодов. — Плохо тебе, да?.. Ну давай отведу в дом... Иль позову кого хочешь?.. Ну что ты? Ну говори же!

Она посмотрела на него прямо и осмысленно и, оторвав пальцы от подбородка, сказала отвердевшим голосом:

— Нет... Не надо. Ты обожди немного, — и опять начала медленно покачивать из стороны в сторону головой, как это делают при остром приступе зубной боли.

Тем временем продавец зашел на фасадную часть ларька; был он толст, с обрюзгшим, тестовидным лицом, скрипел деревянным протезом с резиновым набалдашником на конце; он поднял крышку, поставил ее на распорки и подмигнул Удодову заплывшим глазом:

— Ну, что, солдат, пивка с похмелюги? А?

— Не пойдет, — отмахнулся Удодов.

Продавец больше приставать не стал и заковылял к себе в ларек.

«Все же что-то надо с ней делать, — размышлял Удодов. — Может, сунуться самому в этот дом. Там же есть какая-то женщина. Добежать, сказать. Сдам ее, а там уж...» — И, приняв решение, он собрался было пересечь улицу, как к ларьку, поскрипывая мягкими хромовыми сапожками, в кожаной куртке, подошел худощавый парень, он лениво пожевывал папироску, которая торчала у него под мягкими, еще с неокрепшим волосом усиками, и крикнул бойко:

— Гринь, насыпь кружечку жигулевского. А то, брат, такое чувство, будто вчера ласточку задавил.

— Пить уметь надо, Калач, — отозвался продавец. — Это — дело сурьезное.

Услышав эти слова, Надя сразу же обернулась. А усатенький взял кружку с пивом, обмакнул губы в пену, сощурился, предчувствуя удовольствие, но тут же его пушистые веки полезли вверх, глаза округлились, и он ахнул:

— Надька!

— Я, — устало ответила она.

Он тут же отставил кружку на прилавок, кинулся к ней, схватил под мышки, приподнял с чемодана и теперь уж закричал, радуясь и удивляясь:

— Надька! Вот так да!.. Надька! — и чмокнул ее в щеку, так и не обтерев белой пены с усов. — Приехала!.. Ай, молодец. Ох, сила!.. Ты смотри, какая стала! Совсем взрослая девка.

Глза Нади оттаяли, медленно наполняясь теплыми слезами.

— Старая стала, — сказала она, пытаясь улыбнуться.

— Дура! — воскликнул он. — Да кто же в двадцать лет старым бывает!

— А я старая.

— Хе, да ты еще тут нашим, хвосты накрутишь. — Он держал ее за плечи и восхищался так, что все его лицо зарозовело. — А ты свежа на помине. Счастливой будешь! Мы вчера у нашей литераторши собирались. У Шаньги. Помнишь?.. Тьфу ты, да это ж твоя любимица! Все, кто живой остался: Ползунок, Жиган, ну и Колька, конечно. Девочки тоже были... Я, правда, там надрался. До чертиков!

— Ты всегда так, Калач. Ты не можешь иначе, — сказала она с ласковым попреком.

— Ох, не могу! — лихо воскликнул он. — За тебя пили! Я первый!.. Не могла на денек раньше прибыть, а-я-яй. А Колька-то, Колька вчера ни гу-гу. Вот скрытный, сволочь! Рядом сидели, я его спрашиваю: «От Надьки что есть?» А он молчит, потом буркнул: «Отвяжись! Нет ничего и не будет». Розыграл, бандюга. А ты вот она. Ха! — И он опять притянул ее к себе, прижал к груди и тут сдвинул брови, посерьезнев, что-то соображая. — Постой-ка, постой... А ведь там вчера болтали девочки... А, да черт с ними!

Надя тут же заглянула ему в лицо.

— Что болтали? — спросила она.

— Да так, пустяк, — спохватившись, сказал он, но видно было, что ему сделалось неловко.

— Нет, я хочу знать, — упрямо, похолодевшим голосом сказала она.

— Ну мало ли что болтают.

— Слушай, Калач, мне врать нельзя. Ты знаешь. Ну, выкладывай!

Он засуетился, вынул из кармана пачку папирос, закурил.

— Я ведь жду. Калач, — сказала она. — Мне это важно, ты понял?

Он выпустил из-под усов тонкую струйку дыма и, не глядя на нее, решившись, ответил безразличным тоном:

— Будто вы с Колькой того... как в море корабли.

— А он?

— Что «он»? — насторожившись, спросил Калач.

— Он подтвердил?

— Так это же не при нем, — развел руками Калач, удивляясь ее непонятливости. — Кто же будет в глаза? В коридорчике, на перекурчике... Просто девочки его жалели, вот и все.

— А ты? — спросила она.

— Да я кого хочешь пожалею, — рассмеялся он и, тут же возвращая себе прежний веселый тон, заговорил: — Да что ты, Надька, пристала. Болтают, не болтают. Дребедень все это. Война большая, все спишет. Да по мне хоть что говори, чихать я на это хотел. Сам, будь здоров, не без греха. Ну кому какое дело: был там у тебя капитан или не было. Плюнуть и растереть. Важно, ты живая и здоровая, и вся жизнь-жестянка впереди. Вернулась — вот в чем суть.

— А я еще не вернулась, — ответила Надя.

— То есть?... — не понял Калач. Но тут же посмотрел в сторону Удодова и только сейчас увидел чемодан, вещмешок, брошенную на него шинель. — Так ты что же, еще и дома не была? Вот это да-а, — удивленно протянул он и кивнул на Удодова: — А это кто?

— Провожатый, — ответила Надя. Калач протянул ему руку, сказал:

— Будем знакомы, солдат.

— Будем, — ответил Удодов, пожимая ему руку. Тут же Калач повернулся к Наде и решительно, по-деловому сказал:

— Вот что, дорогая. Я сейчас за Николаем сбегаю. Он только на смену ушел, я видел. Момент — и тут будет.

— Эх ты, Калач, Калач, — вздохнув, покачала она головой. — Что же ты всех обмануть хочешь?

— Да он же тебя ждет, дурочка.

— Ждет, — усмехнулась она. — Нет, так не ждут.

— А что же тебе еще надо! — воскликнул он. — Если бы он девочку себе завел...

— Ты!.. — вдруг вскрикнула Надя. — Ты!.. — И тут же в ней что-то оборвалось, она обмякла плечами, губы ее мелко задрожали.

— Гады, — прошептала она, — какие вы все гады, — и заплакала откровенно, беспомощно, и, казалось, еще мгновение — она не устоит, рухнет на землю.

Удодов рванулся к ней, но Калач опередил его, подхватил за плечи, испуганно бормоча:

— Ну, тихо, тихо... слышь, Надюша.

— Он усадил";ее на чемодан, попросил Удодова:

— Поддержи-ка ее, — а сам метнулся к- ларьку, схватил,с прилавка кружку с пивом, протянул Наде. — На-ка выпей. Быстрее. Слышишь...

Но она не отвечала, тогда он сам силой приподнял ее голову, она стукнулась зубами о край кружки и отпила несколько глотков.

Из ларька с вялым любопытством, подперев ладонью тестообразное лицо, смотрел продавец.

— Ну вот, — вздохнул Калач и тут же в отчаянии хлопнул себя по лбу. — Эх, и трепло я!

Надя затихла, теперь она плакала, не всхлипывая, отворачивая лицо.

— Вот что, солдат, — шепнул Калач Удодову. — Покарауль ее по-хорошему, а я за Колькой смотаюсь. Мигом тут будем. Есть?

И, не дожидаясь ответа, сорвался с места и, быстро перебирая хромовыми сапожками, побежал к перекрестку.

До этого мгновения все, что происходило, было рядом с Удодовым, и только теперь он ощутил, что он и сам незримо связан со всем случившимся. Он подошел к ларьку, сказал продавцу:

— Налей-ка мне воды, простой.

— У меня тут не водопровод, — хмыкнул продавец. — Сам посуду в тазике мою.

— Ты где ногу потерял? — спросил Удодов.

— Тебе-то что, — огрызнулся продавец.

— Успел забыть уж про войну, — зло сказал Удодов, — воды пожалел.

Продавец отвернулся, качнулся за прилавок и вытянул оттуда пивную кружку, наполненную водой.

Надя сидела, склонив голову к коленям, тихо всхлипывала.

— Давай-ка умоемся, — мягко, как ребенка, сказал Удодов.

Она жалко посмотрела на него, покорно встала, машинально сняла пилотку, подоткнула ее за ремень, тряхнула головой, шпилька выскочила из узла волос, и они рассыпались ей на плечо, отливая темным, медным блеском, так же машинально она засучила рукава и подставила ладонки. Он поливал ей, она умылась, достала из кармашка носовой платок, вытерла лицо и руки.

— Ну вот, — вздохнула она, и в этом вздохе было свое облегчение. — А теперь пошли.

Пока он возвращал кружку продавцу, Надя подхватила шинель и быстро зашагала в ту сторону, где была станция.

Удодов взял чемодан и вещмешок и, догнав ее, преградил путь.

— Куда? — сказал он.

— К своим, в эшелон, — ответила она спокойно.

— Ты что! — возмутился он. — А ну, давай назад. Домой приехала. Что творишь!

— Перестань, — поморщилась она. — Знаю, что делаю. Пошли.

— Нет, не знаешь, — рассердился он. — На войну ведь едем. Тебе что, того фронта мало?

— А может быть, мне туда и надо, — сказала она, и он тут же понял: что бы ни говорил, что бы ни делал, — не поможет: она уже приняла решение.

Они снова шли по висячему мосту, по-прежнему стояли на тихой воде лодки у причалов, мальчишки под ивами удили рыбу, по улочке бродили куры, что-то отыскивая в придорожной траве.

Когда они подходили к забору, из лаза навстречу им вышла худая женщина в черном платье, со скорбным выражением на интеллигентном лице; она держала на руках девочку в ситцевом платьице и с синим бантом в волосах; девочка спала у нее на плече, в другой руке женщины была плетеная корзинка, наполненная кусками хлеба, сахара, а сверху, завернутый в тряпицу, положен был большой коричневый обмылок.

Надя прошла мимо этой женщины, словно не заметив, а та остановилась, посмотрела ей вслед и, когда Надя скрылась за забором, окликнула Удодова.

— Простите, — сказала она. — Это не Надежда ли Устинова?

— Может быть, — ответил Удодов, потому что фамилии Нади до сих пор не знал.

— Вот как! — воскликнула женщина, но что крылось за этими словами: то ли удивление, то ли жалость, — Удодов не понял.

5

Эшелон, эшелон — товарные вагоны.

Гремели эшелоны по огромной России, шли поезда на Восток, шли пр десять — двенадцать тысяч километров, один за другим — до тридцати эшелонов в день по Транссибирской магистрали, по горячим рельсам, безостановочно гудящим от напряжения.

Более миллиона солдат. Более миллиона молодых.

Вращались колеса с одного края земли на другой. Мы ехали на войну.

Конечно же, в теплушке нас было не пятеро, а около тридцати человек, там были разные ребята, многих я забыл, хотя, может быть, если встречу, то вспомню — такое уж бывало; но для этого рассказа я выбрал четверых своих товарищей только потому, что они в те дни были мне ближе других и прочнее удержались в памяти. И, хотя я вспоминаю все это спустя четверть века, а не по горячим следам событий, — память же наша не сохраняет в себе застывшие чувства, а неизбежно видит их измененными через кристаллик сегодняшнего, — они встают передо мной такими, какими были тогда, эти четверо.

Степан Логачев, 1922 года рождения, рос в детдоме, призван в сорок первом, после десятилетки успел немного поработать слесарем.

Анатолий Коваль, 1923 года рождения, москвич, закончил в университете два курса физмата, в анкете об этом писалось: образование — незаконченное высшее, ушел на фронт добровольцем в сорок третьем.

Роман Удодов, 1924 года рождения, ленинградец, закончил десятилетку в Уфе, куда был эвакуирован, призван в армию летом сорок третьего.

Иван Катанцев, 1918 года рождения...

Они встают сейчас передо мной, как на поверке. Наверное, когда воспоминание возрождает прошлое, время набирает иной отсчет, как в знаменитой фотонной ракете, ушедшей в бесконечность пространства Вселенной, где человек, оторвавшись от человечества, сохраняет свою молодость, пока стареет его поколение, и это не полет вспять, а всего лишь работа памяти, тоже движение вперед, разрушающее забвение — этот мрачноватый, серый туман, закрывающий даль.

Крутились колеса.

Гремели эшелоны.

Мы не торчали всю дорогу в теплушке, это было только в первые дни, а потом, по мере того как состав продвигался вперед, главным местом нашего времяпрепровождения стали открытые платформы.

Конец июля был жарким, крыша и стены теплушки накалялись, и никакие сквозняки не могли развеять духоту, а на платформе было вольготно, и ехать было здесь приятней, потому что открывался широкий обзор окрестностей. Командование быстро поняло выгоду таких собраний, само назначало сборы на платформах, чтобы провести политзанятия, объявить приказы по эшелону — здесь можно было заниматься чем угодно, кроме, конечно, строевой подготовки. Сюда-то, к платформам, даже если эшелон останавливался на две-три минуты, сбегались женщины и мужики с пристанционных базарчиков, несли всякую снедь, пытались обменять в первую очередь на какую-нибудь тряпку, потому что за время войны в поселках и деревнях обносились так, что начали щеголять в домотканом, и еще в большой цене было мыло — вечная нехватка наших российских глубинок в годы войны.

Иной раз армия одаривала попадавшие на ее пути городки. На небольшой станции под крышей перрона я увидел концертный рояль, тут же стояли пузатые кресла с золочеными ручками, обитые яркой материей в красных розах. На этот рояль брошен был лоскут бумаги с наспех сделанной надписью: «В дар дому культуры от воинов». Откуда везли его: из Германии или Австрии? Может быть, какой-то предприимчивый командир мечтал, что, когда обживется часть в казармах на новом месте, он устроит музыкальный салон, и в тихие, послеслужебные вечера собираться в нем будут офицеры, ' наслаждаться музыкой, тишиной, пить чай, коротать остатки дня. И везли этот веселый груз сюда, в Зауралье, пока не стало ясно — покоя не будет.

Каких только встреч не было в пути! Случалось, иные из них определяли впоследствии людские судьбы, хотя все начиналось с пустяков: с написанного наспех девичьей рукой адреса; с мимолетного разговора о делах заводских или колхозных — мол, места у нас такие-то и такие-то, а условия — лучше не сыщешь; с выпитой чарки первача со стариком — где тебе, солдат, потом мыкаться, а у меня три девки в доме — одна другой лучше, выбирай любую, а Сибирь, она, известно, сытная; и оставалось это в памяти, ныло

мечтой в душе. Да кто из нас помнит, где, на каком полустанке или разъезде, на каких путях определилась наша судьба? Случай всегда сопутствовал удаче или дразнил ею.

В тот день у нас была баня. Строем под началом Катанцева мы прошли за вокзал, где был армейский санпропускник. Пар стоял влажный, не тот сухой, древесный, что бывает в настоящих парных; народу набилось много, шаек не хватало, мылись по двое из одной. Мне выпало мылиться с Катанцевым. Правда, он, как лейтенант, мог пойти в душевую, хотя там и была большая очередь из офицеров, но он не изменил себе, пошел с нами в этот огромный зал с серыми мокрыми стенами, со сводчатым потолком, густо унизанным каплями. У всех у нас были отметины на теле, а у кого и по нескольку — без этого в те годы и солдат не солдат; но то, что я увидел у Катанцева, не могло не удивить — шрам шел у него наискось почти через весь живот. Заработать такую штуку и остаться в живых, да еще в строю — надо иметь или железное здоровье, или большое везение.

Конечно же, чтобы получить осколок в живот, не обязательно торчать на передовой, его можно схлопотать и в глубоком тылу во время бомбежки или артобстрела. Ведь бывает и наоборот: парень ползает чуть ли не к немцам в оборону, мотается по минным полям — и хоть бы царапина. Да, все бывает. Но я почувствовал, как во мне что-то изменилось по отношению к Катанцеву.

Какая бы ни была баня, а все же после пара, горячей воды, после того, как нацепишь на себя свежее белье, пахнущее дезинфекционным мылом, ощущаешь блаженство.

Мы сидели на бревнах, в тени дерева, неподалеку от вокзала, зная, что спешить нам некуда — возле санпропускника толпилось еще роты две солдат.

— А, между прочим, — сказал Коваль, — Ромашка наш исчез с этой загадочной птичкой из штабного.

— О! — повел крепким носом Логачев. — Тихий, тихий, а дело знает. Там определено что-то будет.

— Правильно, — кивнул Коваль. — Никогда не должно пренебрегать предвидениями или гаданиями великих людей.

— Это о чем? — спросил Логачев.

— Это мысль Араго, — посмеиваясь черными, нагловатыми глазами, ответил Коваль. — Физик и астроном, девятнадцатый век. Тебе, впрочем, не обязательно запоминать его фамилию. Мне-то она понадобилась, когда я готовил курсовую по Ньютону.

— Ты здорово знаешь этих иностранцев, — усмехнулся Логачев. — Тебя давно надо было определить куда-нибудь в дипломатический корпус. А торчишь в солдатах. Несправедливо.

— Между прочим, друг мой, — с шутливой наставительностью сказал Коваль, — есть люди, которых надо бы знать, хотя бы из простого уважения к гению человечества.

— Подкинь пример.

— Эйнштейн, Павлов...

— Насчет собак и прочих инстинктов я знаю со школы. Но вот в городе Вена, — торжественно произнес он и, убедившись, что мы насторожились, сел поудобней, вскинув Вверх подбородок с выемкой. — Так вот, в этом самом городе Вена я пил коньяк с одним мировым профессором. Он немного лопотал по-русски. Меня к нему приставили дрова рубать для камина. К нему генерал приезжал, говорил, сильный профессор, на весь земной шар таких с десятков можно набрать. Так вот, привел он меня к себе. Шикарно. Кресла кожей обиты, и все такое прочее. Знаешь, Коваль, он здорово лепил в твоём деле. На полочках сплошная физика и так далее...

— И была у этого профессора дочка, — подсказал Коваль.

— Точно, — кивнул Логачев. — А ты откуда знаешь?

— В городе Вена у всех профессоров дочки.

Это понравилось Логачеву, он улыбнулся, собираясь продолжить свою повесть, но тут к нам подскочил низенький потный человек в измятом, покрытом масляными пятнами

пиджаке, прижимая к груди затертый школьный портфельчик с оборванным замком, заговорил быстро, облизывая сухие растрескавшиеся губы:

— Ребятюшки, помогите. Сое, честное слово, сое! На простое горю. Обштрафили всего. Вам на часок дел-то. Спасайте, ребятюшки.

— Папаша, — строго сказал Логачев, недовольный, что его прервали. — Не части языком. В чем дело?

Человек этот сглотнул, вытер рукавом неряшливое, небритое лицо и опять заторопился объяснить:

— Вагончик надо разгрузить. Вон там у пакгаузов. Дорога сейчас за каждый час лупит. А где я руки-то возьму, где? Спасайте, ребятюшки, я же не задаром.

— Уголь? — спросил Коваль.

— Мы после баньки, папаша, — объяснил Логачев.

— Тюки! — воскликнул человек. — Самые что ни на есть тюки!

— Ну, как? — повернулся ко мне Логачев.

Я посмотрел на ребят — нас было человек десять, понял, что они только и ждут моей команды.

— Ладно, — сказал я. — У нас часа полтора есть.

Человек побежал впереди, косолапо топая широконосными, в заплатах ботинками, вывел нас за пакгаузы, где одиноко возле крутой платформы стоял вагон; человек быстро поколдовал у замка, кивнул нам, и мы нажали на дверь.

— Что в тюках? — спросил я.

Он все прихлопывал по потному лицу рукавом.

— Спецовочки. В мартеновский... Пообгорели все мальчики. Рукавиц нет, роба в дырках. По десять, а то по двенадцать часиков у печей вкалывали. Где ж не пообгореть. Сталь-то, ее варить надо. В трусах на наваришь. Я эти спецовочки чуть не клюшкой выбивал. Вы поаккуратней, ребятюшки.

Мы здорово залежались в этом эшелоне и с удовольствием расстегнули ремни, перекинули их через плечо и принялись за работу, разбившись на три группки — одна подавала из вагона, другие таскали, третьи укладывали под крышей у стены пакгауза; наловчившись, войдя в ритм, мы работали быстро, а человек, который привел нас, нацепил на нос очки, вытащил из портфельчика бумаги и что-то все считал и записывал. Не прошло и часа, как вагон оказался порожним.

— Ничего размялись, — радовался Логачев, заправляя гимнастерку. — Мальчики, крикнем: «Физкульт-ура!»

Тут подскочил к нам человек с портфельчиком, заговорил весело, тыча в бумагу:

— А вот и ведомостичка готова. Спасибочко, выручили. Подходи, получай гроши, расписывайся.

В суете его было что-то жалкое, это мы хорошо почувствовали, да и пока возились с этими тюками, начисто забыли об оплате. Наверное, нам вместе пришла эта мысль, мы переглянулись, и Коваль сказал:

Ну, что вы, папаша. На кой черт нам ваши гроши. Мы ведь так, по-любительски.

Логачев гордо вскинул руку и, красуясь, воскликнул:

— Пламенный привет от воинов рабочему классу.

— Да что вы, что вы, — замахал тот портфельчиком. — Это же законные. Вы ж нас от штрафа уберегли.

— Кончили, — сказал я. — Мы не блатари, папаша. Помогли — и точка.

Тогда он стремительно бросил в портфельчик бумажки, очки и заторопился.

— Я сейчас, мигом. Ждите тут. А как же иначе, иначе нельзя, — и быстро засеменял по платформе.

Мы тут же поняли, чем запахло.

— Ну, это другое дело, — сказал Логачев. — Это после бани да разминки даже положено.

Не успели мы выкурить по сигарке, как человек наш вернулся, потащил за пакгауз, где были навалены порожные ящики, поставил на один из них две бутылки водки, положил несколько луковиц и круг мокрой, бледной колбасы, извлек из портфельчика два мутных граненых стакана. Мы пили по очереди, а этот наш работодатель сел на ящик и, умиленно поглядывая на нас, рассказывал:

— Сунули в орс, ты, говорят, старый кадр, по инвалидности к станку непригодный, рабочую нужду знаешь, ну и труби. А какой я, псу шелудивому, трубач? Ни хрена не петрю в этом снабжении. Тут тебе почище вкалывать надо, чем у станка... Да, что тут говорить. Нынче всем перепало. Бабы у нас на раздирке стоят, животы надрывают. Как рожать будут? А ты постой, десять часов лист горячий поотдирай. Мужики в основном больше там были, откуда вы путь держите. А завод, между прочим, четыре новых цеха за войну отстроил. Да еще эвакуированные сюда из Питера были. Станки-то прямо под открытым небом ставили, на морозе, это уж потом крышу над ними делали. Сперва продукцию дай, потом обогревайся. И то верно — снаряд на фронте нужен.

— Точно, — сказал Логачев. — Всем выпало.

— Да теперь что, — сказал человек. — Теперь это пройденный этап, считай. Мы и похлестче переживали. Впереди бы не застало.

— На Востоке кончим и шабашить будем, — сказал я.

Тогда человек с портфельчиком вдруг рассмеялся, смех у него оказался густой, басовитый, и нездоровое лицо сразу покраснело.

— А я, между прочим, на Хасане был, — веселься чему-то своему, сказал он.

Мы сразу перестали жевать и посмотрели на него. Все-таки это был первый человек, повстречавшийся нам в пути, который что-то знал о японцах.

— Ну и что? — спросил Коваль. — Как они?

— А ничего, смешные, — кивнул он. — «Банзай» орут.

— Чего же смешного?

— А смешного ничего, это я так к слову. По тем временам они хорошую силу имели. Дружно воевали. Я там пулю в бок и заработал, с нее моя инвалидность началась. Вы вот все «папаша», «папаша», — а какого я вам, псу шелудивому, отец. Мне в покров тридцать один будет, это я обликом стерся, обратно же, жизнь...

— Так что они, говоришь, ничего воюют? — продолжал нажимать на свое Коваль.

— Обыкновенно. Да мы им и по тем временам врезали. А теперь, по моему разуму, они вряд ли бой-то принимать станут. Вон вас сколько тут мимо гудит. Тут ^понимать надо, что против такой силы и пищать не смей...

— Вот, — сказал Коваль, подняв палец. — Я уж объявлял: никогда не должно пренебрегать предвидениями или гаданиями великих людей. Помните слова этого человека, мальчишки. За ваше здоровье, молодой папаша!

Мы допили водку, доели колбасу, попрощались с человеком из орс, и, хоть он толком ничего не смог рассказать нам о японцах, мы были ему благодарны: он сумел доставить нам сразу два удовольствия — работой и водкой.

К эшелону мы вернулись в тот самый момент, когда раздалась команда: «По вагонам!» Возле платформы со «студебеккерами» поджидал нас Катанцев, молча, хмуро посмотрел, как мы взбирались наверх.

Я нашел Удодова у борта; он лежал на брезенте, неподалеку от него четверо резались в дурака — надо сказать, что все карточные игры были запрещены в армии, но после того, как мы побывали на Западе, этих самых карт, порой самого непристойного вида, развелось такое множество по солдатским карманам, что в минуты безделья трудно было удержаться от соблазна, тем более что многие офицеры смотрели на это сквозь пальцы.

Удодов лежал, глядя в небо, заложив под голову руки, монгольские глаза его сощурились, оставив две тоненьких, блестящих полоски, нос заострился, сначала я даже подумал, что он дремлет, но потом увидел — у него такое отрешенное лицо.

— Много потерял, — сказал я, присаживаясь с ним рядом.

Эшелон тронулся, мимо проплывали городские улицы, блеснула желтой гладью река. Удодов повернулся на бок.

— Слушай, я тебе вот что хочу сказать. Не знаю почему, но мне ее жалко. Ты даже понять не можешь, как жалко. Она ведь опять вернулась, она тут в штабном.

— Что же тебе ее так жалко?

— Она странная женщина. В нее словно бомба попала и все к черту разрушила. Только оболочка держится.

— Таких сейчас много. Война по-разному калечит, кому руку, кому ногу, а кому осколком по душе.

— Может, и так, — сказал он. — Но мне вот что интересно: можно угадать, что у нее там было, до этой самой разрухи?

— Зачем тебе?

— Сам не знаю. Но ведь что-то с ней было. Я это чувствую. Послушай, я расскажу тебе все по порядку.

Но он не успел начать рассказа, как раздался сильный голос Катанцева:

— Сюда!

Мы обернулись. Катанцев стоял возле четырех картежников с протянутой рукой, желваки его вздулись, как металлические шарики. Ребята даже не побросали карт, удивленно смотрели на лейтенанта.

— А ну собери, — приказал он одному из них.

Тот, моргая, послушно собрал всю колоду и протянул взводному. Катанцев взял карты, разбил их на несколько пачечек и стал рвать; карты были лощеные, жесткие, и нужна была немалая сила, чтобы так их раздирать на половинки, он рвал их и выбрасывал за борт, ветер подхватывал обрывки, и они, мелькнув белым, летели под колеса.

Когда он закончил, то сказал:

— И чтоб я этой пакости больше не видел. Ясно? Все молчали. И тут раздался голос Логачева:

— Конец Монте-Карло. Bravo, лейтенант! Катанцев повернулся к нему, сказал спокойно:

— Пойди сюда.

Логачев поднялся, держась за крыло «студебеккера», приблизился к лейтенанту.

— Поговорить надо, — сказал Катанцев и кивнул в сторону тормозной площадки.

Удодов никак не реагировал на это происшествие, терпеливо ждал, чем оно кончится, и я снова обернулся к нему.

— Ну, так слушай, я расскажу тебе, — начал он, а я думал, что же там делается сейчас, на той площадке, куда забралась Катанцев и Логачев.

А происходило там вот что.

Они остались вдвоем, отделенные от платформы барьером, лейтенант не спешил, сел на ступеньку, прижавшись плечом к поручню, снял пилотку, обтер ладонью круглую, блестящую с обритой кожей голову, поглядел, как мелькают деревья вдоль насыпи, а Логачев все ждал, стоя.

— Ну вот что, — наконец вздохнул Катанцев, так и сидя спиной к Логачеву. — Второй раз от тебя и твоих дружков напитоком несет.

— Ну и что из этого следует? — спросил Логачев.

— А то из этого следует, — спокойно сказал Катанцев. — В третий раз учую — ротному рапорт, чтоб на полную катушку впаял. Ясно?

— Нет, не ясно, — ответил Логачев. — Зачем же в третий раз, когда можно сейчас.

— Сейчас я тебя предупреждаю, Логачев, чтобы ты потом только на себя обижался. Надо бы еще в тот раз за самогончик предупредить, да упустил. Ничего не попишешь.

— Что ж только меня? — усмехнулся Логачев.

— А это понять легко. Ты в той компании по этим делам закоперщик. Еще вопросы есть?

— Круто берем, лейтенант!

— Нормально берем.

— Ой ли... Ведь не шагать по плацу едем, а на брюхе ползать. А там, чтоб порядок был, больше на дружбу жать надо, а не на это вот: «Предупреждаю». опытом проверено.

— А у каждого свой опыт. И еще неизвестно, чей покрепче будет. — Он внезапно легко поднялся со ступенек и, повернувшись, оказался лицом к лицу с Логачевым. — А дурачка во мне не ищи. Не тот объект.

— Это тоже предупреждение?

— Совет.

— Принято, — кивнул Логачев.

Катанцев облокотился о барьер тормозной площадки, разглядывая дорогу. Логачеву бы испросить разрешение да вернуться на платформу, но ему по-видимому, не очень хотелось покидать лейтенанта, разговор стал для него интересным.

— А между прочим, лейтенант, — сказал он, тоже облокочиваясь на барьер. — Есть такая мысль: одно дело — дисциплина на службе, это — дело нужное, кто спорит; другое — когда она вроде бы моралью становится, навсегда, пожизненно, так сказать.

— Ты о чем?

— Жена у вас красивая, лейтенант. Таких женщин на Руси мало осталось.

Катанцев быстро повернулся к нему и, как тогда в теплушке, когда они чуть было не сцепились из-за пустяка, склонил голову на вздувшейся шее, глаза его впились в лицо Логачева, быстро обшарили его, но, не найдя и тени насмешки, стали угасать.

— Ты откуда родом, Логачев? — неожиданно спросил Катанцев.

— Что, или в анкету не заглядывали?

— От тебя слышать хочу.

— Не знаю... Детдомовский я. Где подобрали в голодном двадцать втором, не выяснил. Может, у меня и фамилия по роду другая.

— Вот в тебе неустроенность жизни и кипит, — сказал Катанцев, и Логачев удивился хрупкой, почти нежной ноте в его голосе.

Вот что происходило на тормозной площадке, пока Удодов рассказывал мне, как провожал Надю.

— Тут все дело в том, — волнуясь, говорил он, — она все равно как убитая. Ей одинаково, что на войну, что в петлю.

— Это ты брось, — сказал я. — В такие трагедии не верю.

— Чепуху говоришь... Боюсь я за нее. Даже страшно мне делается.

— Да кто она тебе: подруга, невеста, жена? Что психуешь?

— Сам не знаю... Только у меня такое чувство, будто я за нее отвечаю. У тебя так было?

Я подумал и сказал:

— Было. Только я тогда любил. Прежде, правда, не понимал, а сейчас понимаю.

— Сильно любил?

— И сейчас еще, — ответил я.

Он задумался, и больше мы об этом не говорили. А эшелон наш все шел и шел, постукивая на рельсах.

6

Более суток ехали мы почти без остановок, эшелон шел со скоростью пассажирского поезда, а может быть, быстрее, тянули его два спаренных локомотива.

Пошли дожди, под ними мокли леса, они растекались в своей беспредельности темными волнами до мутного горизонта, обрываясь на миг, чтобы открыть небольшую станцию или поселок деревянных домов с тесовыми крышами, курганами бревен, пыхтящей лесопилкой, а потом опять в густом сплетении тянулись сосны, ели, кедрач, все мимо, мимо.

Дожди принесли уныние, в теплушке было сонно и молчаливо: Удодов почти все это время пролежал на нарах, Коваль читал затертую книгу — их много ходило по эшелону, ими обменивались на станциях; даже Логачев приутих, не пытаясь собирать вокруг себя слушателей. Каждый старался побыть сам с собой, это были сутки неспешного раздумья. И тогда, может быть, впервые, глядя на унизанные каплями игольчатые ветви елей, на склоненные березы, мелко Езрагивающие под ударами дождя, на мокрые травы и кусты, я понял, что есть блаженство в бездумном созерцании их, оно приносит свой покой на душу, как и долгий взгляд на пламя костра или же на бесконечность бегущих морских волн; от простоты этих движений природы скапливается внутри человека уверенность в себе. Но грусть остается, она нетревожна и задумчива, от нее возникает любовь к утраченному, потому-то так сожмется иной раз сердце, когда промелькнет за вагоном какой-нибудь ручеек или сруб колодца, и подумаешь: тебе там не побродить, не испить воды.

А потом, когда в теплушке все, кроме дневального, спали, резко затормозило, да так, что солдаты вздрогнули от удара и захрустела обшивка. Мы вскочили и увидели рассвет. Это не было похоже на все то, что я видел когда-либо прежде: солнце всплывало из воды, оно именно всплывало самым натуральным образом, словно пробило огромную стеклянной хрупкости неподвижность, и по ней расползлися в разные стороны седые зигзагообразные трещины; было отчетливо видно, как это большое красное солнце медленно поднимается вверх и вокруг него клубятся желтые дымы, верхний край его отражался на поверхности в нескольких местах, поэтому казалось, на воду' упали полукруглые, раскаленные осколки. А слева поднимались черные, мохнатые горы, на них шевелились белые хлопья тумана, в белом небе держались звезды, но не блеклые, как бывают на рассвете, а розовые. Вода подходила к самой насыпи, казалась застывшей, истончаясь к берегу, просвечивала камнями и галькой, как истончается, уходя на нет, тонкий мартовский лед, — и из всего этого простора несло в теплушку свежестью, запахом влажных трав, багульника и рыбы. Это был Байкал.

Эшелон наш подали вперед, потом назад, и он встал, а через минуту все знати, что стоять нам здесь, на разъезде, долго, потому что впереди на дороге случилась какая-то неполадка, хотя никто толком не знал, какая именно.

Мы высыпали из теплушек.

Впереди в долинке виднелся небольшой поселок, лужайка перед ним, порядок двух улиц с бревенчатыми домами и деревянная пожарная вышка.

Удодов, как только стало известно, что стоянка будет длительной, заспешил к штабным вагонам. Пока он шел, солдаты разбрелись по окрестности, больше кинулись к берегу, некоторые пробовали купаться, но тут же выскакивали, восхищенно фыркая и удивляясь пронзительной прохладе воды.

Нашел он Надю сидящей на ступеньке пассажирского вагона, лицо ее было свежо после сна, но большие серые глаза пусты, в них не было ни тепла, ни холодности. Удодов обрадовался, потому что шел, волнуясь, встретит ли вообще ее.

— Здравствуй, — сказал он подходя.

— А, это ты, — кивнула она. — Это хорошо.

— Не болеешь? — спросил он.

Она хмыкнула, как-то по-своему, то ли насмешливо, то ли пренебрежительно — какое это, мол, имеет значение, и сказала:

— Я тебя видеть хотела. Думала найти, а ни роты, ни взвода не знаю. И фамилию ты мне не сказал. А может, говорил, да я забыла?

— Роман меня зовут. Удодов, — радуясь ее словам, ответил он. — А зачем я нужен был?

— Не знаю... Просто с тобой мне проще.

— Тогда, знаешь что, — сказал он, — пойдем побродим. Тут места красивые.

Она поднялась, отряхнула юбку, посмотрела в сторону воды, словно только сейчас увидела этот простор, озаренный поднявшимся солнцем, и, щурясь от яркого белого света, судорожно вздохнула, и что-то близкое улыбке промелькнуло по ее губам.

Они спустились с насыпи и вышли на береговой песок, он был плотный, влажный, и теперь, когда они шли у самой воды, Удодов увидел, что вода эта вовсе не застывшая, а имеет свое пологое движение, не нарушая полной прозрачности, слабо плещется на песке, оставляя на нем тонкие пряди белой пены.

— У нас парень с Байкала был, в госпитале, — сказал Удодов. — Говорил, его тут морем зовут. Он и вправду как море. Красив, — и тут же неожиданно добавил: — А я думал про тебя. Целые сутки. Только про тебя и думал.

— И что же удумал? — спросила она.

— Беспокоился. Мне тоже хотелось тебя увидеть.

— Ну? — Она посмотрела на него искоса, со слабым любопытством. — А ты и верно смешной. Ты на гражданке кем был?

— Еще никем. Меня увезли в сорок первом из Ленинграда, я тогда в девятом учился, потом десятый кончил и на войну. А зачем ты спрашиваешь?

— Так... Я всегда об этом спрашиваю. Хочется представить, каким человек был в мирной жизни. На войне ведь все другие, чем в мирной жизни.

— Лучше?

— Кто лучше, кто хуже. Не это важно, важно, что другие.

— Может быть... Только мне кажется, что главное остается. Это быт другой, а потому и оценки по поведению другие. А человек каким был, таким и остается, только новый быт заставляет его проявлять то, что прежде не на чем было.

— Ерунда, — сказала она. — Все меняется. Я сама другой стала, и те, кого знала до войны, тоже другими стали. Ты врешь, Роман.

— Я не вру. Если мысли мои с твоими не сходятся, разве вру?... Это, знаешь, самое плохое, когда тебе что-нибудь не подходит, взять да и прихлопнуть словечком. Ты сначала подумай, докажи. А так вот с размаху — это не серьезно.

— Ого, да ты спорщик.

— Конечно. А что тут плохого? Мы с ребятами в школе иной раз до рассвета... Интересно и хорошо было.

— Все так, — тихо сказала она. — И у меня это было... Какая жизнь одинаковая... Мы тоже до утра, у литераторши по прозвищу Шаньга. Есенин, Достоевский, Бунин... Чай, патефон с пластинками Утесова. А сейчас она девочку свою в бентике на вокзал приводит, чтобы та у крана с горячей водой побирушничала. А мы писали ей сочинения: «Человек — это звучит гордо». Вот это-то ты сможешь объяснить, Роман? Ведь это ты сам со мной видел.

— Ты в Ленинграде не была, — ответил он. — А если бы побывала, то узнала, что такое хлеба кусок. У меня мама там умерла, пять суток холодная одна в комнате лежала.

— А она с протянутой рукой по городу ходила?

— Да что ты, она баррикады строила.

— Ну вот и кончился наш спор. А ты говоришь: надо доказывать. Оглядишься — и увидишь. Я бы тебе еще такое могла рассказать, что ты бы несколько ночей в холодном поту просыпался. Ты сам-то где, не на войне, что ли, был?

— А я разве говорю, что война — красивая жизнь? Только ведь по-разному смотреть можно.

— Вот это верно.

Они вышли к нагромождению валунов, за ними была небольшая бухточка, а дальше виден был причал, какой-то сарай, ряды бочек, за ними дымил костер. На берегу возле валунов набросаны были сухие, отшлифованные водой коряги. ?'

— Не далеко мы зашли? — спросил Удодов.

— Ты не бойся, — сказала она. — Гудки услышим, не отстанем.

За валунами было совсем тихо, только, слабо позванивая, плескалась по песку вода.

— А знаешь, — сказала Надя. — Я выкупаюсь. Ты посиди тут на коряге, а я пойду за валун и выкупаюсь. Покури и не подглядывай. Ладно?

— Вода ведь холодная, а тебе нездоровится.

— Ерунда. Я к холодной воде с детства приучена. У нас речка, будь здоров, какая студеная. Такая чистота, да не выкупаться. Ну, ты сиди.

Она ушла, а он сел на корягу, прислонясь к гладкой поверхности валуна, солнце уж хорошо припекало, он с удовольствием подставил ему лицо, вытянул ноги в сапогах; над водой низко пролетели чайки, выискивая добычу. «А она красивая, — подумал Удодов. — Это она сначала кажется такой... деревянной, что ли. Просто все в ней рухнуло внутри, вот она такой и кажется. А в школе она, наверное, совсем была красива. Может быть, даже косу носила. У нас тоже были такие девочки. Не подступись... А с ними интересно. Их не сразу распознаешь, поэтому и интересно». Он услышал за спиной всплеск и представил, как она с разгона окунулась и тут же сейчас выскочит, как те солдаты на берегу, обжегшись о леденящую, перехватывающую дыхание воду. Он прислушался — за спиной было тихо, и тогда, испугавшись, не случилось ли чего, обернулся.

Надя плыла из бухточки в море, легко загребая руками, и он увидел все ее гибкое тело, чуть увеличенное совсем прозрачной водой, оно было гладкое и розовое. Он остановился, замерев, не в силах оторвать взгляда от Нади. Она взмахнула головой, волосы ее взвились вверх, описали дугу, упали темно-каштановыми прядями на воду, Надя повернулась, зажмурившись от солнца, легла на спину, раскинув для равновесия руки, грудь ее, красивая, округлая, крепкая, то вздымалась вверх, то уходила в глубину, и тогда Надя шевелила ладонями, чтобы снова всплыть. Удодов испугался, что вот сейчас она откроет глаза, заметит его стоящим. Он с трудом заставил себя снова сесть на корягу, прищурился, вздрогнув от ослепительной красоты увиденного, но ничто не исчезло — перед взором все еще держалась прозрачность воды и розовое девичье тело в ней. Он не выдержал и снова обернулся. Надя плыла к берегу и сразу заметила его.

— Но, но! — резко прикрикнула она.

Он не слышал, как она вышла из воды, как одевалась. Она выскочила из-за валуна, теребя уже отжатые волосы и зябко ежась. Она подбежала к нему, села, прижалась к его теплому плечу, мелко постукивая зубами.

— Перекупалась, — с трудом сказал он. — Я же говорил.

— Ну-ка, обними меня, — попросила она. — Сейчас согреюсь... Это ничего, это пройдет. Всегда так, когда из воды выскочишь.

Он обнял ее, влажные волосы скользнули по его щеке, и когда ощутил под ладонью ее плечи, то удивился хрупкости их, и вся она сейчас, сжавшаяся у него под рукой, показалась ему совсем не рослой, а маленькой, как девочка.

— Ух, и хорошо было! — сказала она. — Прямо как на свет заново народилась.

— Вот простудишься...

— Никогда, — сказала она, как показалось ему, весело. И тогда, заглянув ей в лицо, он увидел совсем другие, чем прежде, глаза — в них не было пустоты, а появилось что-то лукавое. — Я бы сейчас закурила. У тебя папироски не осталось?

— Твои еще есть.

— Смотри-ка, — удивилась она. — Как сберег?

Он нашарил пачку «Беломора» в кармане, так и не убирая правой руки с ее плеч, дал ей закурить, она затянулась и кашлянула.

— Вот, отвыкать уж стала, — и тут же неожиданно спросила: — А ты что, подглядывал?

— Испугался. Нет тебя долго.

— Ну, ну, — сказала она. И тогда вдруг в нем властно возникло желание прижать к себе и целовать эти губы, глаза, влажные волосы, он откинул сигарку, повернулся к ней, резко склонился... Надя успела его опередить, стремительно выскочив из-под его руки,

толкнула его в грудь, сказала повелительно: — Но, но... Не зверей! — Он еще было подался к ней, но она одернула его, прикрикнув, как кричат на непослушных животных: — Кому сказала!

Тогда он затих и почувствовал стыд.

— Ты извини, — сказал он. — Я не хотел... Как-то само.

— Ладно, — примирительно сказала она. — Я привыкла, — и тут же, еще раз распушив волосы, добавила совсем буднично: — Немножко еще — и высохнут. Солнышко припекает. А может, пойдем отсюда?

— Хорошо, — согласился он.

Они поднялись, вышли из-за валунов и увидели эшелон, возле него все было по-прежнему, солдаты разбрелись по берегу, лежали на траве, на песке, а поближе к поселку на лужайке шла игра в футбол. Там собрались люди в штатском и гоготали, глядя, как несколько мальчишек и солдаты без гимнастеров гонялись за мячом. В воротах стоял Коваль, кто-то с силой подал на него мяч, Коваль ловко, по-обезьяньи взлетел вверх, прижал мяч к груди и упал с ним на траву.

— Да-а-авай! — заорали там. — Да-а-авай!

— Пойдем вон туда, к причалу, — позвала Надя.

Они вышли на тропу, она огибала бухточку и выводила прямо к бочкам. Возле них пахло мокрой солью и рыбой. Костер горел за бочками, подле него на чурбаке сидела женщина с черным от загара лицом, на ней была вылинявшая, с заплатами солдатская гимнастерка и резиновые сапоги. Женщина пекла рыбу, несколько тонких кольев торчало над костром, и на них насажены были надрезанные в двух-трех местах рыбины, с них капал в огонь желтый жир.

— Здравствуйте, — сказал Удодов.

Женщина скользнула по нему черными острыми глазами, кивнула головой, поправила огонь костра, не спеша сняла один из колеев, на котором насажены были две рыбины, и протянула его Наде.

— Ой, да что вы! — воскликнула Надя.

— Ешь, ешь, — хрипло ответила женщина.

Надя не удержалась, отщипнула от рыбины, обжигая пальцы, кинула кусочек в рот, сладко зажмурилась.

— Вкусно. Это какая рыба?

— Омуль, однако.

У костра лежало бревно, они сели на него. Удодов достал из-под гимнастерки свой нож, протянул его Наде, чтоб она не обжигала больше пальцев, сорвал лопушок из-под ног и подхватил им кусок рыбы.

— Рыбка, однако, есть, хлебца нет, — сказала женщина.

— У меня там в вагоне пайки две набралось, — встрепенулась Надя.

— Э-э, да не за себя хлопчусь. Вам.

— А у нас и так хорошо идет, — ответил Удодов. — Уж очень она вкусна.

— Вкусна, вкусна, — закивала женщина.

Она сидела, по-мужски положив на колени руки, они были большие, расплющенные, с множеством запекшихся ссадин на пальцах, от огня было жарко, да и солнце уж припекало, но женщина сидела близко к костру, словно не чувствуя его жара.

— Как вы тут живете? — спросил Удодов.

— Однако, живем,- — сказала она. — Рыбалим. Мужиков нет. Бабы, девки да огольцы. Мужиков совсем нет. А без мужика бабе худо. Оставайся вот, куда едешь?

— Мне служить надо.

— Служить много кому есть. Вон — полон поезд. Один такому войску не пропажа. А у меня изба хорошая, поживешь, не понравлюсь — другую найдем. Бабам рожать надо, а то все порожние ходят.

— А я бы осталась, — вдруг сказала Надя. — Взяла бы да осталась. Тихо тут, хорошо.

— Тебя не надо, — серьезно покачала головой женщина. — Зачем ты нам?

Она сказала это просто и необидно, и все здесь было простое: костер из сухих сучьев, рыба на тонких кольях, сама эта черноглазая женщина с загорелым и обветренным лицом и крепкими руками и слова, сказанные ею совсем не в шутку, а всерьез, потому что за ними не было никакой хитрости, а только слабая надежда — вдруг и впрямь случится такое чудо, возьмет этот солдат и останется. Верно ведь, плохо жить в рыбацком поселке совсем без мужиков и только видеть каждый день, как проезжают они мимо в эшелонах. 4

Они недолго посидели у костра, ели рыбу, смотрели на огонь и воду, вдыхая запах багульника, нагретой земли, мокрой соли, идущий от бочек, женщина не мешала им, она тоже взяла себе рыбы и ела ее аккуратно. Так длилось до тех пор, пока не раздался зазывный гудок паровоза.

А потом они сидели рядом, взобравшись в кузов «студебеккера», спиной к кабине, чтобы ветер не дул в лицо, а слева от них уплывали назад крутые скалы с обнаженными желтыми срезами и, если смотреть против хода эшелона, — а только так и мог быть направлен их взгляд, — то по диагонали вверх видны были над скалами черные леса, они упирались острыми окончаниями в небо, а справа тянулась вода, и вдали над ней висел серебристый туман, мягкий на взгляд и неподвижный.

— Ты не молчи, — сказала Надя. — Ты поговори со мной.

А он думал, что видел ее разной: строгой в своем отчаянии и горе у реки Великой, и после того она долго держалась в его памяти, как сильная и смелая женщина; потом возле синего ларька он увидел ее сломленной и беспомощной; и сегодня она открылась перед ним, как та, которой можно отдать свою ласку.

— О чем? — спросил он.

— Хотя бы о том, что ты собирался на гражданке делать. Если бы не было войны.

— Ты видела когда-нибудь, как восстанавливают старые картины? Ну, берется холст, которому лет триста, он уж почти умер, и никто не может увидеть теперь, как это прекрасно. Тогда его восстанавливают... Не видела?

— Где же я могла увидеть? В нашем городе это не делают.

— У меня мама работала с Эрмитаже. Это была ее профессия. Она кое-чему меня научила.

— Как называется эта профессия?

— Художник-реставратор. Я и сейчас многое помню. Но, конечно, надо учиться. Я бы хотел...

— А я просто думала учить детей. А теперь... Э, да поживем — увидим.

— Конечно, — согласился он.

Так шел наш эшелон, огибая Байкал; в памяти моей эта поездка сохранилась, как тихий полет над прозрачной равниной воды, такой прозрачной, что даже облака растворялись в ней, и ничто не мешало увидеть цветные камни и песчинки на дне, косяки серебристых рыб, белую губку и розовое тело плывущей девушки — мы мчались по хрустальной простоте древнего озера. Это потом, много лет спустя, я ходил здесь с охотниками в тайгу, смотрел, как валят старые лиственницы, мотался на мотоботе с рыбаками с острова Ольхон, а ранней весной видел, как выползали на берег огромные льдины, сверкая зелеными, как треснутое богемское стекло, срезами, и берег стонал под ними. Тогда я узнал, что здесь вовсе нет тишины, каждый шаг по этой земле, : как и движение лодки по поверхности воды, таит в себе опасность для человека, и потому так доверчивы и добры тут люди. И думал: как же в ту пору я, солдат, мог забыть старую армейскую истину: не бойся канонад, бойся затишья.

— Ты чем-то мне очень нравишься, Ромашка, — ^сказала Надя.

То ли уж за читой, то ли дальше, за станцией Ерофеем Павлович, в теплушку Коваль принес из штабных вагонов свеженькие брошюры «Вооруженные силы Японии» и «Маньчжурия — плацдарм японской военщины» да еще несколько листовок, на которых были изображены орудия и танки японской армии. Мы читали их вслух и разглядывали рисунки. Там, впереди, лежала эта страна, Северо-Восток Китая, империя Маньчжоу-Го, где четырнадцать лет стояла Квантунская армия — отборные войска, почетный легион, без службы в котором не делалась военная карьера даже самых старших чинов. Загадочная страна, совсем непохожая на те, что видели мы на Згпаде, здесь менялись масштабы и расстояния, весь рельеф был очерчен крупными мазками — много суши на севере и западе, много воды — на юге и востоке, стены могучих гор опоясывали границы. Что там, за этими стенами? Мы высчитывали, получалось около полутора миллионов квадратных километров — это, как любят говорить агитаторы для наглядности, — Англия, Франция и Италия, вместе взятые. С детства мы знали: там, на той земле, есть города — Порт-Артур, Дальний, Харбин и еще КВЖД.

На рисунках были танки, неуклюжие, очень громоздкие, давно устаревшего типа и еще газогенераторные, наподобие довоенных автомашин, которые быстро сошли с производства, но мы их помнили, потому что шоферы называли такие машины, «самоварами», работали они не на бензине, а топились березовыми чурками. По описаниям выходило, что в японской дивизии на полторы тысячи человек приходилось восемнадцать противотанковых орудий малого калибра. Народу было много, а вот вооружение... И прежде всего пришли сомнения: так ли это на самом деле, может быть, данные в этих брошюрках устаревшие, а может быть, что-то напутала разведка. Ведь столько лет японцы торчали в Маньчжурии, понастроили множество дорог и заводов, так долго готовились к войне, и вдруг... газогенераторные танки.

Мы затерли и замусолили страницы брошюр, они переходили из рук в руки, каждому хотелось поточнее узнать, что и кто ждет нас на той земле; то была наша работа, она не терпела халтуры, потому что за нее расплачивались жизнью. Мы знали, конечно, что брошюрки и листовки дают нам лишь общие данные, а на месте могут встретиться всякие неожиданности. Все бывает на войне. А там, на Востоке, если не считать Маньчжурии, она шла давно, с седьмого декабря сорок первого года, с того самого дня, как пошел ко дну от японских бомб американский флот у Гавайских островов на знаменитом Пирл-Харборе. Тем ребятам из союзной армии совсем не легко было эти четыре года. Мы уже кое-что слышали про остров Окинаву, недаром парни из морской пехоты провозились на этом острове три месяца, получая контратаку за контратакой, многие из них, как и те, кто завтракал на кораблях на базе у Гавайских островов седьмого декабря, уж никогда не встанут в строй. Но если Пирл-Харбор был в сорок первом, то Окинава — в сорок пятом, после победы над Германией. Да, там шла война и тонули корабли от ударов самолетов «Бака», ведомых пилотами-смертниками. У американцев не такая уж плохая техника, а войне ведь еще нет конца, и мы едем на нее.

Все это мы прикидывали, размышляя, и готовились душой к худшему. Шапками не закидаешь. Работы будет навалом. Ну, нет у японцев хороших танков, тогда есть что-нибудь другое, хотя бы смертники, О них-то больше всего пошло разговоров, хотя толком никто не знал, кто же они такие: люди-мины, люди-снаряды, люди-самолеты?

И еще мне запомнился один из разговоров тех дней. Удодов уже по третьему разу читал брошюрки, словно хотел в них выискать то, что мы все не заметили.

— Хватит тебе их тереть, — сказал Коваль. — От них скоро прах останется.

— Он у нас молодец, — отозвался Логачев, — лежа на нарах. — Он у нас ударник боевой и политической подготовки. Времени парень не теряет, пока мы глазами шуруем, он — бац, и ваших нет. Девочку из штабного прибрал к рукам.

— Ясно, — кивнул Коваль. — Завидуешь.

— Завидую, — насмешливо вздохнул Логачев и тут же окликнул: — Эй, Удод, ты как с ней, в законном браке? Тогда, считай, свадьбу замотал.

Удодов посмотрел на него шурясь.

— Знаешь, Лсгач, я тебя прошу, ты в это не суйся.

— Ого, значит, серьезно зацепило, — улыбнулся Логачев. — Что же, это хорошо. Это полный порядок. Эх, нам бы всем бережок найти. Демобилизуюсь, заведу себе жену, хорошую заведу. Сейчас по женской линии выбор имеется. Пацанов нарожаем. Будет у Логачева семейный очаг. *

— Доживи еще, — сказал Коваль.

— А ты смерти боишься?

— Боюсь, — сказал Коваль. — Я ее всю войну боюсь.

— Что же тогда в разведке ползал?

— Это — другое дело, — ответил Коваль, нахмутив короткие черные брови. — Есть закон необходимости. Все мы чего-то хотим для себя, а вынуждены считаться с обстоятельствами. Закон «надо» сильнее нас. Миром правит история, а ты в ней, как частичка в магнитном поле. Вот и делай то, что делают другие. Иначе тебя не будет. История всегда казнила тех, кто мешал ей двигаться по своему руслу. А я хочу жить, Логач, потому делаю то, что надо.

— Да ну тебя, — сказал Логачев. — Осколок или пуля, они про историю не понимают. Врежет, и все. Кто тут виноват?

— Те виноваты, кто рядом был, — отозвался Катанцев. Он сидел у дверей теплушки, подставив бритую голову рассеянными лучам солнца.

— Это как понять? — спросил Логачев.

— Так и понять. Когда человека убивает, виноваты те, кто живой остался. Если он пал, то за тебя пал, а ты ведь рядом был, значит, -или он тебя сберег, или ты его не укрыл. Вот весь закон и есть. — Как только он заговорил, мы все присмирели, потому что, кроме команд и замечаний, до сих пор от него ничего не слышали. И голос сейчас у него был странный, очень ровный, лишенный каких-либо оттенков, будто и говорил он все это не нам, а себе.

— Значит, мы все тут с пожизненной виной ходим, так, что ли, товарищ лейтенант? — спросил Удодов.

— Про тебя не знаю, про себя знаю — да, хожу.

— Сильно! — воскликнул Логачев и даже крикнул. — Ну, а если тебя шлепнет, вины за тобой нет?

— Нет, — ответил Катанцев. — Тот, кто в бою погибает, вины у того перед людьми нет. Он все на себя принял, а пока жив — есть. Невинных людей нет,, Логачев, все в чем-то повинны. Да, все дело в том, понимаешь ты эту вину в себе или ты глух к ней.

— Ну, допустим, если понимаешь? — спросил Коваль. — Что тогда, легче?

— Проще. Честней перед собой.

— Неправда! — вдруг взорвался Удодов. — Честное слово, ребята, все, что вы тут наговорили, неправда. — Он как разгорячился, что капли пота выступили на его кривом носу. — Один говорит: живи, куда понесет, другой о пожизненной вине. А ведь то и другое — гнет, покорность. Что же, по-вашему, кроме покорности, ничего и не дано человеку?

— Что ты вопишь, как на семинаре? — поморщился Коваль.

А Катанцев повернулся к Удодову, его маленькие острые глаза расширились, и в них появилось откровенное любопытство, он взгляделся в Удодова чуть насмешливо и покровительственно, как смотрят взрослые дяди на удививших их детей.

— Знаешь, парень, — сказал он, — ведь за смертью ничего нет. И умирать-то всегда страшно. Но только есть тут один пункт. Уходить туда, в эту пустошь, полегче будет, если уверен: то, что оставляешь на земле, что для тебя самое ни на есть любимое и дорогое, другие забвению не предадут, беречь будут.

Он сказал очень много и устал от слов, провел тыльной стороной ладони по губам, согнувшись большой скобкой, и отвалился затылком на косяк двери.

— Да, может быть, это и так, — вздохнул Коваль. — Но в том-то и штука, что умирают один раз. Смерть исключает опыт. Если бы можно было умереть хотя бы дважды, тогда бы знал, что это такое.

— Веселый у нас треп, — сморщился Логачев. — А ну вас к чертям собачьим. Давайте лучше про жизнь потравим.

Но все приутихли, и вот тогда я почувствовал — что-то изменилось у нас: то ли мы пообвыклись за дорогу и стали доверительней друг к другу, так, что даже Катанцев это понял и заговорил о том, что можно открыть только самым близким, то ли мы вдруг осознали — все мы сейчас нечто цельное, как один организм, которому жить дальше вместе, и все, что уготовлено впереги. делить поровну, другого не дано.

8

Шел ливень, рассвет уж наступил, но все было сумеречно, серо, даль не проглядывалась, по плащ-палаткам, по лицу стекали ручьи, приходилось то и дело разуваться и выплескивать из сапог воду, как из ведер, ливень шел сплошной стеной, будто где-то там, в поднебесье, прорвало реку и она обрушилась вниз теплым и мутным потоком. Машины ревели, буксуя в разжиженной глине, несколько танков и тягачей поставили буксировать их. Рев моторов и шум ливня заглушали команды. Надо было спешить, под разгрузку отвели слишком мало времени.

А потом мы двигались колонной по дороге, то и дело выскакивая из кузова машины, прижимались плечами к борту, толкали машину в жидкой грязи, которая доходила чуть ли не до пояса.

В полдень мы прибыли в селение, где стояло несколько длинных, обмазанных глиной и побеленных барачков да раскиданы были деревенские домики. Бараки оказались казармами, которые принадлежали пограничникам.

До самого вечера мы приводили себя в порядок: чистились, сушились, обедали, разбирали и смазывали автоматы. Катанцев предупредил — в любое время могут поднять по тревоге. А ливень все шел, не ослабевая, я никогда еще не видел такого буйства воды — она тяжело, с шумом плескалась за окнами, и, казалось, еще мгновение, выдавит стекла и хлынет рекой в казармы. Кто-то принес от пограничников слух, что ливень этот идет несколько дней, река Амур вышла из берегов, затопила равнины, разлилась в иных местах до четырнадцати километров.

-Когда уже смеркалось, по казарме было объявлено, что в клубе состоится вечер, приглашают пограничники, будет концерт и танцы. Последнее вызвало особый энтузиазм: если танцы — значит, где-то здесь в селении есть девушки, не может же солдат танцевать с солдатом, потому многие кинулись подшивать свежие подворотнички, драить зубным порошком медали и ордена, натирать до блеска сапоги.

Клуб был неподалеку — такой же белый и длинный барак, как и казарма. Провели нас строем, уж в синей полумгле, где-то вдали рвали небо сильными белыми вспышками молнии, отзвуки грома долетали с трудом, влажный воздух был теплый, парной, насыщенный запахом прелой травы и цветов, похожий на дурманящий аромат Табаков. Молнии освещали зады деревни, огороды, залитые грядки с кустами помидоров.

Зал был длинный, стены окрашены в зеленое, на них висели портреты, плакаты, пособия по пограничной службе, рядами стояли скамьи, сцена с красным занавесом — в общем, обыкновенный воинский клуб.

Сначала был концерт. На сцену вышел длинный парень в пограничной форме, конопатый, большеротый, он приветствовал нас и сказал, что поставлен нынче в караул в качестве конферансье, а потом, чтобы сразу завоевать симпатии публики, выдал рассказ Зошенко о том, как в бане у гражданина смылся номерок, выдавал это он, подражая актеру Хенкину. Все, что делалось дальше на сцене, состояло из довоенного эстрадного репертуара: пели «У самовара я и моя Маша», «Катюшу», танцевали цыганочку, а этот длинный,

конопатый парень то снова читал Зоценко, то подражал пожарнику и кричал со сцены: «Тут я слышу, какая-то дрянь горит. Оглянулся, а это я сам горю». Все это мы знали еще с тех времен, когда были школьниками, и сначала не очень-то приняли конопатого парня, но вдруг как-то поняли, что здесь, в этом краю, ребята с пограничных застав еще жили тем, что было до войны. Жизнь для них словно бы остановилась надолго. Они не видели ничего такого, чего успели насмотреться мы, даже новые песни наши еще к ним не дошли, все было обращено на Запад, а не на Восток. И вот когда мы это поняли, совсем по-другому стали относиться к конопатому парню, прощали ему, что он подражает то Хенкину, то Утесову, и хлопали от души.

Было в этом еще и другое: благодаря старым песням, эстрадным номерам, затертым байкам конференсье мы словно бы вернулись в тот мир, из которого вышли, став солдатами, поэтому длинный зеленый зал показался нам вдруг своим, уютным, будто уж когда-то мы все собирались в нем и так же радовались и смеялись бесхитростной шутке.

Концерт шел недолго, пограничники понимали, что это только завязка, надо дать ребятам поразмяться в танцах. Девушки действительно были в зале, и гражданские и военные. К тому же пограничникам самим хотелось покурить с нами, поболтать.

Скамьи сдвинули к стенам, на сцене появился оркестр, самый настоящий духовой оркестр, и для начала он грянул вальс «На сопках Маньчжурии» — это звучало как увертюра: вот, мол, ребята, не забывайте, куда приехали.

— Ну, что, Логач, — сказал Коваль, взглядываясь в группку девушек, вокруг которых делали круги солдаты в до блеска начищенных сапогах. — Вырвем по одной.

Логачев повел в ту сторону носом, надменно взгляделся в девушек, сказал:

— Не суетись. Каждому овощу свое время. Тут нужен подход. Для начала с этими штыками потравим. — И он указал на троих пограничников, что стояли неподалеку и робко оглядывали нас, не решаясь подойти.

— Ну, что, мальчики, — сказал им Логачев. — Как служба? Где тут живет знаменитый Карацупа с мечтой моего детства собакой Индус?

Ребята рассмеялись, лица у них были розовые, холеные, и сами они были подтянуты, в чистеньких гимнастерках, при разглаженных погонах и с ослепительной белизны подворотничками.

— Кто из вас достал самурая? — спросил Коваль.

— Да бросьте, ребята, — сказал круглолицый сержант с жесткими плотными губами и злыми глазами. — Мы же к вам с душой. Зачем насмешки?

— Точно, — кивнул Логачев. — Пошли подымим в уголок к бадейке.

Мы направились в то место, где висел плакатик «Курить здесь», свернули по сигарке, Коваль щелкнул трофейной зажигалкой; один из пограничников, тот, что был помладше, с белесым пушком над губой, уставился на нее. И тут Коваль сделал царский жест, он вложил этому парню зажигалку в ладонь.

— Держи, штык, у меня две запасных есть. Высшее достижение техники — огонь делается из бензина.

— Фрицовская? — спросил парень, покраснев от радости.

— У фельдмаршала из заднего кармана вытянул.

— Спасибо, — растерянно пробормотал парень, и все рассмеялись.

— А так, без трепа, как здесь жизнь? — спросил Логачев.

— Вот семь лет трублю, — сказал сержант. — Еще до войны начал, срок уж считал, когда домой поеду, а вот еще четыре года пришлось.

— Семь лет? — присвистнул Коваль. — И все на одном месте? Да, не сладко.

— Не сладко, — кивнул сержант и сверкнул злыми глазами. — Это тут ваши нарываться стали. Дескать, мы тут, а вы там. А что они понимают, как мы тут. Потруби столько лет в боевой готовности по номеру один. Полежи в мороз на полосе да из дозора в дозор — завоешь, небось. Это тебе не с фрау...

— Насчет фрау ты зря, — сказал Коваль. — Те, кто трепал, — это не наши. Придурков много. А тот, кто по-настоящему был, службу понимает и трепать не будет. И ты не кипи, сержант.

— Может быть, — ответил тот, но остановиться уж не мог, видимо, в нем как следует засела обида. — Вам-то, видишь, на грудь всего навешали, а у нас пусто. Я хоть и семь лет оттрубил, а из армии придешь, скажут: тыловик, гад. А какой я тут, к едреной матери, тыловик? — И он с нескрываемой завистью посмотрел на грудь Логачева.

Посмотреть там, честно говоря, было на что: грудь у Логачева вся увешана, да он еще нынче хорошо начистил свои медали.

— Это ты не горюй, — сказал Логачев. — Это ты еще и тут успеешь схватить, если жив будешь. Не богатству завидуй, а здоровью. Все цело в тебе, и сердце бьется. Ты лучше скажи, как у вас с женским полом?

Сержант присмирел и улыбнулся.

— Да есть кое-кто, только нашему брату не очень... Да вон они, — кивнул он на танцующих. — Опять же к вашим рванули. Девка, известное дело, как щука, на блеск идет.

— Если случай выпадет, познакомишь? — спросил Логачев. — Через рекомендацию всегда удобней. По дружбе. А?

— Ну, если по дружбе, — ответил сержант и опять улыбнулся злыми глазами.

Зря он, конечно, сердился и завидовал. Все мы отлично понимали, что выпала здесь пограничникам нелегкая жизнь, втиснутая в строжайшие рамки службы и тревожного многолетнего ожидания: вот-вот и здесь начнется, и вот-вот войска с той стороны перейдут рубеж, и тогда придется первым принимать удар. Мы также понимали, что никто из этих ребят, кто пробыл тут всю войну, неповинен в том, не прятались они здесь, не кантовались, каждый из нас мог легко оказаться на их месте — так уж распорядились судьба и военкоматы.

Это только сначала сержант немного позлился — надо было как-то разрядить свою обиду, а потом приутих и даже обрадовался нашей компании. А тот, с белесыми усиками, был просто счастлив от подарка Ковалья, то и дело щелкал трофейной зажигалкой, и я видел потом, как он хвастался ею в кругу совсем молоденьких солдат, года двадцать шестого или седьмого рождения, их тоже успели призвать.

А Удодов в тот вечер был не с нами. Сейчас уж не помню, то ли он встретил Надю в клубе, то ли успел забежать за ней в штаб, но на концерте они сидели рядом.

Когда начались танцы, Удодов сказал:

— Может быть, покружимся?

По правде говоря, танцевал он плохо, а вальс вообще не умел, но он подумал, что если просто будет стоять с Надей у стены, то к ним обязательно подскочит или пограничник, или свой: девушек было мало, а танцевать хотелось многим.

— Хорошо, Ромашка, — сказала она. — Только не вальс. Пусть начнут что-нибудь другое. Вальс в сапогах неудобно.

В это-то время и подошел к ним Катанцев. Лицо его было необычно, с него сошел хмурый, серенький налет, и все закругленные части его заблестели, маленькие глаза посветлели, обритая голова отражала свет электричества, как выпуклый рефлектор.

— Здравствуйте, Наденька, — сказал он с неожиданной лаской в голосе.

Она посмотрела на него и вскрикнула:

— Ой, Иван! Как же так?

Он взял в широкие ладони обе ее руки и пожал.

— Я еще в эшелоне, Наденька, вас заприметил да не поверил, что это вы, а потом уж потерял из виду.

— Так вы что же, выходит, у нас служите?

— У нас, у нас, — закивал он. — Вот как дорожки-то схлестнулись. Поди, не догадаешься загодя. Ну я-то уж ладно, а вот что вы тут, так и впрямь удивление. — Он

оглядывал ее любуясь и совсем не замечал Удодова, будто его тут рядом и вовсе не было. — А вы ничего, Наденька, хороши. Только покрепче вроде стали.

— Да ну уж, — отмахнулась она. — Как вы-то живете, ничего?

— Оклемался. На мне все, как на собаке, зарастает... Ну, а как капитан наш, Галимов? Так я вестей от него и не получил, хоть он и обещался. Забыл, небось, соседа по палате.

— Убили Галимова, — сказала Надя с той своей ошеломляющей открытостью и простотой, к которой до сих пор Удодов так и не сумел привыкнуть. — На второй день, как батальон принял, убили. Похоронила я его.

— О ты черт! — выругался Катанцев и поморщился, как от приступа боли. — Это же надо. А я не знал. Каких людей косит. Как же так, Наденька?

— Так, — сказала она. — Его там и узнать не успели. Только я и знала, какой он. — И внезапно посмотрела на Удодова, будто вспомнила, что и он знал капитана, взгляд ее был сух, строг, под ним Удодов почувствовал себя неловко и подумал: может быть, она захотела ему показать, чтоб он оставил их сейчас, и Удодов собрался отойти, как она обратилась к нему:

— Дай мне, Ромашке, закурить.

— Тут нельзя, — ответил он.

— Ну ладно, — поморщилась она. — Тогда не буду. И на этот раз Катанцев не посмотрел на Удодова, ему было, видимо, все равно, есть ли кто-нибудь третий рядом с ними, он видел сейчас только Надю.

— Великий был человек, — сказал Катанцев. — Я бы таких на войну не брал. Указ бы принял, чтобы не пускать. Они, видишь, сами лезут. А по мирному времени, как без таких голов жить будем? Прежде-то я таких не встречал, не привелось.

— И я не встречала, — сказала Надя, — И после тоже.

— Могилку хоть запомнили? Небось, потом ее искать будут.

— Знаю, — сказала она. — Найду.

— Надо помнить, Наденька, — одобрительно кивнул Катанцев. — Я его книжки видел. Очень нужные по нашему времени. Все про землю, про почвы и какие где злаки должны произрастать... Ну, а мужа-то нашли?

— Нашла, — сказала она и добавила просто: — Только я не хочу о нем, Иван.

Он понимающе мотнул головой:

— Понятно.

Постояв некоторое время молча, хмуря лоб, посмотрел на наручные часы, вздохнул:

— Ну, еще повидаемся, Наденька, поговорим. Мне на дежурство заступать. — И только после этого впился глазами в Удодова, они стали колкими, цепкими, и взгляд их Удодов ощутил физически, он прошел по нему остро. Катанцев, так ничего и не сказав Удодову, пошел к выходу.

Оркестр играл танго, довоенное медленное танго, в центре зала двигались под него пар десять, а вокруг у стен стояли солдаты, сосредоточенно смотрели на танцующих, и те, чувствуя на себе придирчивые взгляды, старались вовсю; девушки напустили целомудренную строгость, не разговаривали с партнерами, и это молчаливое движение пар казалось танцем манекенов.

— Пойдем отсюда, — позвала Надя.

Они вышли на широкое крыльцо клуба, с навеса стекала вода, гулко плескалась у ступеней, огни селения расплзались во влажной мгле, вспышки далеких молний были теперь реже, но ярче, они с силой озаряли окрестность, вырывая из нее кусты, залитую водой дорогу, плетни у огородов, и когда стремительно погасали, то перед глазами какое-то время еще держалось выхваченное из тьмы место, только все это было белым, как на негативе.

Надя стояла, слушая плеск воды, а Удодов думал, что вот встретила она Катанцева, они вспомнили о чем-то таком, что было ему неизвестно, у них была частица своей, только

им принадлежащей жизни, в которую Удодов, если даже будет посвящен, все равно не сумеет проникнуть, потому что для той жизни он посторонний, каким и был, когда они вспоминали о ней. И от этого становилось грустно.

— Он взводный мой, — сказал Удодов. — Катанцев этот.

— А-а, — протянула Надя отрешенно, видимо, все еще находясь во власти своих воспоминаний. — Он ничего... Он неплохой мужик. Я сначала в госпитале работала. Три месяца... Выжил он. Досталось ему.

— Да, я знаю, — ответил Удодов. — Крепкое ранение.

— Это чепуха. Ранение... У него другое. Он из штрафной к нам попал. Мучился из-за этого. Страшно мучился.

— Что ты говоришь! Он да из штрафной? Да как же он в нее попал?

— Попал, — задумчиво сказала она и тут же попросила: — Проводи меня, что-то устала. Спать пойду.

Они вышли под дождь, укрывшись плащ-палатками, двигались, оскальзываясь, и когда добрались до штаба, где мок, прижимаясь к стене, часовой, Надя остановилась, посмотрела в непроницаемое небо.

— Господи, — сказала она, — кто же знает, что с нами будет?

Было это вечером пятого августа. На границе у реки Амур шел ливень и вспыхивали зарницы, река вышла из берегов и затопила окрестные поля.

(Окончание следует.)

стихи

Борис Слуцкий

Судьба детских воздушных шаров

Если срываются с ниток шары —
то ли от дикой июльской жары,
то ли от качества ниток плохого,
то ли от
вдаль
устремленья лихого, —

все они в тучах не пропадут,
даже когда в облаках пропадают:
лопнуть не лопнут,
не вовсе растают.
Все они к летчикам мертвым придут!

Летчикам наших воздушных флотов,
испепеленным,
сожженным,
спаленным,
детские шарики — вместо цветов.

Там, в небесах, составляется пленум,
форум, симпозиум разных цветов,
разных раскрасок,
из разных цветов.

Там получают летнабы шары
и бортрадисты
и бортмеханики,
те, кто разбился,
и те, кто без паники
переселился в иные миры.

Все получают по детскому шару
с ниткой оборванной при нем.
Все, кто не вышел тогда из пожара,
все, кто ушел,
полая огнем.

Вершигора конспектирует

На совещаньях молодых писателей
среди многих молодых и ранних
порою встретится немолодой и поздний.
Всем некуда спешить.
У всех в запасе вечность.
Ему (по собственному счету)
осталось года два (или четыре!),
четыре (или два!) инфаркта,
и надо описать то, что увидел,
а как писать!
Все знают все.
Он, может быть, единственный
в огромном зале
знает,
что ничего не знает.
Точнее: почти что ничего,
и надо описать это почти.
Романа на три хватит,
а как описывать?
Все слушают не слыша,
внимают невнимательно.
Им, в общем, все заранее известно.

А он глаза раскрыл пошире,
вытащил тетрадку
и КОНСПЕКТИРУЕТ!
Браду уставя в парту,
презрев обстрел насмешливыми взглядами,
он КОНСПЕКТИРУЕТ!

Авось, успеется, удастся поучиться
и даже выучиться!
Ведь не умел взрывать мосты
и — научился.
Ведь не умел командовать соединением
и — научился.
А вдруг успеет научиться

писать романы?

Решенье принято,
и жизнь,
что столько раз сначала начиналась,
на этот раз сидит за школьной партой
и КОНСПЕКТИРУЕТ.

Убежденность

Убежденность, с которою сын из окопа
пишет матери: «Все хорошо у меня».
Убежденность, срывающая оковы
и пылающая, светлее огня.
Убежденность не в бытии, а в сознании,
в том, что будет, как надо,
как следует быть,
жизнь до жизни
предчувствующая заранее,
смерть до смерти
готова,
как рюмку, испить.

Учебная музыка

Когда я слышу гаммы за стеной,
мирюсь с разодранною тишиной.
Я знаю: эти гаммы — признак счастья.
Тот мученик, что к фортепьяно сел,
спал с вечера, с утра поел.
Пуускай долбаёт клавиши почаще.

Ничто с такой прекрасной полнотою
не выражает улучшенья жизни,
как этот звук, настырный и простой.
Звучи же!
Из любого дома брызни!

Излишество!
Колоннами его
символизируют и выражают.
Колонны пусть чернят и разрушают.
Но музыки учебной вещество,
сочащееся из-под каждой рамы,
точней, чем экскаваторы и краны,
передает строительный размах,
все время нарастающий в домах.

Летний дождик

Дождь короткий, зажатый жарой,
словно церковь — домами высотными!

Пчел прозрачных стремительный рой
жужжанул над мальцами веселыми!
Пыль смочил
и с носов
пудру смыл,
в городские газоны вломился,
листья наполовину отмыл
и куда-то немедленно смылся!

*

Сколько звездной блистательной падали
выпадает в одну только ночь!
Звезды падали, падали, падали.
Звезды падали целую ночь.
Что-то в космосе происходило.
Что-то самое главное шло.
Небо вызвездило и раззвездило.
Звезды высыпали. Их смело.
А астрономы и любовники
вспоминали до самой зари
свои сонники и толковники,
свои справочники и словари.
И под тихое обрушение
наземь
целых звездных систем
было легче принять решение
и держаться с решением тем.

Виктор Урин

Днепр. 1943

Долго ли нам в зарослях томиться,
проползая тихо на заре!
Словно бы смеженные ресницы,
лодочки
дремали
на Днепре.

Артострел...
Но мы уже у весел.
Я гребу на огненном ветру.
Взрыв!
Он словно вырвал, и отбросил,
и ударил
кровью
по Днепру.
И волна,
мне рану омывая,
врачевала, словно медсестра.
В моих жилах кровь течет такая:

кровь освобожденного Днепра.

Я был комсоргом роты автоматчиков.

Я был комсоргом роты автоматчиков,
тогда мне было восемнадцать лет,
«нолевкою» остриженные мальчики
входили в комсомольский комитет.

И не в ладу с отставшими обозами,
голодные, мы спали у Днепра.
Форсировали. Пробегали. Ползали.
Выкрикивали хриплое «Ура!».

Я помню, как противогаз выбрасывал
[пожалуй, я был прав в конце концов).
А в пыльной сумке меж страниц Некрасова
лежали заявленья от бойцов.

Писали карандашными огрызками:
прошу принять... мол, Родина зовет...
Прожектора настойчивые рыскали,
под утро предвещая артналет.

И каждый рыл по собственному норову
ячейку, чтоб удобнее залечь.
Отцовские ячейки! Вы по-новому
входили на поверку в нашу речь.

Забуду ли, как жили мы с ребятами,
когда, единогласные во всем,
вели мы протоколы автоматами,
поддерживали мнения огнем!

И были взносы ранами оплачены,
и наскоро лечились мы в лесу...
Я был комсоргом роты автоматчиков
и эту должность до смерти несу.

Муравьи

В шиповнике среди ветвей
мы над рекой лежим на склоне,
и муравьи с руки твоей
сбегают по моей ладони.

...Шинель. Промерзшая кирза.
Лежу на взорванном настиле.

Уговори свои глаза,
чтобы со мной нежнее были.
Заворожи меня, взволнуй,

как в ранней юности, в июле.

...Шальной, прощальный поцелуй
приму не от последней пули.

В бреду виденья ослепят,
и мне запомнится особо,
что васильки летят с лопат,
и я люблю тебя до гроба.
... У медсанбата, у дверей,
очнусь, по-юношески пылок.

И тот же самый муравей
мне на ладонь сползет с носилок,
как будто он с руки твоей,
с ее сиреневых прожилок...

Вечный рядовой

В генеральском возрасте
вечный рядовой,
опаленный грозами,
вспоминаю бой.

Четверть века — много ли,
мало ли прошло!
Справились. Не дрогнули.
Всем смертям назло.

Время нашей удали,
горестей, невзгод...
Вспомню ли, забуду ли
сорок пятый год!

Штурмы небывалые,
лютые бои,
и знамена алые,
кровные свои.

Я теперь беседую
среди тех знамен
с нашею Победою
на волне времен.

Михаил Касаткин

*

Старушка у крылечка, на ступеньке,
Иссохшая, что малое дитя.
Благословляла наше наступленье,
Щепоткой пальцев спины нам крестя.

И дед у воза сена на проселке.
Опершийся на обод колеса.
Нас долго провожал и втихомолку
Тер рукавом залатанным глаза.

Нас целовали девушки в райцентрах
С наветренной и тихой стороны,
И золотилась маковкою церковь,
Навстречу нам шагнув из старины.

*

Полощутся березки у опушки
В колеблющейся, как вода, тени.
Опять перекликаются кукушки
Так, словно бы они в лесу одни.

Не обольщаюсь голосом вещуний,
Пророчащих мне что-то на суку,
Хотя они и душу мне врачуют
Певучим и бесхитростным «ку-ку!».

И счет души кукушкиного жестче,
И чувства по-осеннему трезвы.
Недолго любоваться узорочьем
Мне золоченной сентябрем листвы.

Недолго вслушиваться в щебет птичий
И в собственном ютиться мираже.
Как сам себя лекарствами ни пичкай,
Здоровья не прибавится уже.

Украденное крапинками крови.
Утраченное капельками слез.
Оно теперь — родной земли здоровье:
Ее опушек, листьев и берез.

И, может быть, я здесь торчу прилежно
Лишь потому — безрадостен и тих.
Что у меня — последняя! — надежда
На постоянную взаимность их!..

*

Снег исчез в громах и солнцах вешних,
Выстирав ковры лесных полян.
И увидел я, что ты подснежник —
Голубое с синим пополам.
Облака шли белопенно, тало,
А под ними — рощицы, как тень.
Оттого повсюду зацвело,

И увидел я, что ты сирень.
Белое с зеленым отрябило.
Отзвенело августу вослед.
И увидел я, что ты рябина:
Красный свет — дороги дальше нет!
Женщина, смеющаяся мило.
Не грустя, не мучась, не любя.
Как внушаешь целому ты миру,
Чтобы походил он на тебя!
Запахами, радугами, цветом.
Пронизавшими любую даль...
Как через него внушаешь мне ты
И любовь, и слезы, и печаль!

*

По осени, остылой всклень.
Бывает странная погода.
Когда один и тот же день '
Все времена являет года.
То полусумрак голубой
Перемежается со светом.
То вдруг внезапно дождь слепой
Перемешается со снегом.
А чуть спустя звенит капель.
Ручьями на асфальт стекая.
И вот в прошедший свой апрель
Я будто заново вступаю.
Вступаю, зная наперед.
Что это только небылица,
Что, за день повторяясь, год
Взаправду вряд ли повторится.

*

Дохнула арбузами полночь
Скользящим созвездьям вослед,
Где месяца тонкого обруч
На облачко косо надет.
За речкою темной, за лесом,
В его теневой полосе,
Довольные собственным весом,
Машины урчат на шоссе.
Прожекторно фарами шарят,
Как будто они наугад
Вне наших земных полушарий
Нащупать гараж норовят.
И ветер бежит по вершинам
Таинственно вскинутых крон
За этим гуденьем машинным,
За сполохом света вдогон...

Юрий Камеицкий

Из дней войны

Три измерения: пространство, время,
скорость.
И нет прямых. Есть кривизна орбит.
К какой звезде сейчас подходит поезд
Из дней войны, со станции Ирбит?
Мешками в нем проходы все забиты,
Россия мчит в нем под колесный стук.
Во сне хохочут горько инвалиды
И сладко плачут, просыпаясь вдруг.
Как ребра полук, лица баб остры.
Детишки грудь слепыми ищут ртами.
Все это тонет в облаках махры,
По-рыбьи поводящих плавниками.
И едут двое молодых донельзя
В том поезде — девчонка и солдат.
На ксилофоне шпал, зажатых в рельсы.
Мелодии любви для них звучат.
Страна восходит по крутой орбите,
На дивных скоростях сквозь время мчась.
На время и на скорость не в обиде —
Все чаще с прошлым выхожу на связь.

*

Мы с ним вели железную игру,
С немецким снайпером.
И жизнь была в ней ставкой.
Затеянная гитлеровской ставкой,
Игра пришлась фашисту по нутру.
К тому ж не рисковал он крупно.
Сквозь маскировочную сеть
Бронеколпак системы Круппа
В лицо выхаркивал мне смерть.
Он снайпер был. А я — пехота.
При свете солнца и во мгле
Шла непрерывная охота
За мною на моей земле.
Он не давал мне передышки,
Я должен жить был не дыша.
Он бил на голос, бил по вспышке
Цигарки в щели блиндажа.
А как в ту пору травы пахли.
Мне на ладонь роняя капли!
Но это ощутил я позже —
Когда в плечо толкнуло ложе,
И в перекрестии прицела
Качнулась каска и осела
Под маскировочной той сетью,

И сеть взметнулась на ветру...
Шел переломный сорок третий,
Я эту выиграл игру!

В поиске

Две «лимонки», клинок за пояс.
Полковая уходит в поиск.
Напрямик, через поле минное,
Я к чужому окопу ползу.
Ты чего испугалась, милая.
Утираешь слезу!
Мне присниться всякое может.
Это пусть тебя не тревожит.
И в военное время и в мирное
Я все время в разведке, милая.
Самолетом, пешком ли, в поезде,
В одиночку ли, в шумной толпе —
Все ищу я себя. Я в поиске.
Я всегда возвращаюсь к тебе!

*

Кажется, скрипит земная ось
В тысячах несмазанных колес.
Тянутся обозы с беженцами.
Рухнул мир. В нем нет тепла и крова.
Тащится на привязи корова,
Круто поводя боками бежевыми.
Нелюдским страданиям нет имени.
Падает. Асфальт скребут рога.
И хрипит. И брызжут в грязь из вымени
Вместе с кровью капли молока.
Мне, наверно, есть что вспомнить, кроме —
Люди гибли. Чта там о корове!
Годы мчат. А в памяти пока
Не мелеет беженцев река.
И скрипит, скрипит земная ось
В тысячах несмазанных колес.
Тянутся обозы, как века.
Долгою дорогою военной.
Млечный Путь мерцает во Вселенной,
Брызжут с кровью капли молока...

ПРОЗА

Борис Зубавин

ГАРНИЗОН «УГОЛКА»

РАССКАЗ

Он еще не знал, что видит командира батальона первый и последний раз. — Лейтенант Ревуцкий прибыл в ваше распоряжение для прохождения дальнейшей службы в должности командира стрелкового взвода вверенного вам батальона, — доложил он очень громко, четко, одним дыхом, без запиночки, да еще лихо прищелкнул при этом каблуками кирзовых сапожищ, да еще молодецки, по-ефрейторски, вскинул к виску правую ладонь.

— Ах, какой отчаянный, brave офицер прибыл в наше распоряжение, — сказал тот, кто сидел за столом и к кому обратился Ревуцкий, от макушки до пяток наполненный волнительной важностью торжественного, как ему казалось, момента.

Тот, перед кем, вытянувшись в струнку, так страстно прокричал слова своего рапорта юный лейтенант, в самом деле был комбатом, пожилым, усталым, лысым капитаном. Он крутил в пальцах остро отточенный карандаш, а перед ним на столе лежала большая, как скатерть, карта города, и он одновременно с жалостью и завистью, устало улыбаясь, щурясь, поглядел на незнакомого офицера, так красиво, словно на парад, одетого во все новенькое, с игопочки.

— А звать-то как вас, лейтенант Ревуцкий?

— Василием Павловичем.

— Васей-Васильком? Какое веселое имя, подумать только! — Капитан заулыбался, рассматривая Ревуцкого, еще шире и добрее. — Ах ты, Вася-Василек, — ласково проговорил он и крикнул, устремив свой взор в глубь подвала:

— Старший адъютант, куда мы направим Василия Павловича Ревуцкого?

— В третью роту, товарищ капитан.

— Вот, слышали? Желаю успеха.

И только капитан успел проговорить эти слова, как все в подвале, душно и густо пропахшем дрянным табаком, бензиновой гарью что есть силы чадающих самодельных ламп-коптилок, мышами, кислой прелью мокрых, развешанных возле горячей печки-буржуйки портянок, — все в этом подвале пришло в движение и разом неузнаваемо изменилось. Тревожно зазуммерили телефоны, закричали, забубнили в трубки телефонисты, вбежал встревоженного вида сержант, еще от порога протягивая капитану мелко исписанный листок бумаги, а следом за ним быстро, размашисто прошел по подвалу артиллерийский офицер, и, пока комбат читал врученную ему сержантом депешу, артиллерист стоял возле лейтенанта Ревуцкого, весь пребывая в нетерпеливом ожидании. К столу подошел старший адъютант батальона, комбат как раз в это время кончил читать, кинул депешу на стол, а старший адъютант батальона, склонясь над картой, ткнул в нее пальцем и сказал:

— Вот здесь.

— Туда две пушки на прямую наводку, — сказал капитан артиллеристу. — Да побыстрее. — Потом он поглядел на адъютанта: — Девятому скажите, чтоб он непрерывно контратаковал и улицу к утру мне вернул. Голову сниму за ротозейство. Впрочем, я сам все это скажу ему. Пусть срочно соединят меня с девятым...

Про лейтенанта Василия Павловича Ревуцкого все позабыли. Он потоптался в смущении и одиночестве еще немного возле обеспокоенного комбата и пошел, тоже встревожась, в тот дальний угол, где разместились батальонные адъютанты и писаря и толпились связные из рот. Они уже получили пакеты и, засунув их за пазуху, подтягивали перед дорогой поясные ремни, надевали каски, и поудобнее, посподручнее устраивали на себе гранаты и оружие.

— А что случилось? — спросил лейтенант, когда они вместе со связным третьей роты, таким же безусым молодым человеком, худеньким, с тонкой, мальчишеской шеей, голо и незащитно торчавшей из ворота кургузой шинельки, и в каске, сползавшей на глаза, вышли из подвала на чистый, свежий воздух весенней ночи. Здесь, на разрушенной городской улице, были совсем другие, чем в подвале, запахи. Тут пахло битой щебенкой,

головешками пожарищ, порохом и шибко таявшим за день, а теперь прихваченным легким морозцем весенним снегом.

— Вы что сказали, товарищ лейтенант? — спросил солдат, поправляя каску.

— Я спрашиваю: что случилось? Почему все вдруг всполошились?

— Немец пошел в атаку на правого соседа, — простодушно ответил солдат. — А у нас какой уж час пока тихо. — Он остановился, сделал лейтенанту знак, чтобы тот тоже стал, и, вновь поправив каску, сердито наподдав ее ладонью так, что она вмиг слетела на самый затылок, понизив голос до шепота, сказал: — А теперь тикайте аж вон туда.

— Куда? — тоже шепотом спросил Василий Павлович.

— Аж вон до того угла. И зараз сигайте в окошко. А как вы сиганете, так и я, авось, заскочу.

— Стреляет?

— И не говорите как. Днем и не пройти. И не думайте, — запричитал связной. — Ночью еще кой-как, меньше, но тоже все паляет разрывными, собака такая. Слышите, товарищ лейтенант?

Они прислушались. Разрушенный немецкий город, в котором третьи сутки шли непрерывные, отчаянно жестокие бои, кутала весенняя ночная тьма, и ее то тут, то там разрывали, вспугивали смутно-тревожные, зыбко и ярко мерцающие сполохи ракет и гулкие взрывы сразу непонятно даже и чего: то ли противотанковых мин, то ли гаубичных снарядов. И во всех концах города захлебывались, заливались пулеметы. Вокруг тем не менее было одиноко и до тоски пустынно.

— Тикайте же, товарищ лейтенант, тикайте, — уже беспокойно, нетерпеливо прошептал солдат. — Пока у нас тихо, так мы, может статься, целехонько добежим и с нами ничего такого не случится.

Василий Павлович Ревуцкий продолжал прислушиваться к незнакомым и колдовски тревожным для него, свеженького здесь человека, звукам ночной военной улицы: справа, как отметил он, и ракеты светили много чаще и ярче, и гул стрельбы там почти не стихал. Слышались даже крики: не то просили о помощи, не то отдавали команды.

— Тикать? — спросил он, встрепенувшись, у солдата.

— Тикать скорейче, — прошептал тот. Прицелившись к дому, на который указал ему связной, лейтенант вобрал в себя побольше воздуха и, сгорбатясь, быстро-быстро побежал через улицу, прямо к оконному проему, подтянулся на руках, жарко, часто дыша перевалился через подоконник и плюхнулся, больно ушибясь локтем, на кучу кирпичей.

Не успел Ревуцкий оглядеться, а связной, тоже шибко, как и он, затравленно дыша, уже сидел подле.

— А теперь пошли скорейче далее, а то он и туточки паляет минами, когда услышит, черт паршивый, — прошептал солдат.

2

И они вышли скорым шагом из дома, но уже через дверной проем и совсем в противоположную сторону, перебежали пустынный двор, миновали еще несколько в пух и прах разрушенных домов и опять же через выбитое окошко ввалились в точно такое же, как и в начале их пути, заваленное битым кирпичом помещение. Здесь находился командный пункт роты. Солдат, быстро разобравшись в темноте, царившей тут, присел на корточки возле кого-то, сидящего на земле и боком прислонившегося к стенке, и прошептал:

— Товарищ старший лейтенант, вот вам пакет, и еще со мной товарищ лейтенант до нашей роты.

— Лейтенант Ревуцкий прибыл... — четко и громко провозгласил было, взяв под козырек, Василий Павлович, но тот, что сидел в темноте возле стены, взмахнул рукой, хрипло выдохнул:

— Садись! Заткнись!

И лейтенант, подчиняясь этому властному сиплону возгласу, быстро присел рядом с солдатом на корточках. И вовремя: сразу несколько светящихся пуль весело, пчелками вжикнуло над его головой.

— Что ібі орешь? — зашипел старший лейтенант. — Тут немцы кругом чуть не на головах сидят, а ты орешь с такой радостью. Словно дружка на базаре встретил.

— Виноват, не знал я, виноват, — поспешно прошептал Василий Павлович.

Помолчали.

— Курево есть? — уже совсем по-другому, мирно и доброжелательно прошептал старший лейтенант.

Лейтенант Ревуцкий еще не знал, что тоже разговаривает с ним первый и последний раз. Однако если капитана комбата он все же успел в подвале кое-как рассмотреть, то командира роты не увидел вовсе. Узнал лишь, что ротный находится в звании старшего лейтенанта, поскольку так назвал его связной, да еще запомнился голос его: хриплый, простуженный и жесткий.

Закурили, пряча папироски в рукава.

— Давно из училища? — спросил ротный.

— Сразу. Даже дома не успел побывать.

— А звать как?

— Василием Павловичем.

— А родом откуда?

— Из-под Москвы. Слышали город Подольск?

— Как не слышать. Родители живы-здоровы?

— Мама на заводе работает, отец не знаю где воюет. Еще сестренка есть, она тоже на заводе вместе с мамой работает.

— Комсомолец?

— Кто, я?

— Не я же.

— Конечно.

— Ладно, чирий-Василий, слушай обстановку. Мы здесь держим улицу. И она, прямо скажем, держится на том самом взводе, который ты сейчас примешь. — Ротный помолчал, подумал, потом прибавил: — Если успеешь, конечно. Так вот, если примешь, — ни с места. Ни на шаг чтобы из того дома. А то всем нам будет труба. На фронте еще не бывал?

— Первый раз, — поспешно, с охотой отозвался Ревуцкий.

Ротный надсадно закашлялся, и над ними опять пронесся рой светящихся пчел. Потом, откашлявшись, ротный сипло сказал:

— Стало быть, принимаешь боевое крещение. Поздравляю. А теперь слушай дальше обстановку. Дом будешь держать всеми имеющимися в твоём распоряжении средствами. Патроны и еда тебе посланы, людей не проси, сам не нервничай понапрасну и других тоже не нервируй, потому что людей ни у меня, ни у комбата нет. А за тот ключевой дом мы с тобой головами отвечаем в случае чего. Понял обстановочку?

— Понял, — прошептал Василий Павлович.

— Оружие есть?

— Пистолет.

— Пистолетом тут только сахар колоть. Ну, да там оружия вдоволь и даже больше. Иди. Скляренко проводит тебя. Скляренко!

— Я здесь, товарищ старший лейтенант, — отозвался сидящий подле Ревуцкого солдат-связной, только что прибежавший сюда вместе с Василием Павловичем с командного пункта батальона.

— Слушай, Скляренко, обстановку. Проведешь лейтенанта на «уголок», подождешь, а как он разберется, что к чему, уяснит и вникнет, вернешься, доложишь. Ну, валяйте, пока не светало. — И он опять надсадно, с болезненным стоном закашлялся.

— Вам надо лечиться немедленно, у вас бронхи простужены, — подождав, пока над ними пролетят вперегонки красные, желтые и зеленые пчелки, вмиг отозвавшиеся на кашель ротного, с сожалением и сочувствием сказал ему Василий Павлович.

Ротный сипло рассмеялся.

— Давай, давай, топай. Такие довоенные болезни сейчас некогда лечить. Ты давай, советчик Василий, быстрее взвод принимай.

— Слушаюсь, — сказал Ревуцкий, попятился, приподнялся с корточек и, согнувшись в три погибели, побежал следом за связным.

3

Они выскочили на улицу, перемахнули ее скачками, словно антилопы, упали на покрытые ледком, холодные и скользкие торцовые камни тротуара, а полежав немного и отдышавшись, побежали, прижимаясь к стенам домов вдоль улицы. Откуда-то из темноты встреч им бил крупнокалиберный пулемет. Казалось, он где-то совсем недалеко и немцы, стреляющие из него, прекрасно видят и солдата в сдвинутой на затылок каске и лейтенанта Ревуцкого с гулко бьющимся сердцем, тяжело, загнанно дыша мчащегося вдоль улицы следом за солдатом; видят и сейчас же, быть может, через мгновение, выпустят целый пулеметный залп прямо в них.

Но ничего страшного не случилось, и трассирующие пули, выпущенные из того пулемета, летели себе и летели, как ни в чем не бывало, по самой середине улицы и таяли, гасли, потухали безобидно, печально и красиво где-то в темной уличной глубине.

И вдруг офицер и провожающий его солдат в мгновение ока исчезли с улицы, беспокойно простреливаемой крупнокалиберным пулеметом. Их словно ветром сдуло, а улица вдруг ярко и мертвенно осветилась взлетевшими в разных концах ее двумя белыми ракетами, и тут сразу поднялась неистовая испуганная пулеметно-винтовочно-автоматная пальба, рванулось на мостовой, ухнуло несколько крупных гранат, и так же враз, словно сконфузясь, все стихло. И уже трудно было понять, кто в кого, почему и откуда стрелял.

Но этой страшной, истерической стрельбы, длившейся ровно столько, сколько качались подвешенные над улицей ракеты, ни Ревуцкий, ни Скляренко не слышали. Они в это время, прыгнув, сбегав по каменным ступенькам, шли гулким, длинным, темным подвалом, перебирая руками по его скользкой, мокрой и липкой стене, так что когда настало время выбираться им наверх, никакой стрельбы уже не было.

Вылезши из подвала, они очутились в том самом доме, на котором, по словам ротного командира, «держалась вся улица» и который по-свойски прозвали в роте «уголком». Позднее, когда достаточно рассвело и можно было оглядеться, узнать и определить, что к чему и зачем, лейтенант Ревуцкий понял: дом был действительно ключевой, заглавной позицией роты, захватившей и удерживающей в своих руках улицу, так как из окон его контролировались и просматривались все ближние и дальние подходы к этой улице. «Уголком» его назвали тоже не напрасно: он углом, как уют, врезался в площадь с краснокаменной, голой и сумрачно строгой католической церковью на противоположной стороне.

Лейтенант взбежал следом за солдатом на второй этаж. Здесь чувствовались люди. Двери были выбиты, выломаны или распахнуты настежь, и лейтенант, еще не увидев ни одного человека, почувствовал непереносимое здесь присутствие людей: откуда-то в коридор тянуло табачным дымом, кто-то с кем-то по-ночному тихо, мирно переговаривался, где-то послышался сдержанный смех и очень отчетливый после этого возглас густым, дьяконским басом:

— Ну и балда же ты непоправимая, Авдеев!

Да, все говорило о том, что тут были люди и самое отрадное — свои.

Вошедших осветили фонариком, властно сказали из темноты:

— Стой!

— «Панорама», свои, свои, — весело и торопливо сказал Скляренко. — Здорово! Кто теперь за командира у вас?

— Ты, малыш, притопал?

— Та я ж, товарищ Белоцерковский.

— Ну, здоров. Зачем тебя принесло?

— Товарища лейтенанта привел командовать вами.

— Ступайте к сержанту Егорову. Он в самом «уголке».

Сержант Егоров находился в самой что ни есть угловой комнате. Как тут можно было жить-размещаться цивильным жителям, одному богу, вероятно, известно, однако для уличного боя комната эта была доброй находкой: окна, выходившие направо и налево, а одно, широкое, с балконом-фонарем, — на самую площадь, давали возможность и глядеть и отстреливаться тоже на все три стороны, без особых хлопот держать чуть ли не круговую оборону.

4

А ночь шла на убыль. На улице уже стало сереть, и в доме можно было хотя и с трудом разглядеть лица людей. Сержанту Егорову, скуластому, широкоплечему, по виду годов сорока человеку, и принадлежал тот дяконский бас, коим кто-то был добросердечно назван балдой.

Кто же? Лейтенант Ревуцкий пожал руку сержанту и, стоя рядом с ним в простенке меж окон, огляделся. Здесь, кроме него, Скляренко и сержанта Егорова, еще был всего лишь один, круглолицый, со смуглым, грибным румянцем на щеках, молодой и, видать, разбитной, веселый человек. Он сидел на полу возле откупоренного цинка, заряжал патронами круглые автоматные диски и, улыбаясь во весь большой рот, скалясь, смотрел на лейтенанта.

— Ну не балда ли ты, Авдеев? — спрашивал, тоже улыбаясь, сержант Егоров.

— А в чем дело? — спросил лейтенант.

— Спрашивает у меня, — охотно, с удовольствием принялся рассказывать сержант Егоров, — где, мол, трассирующие, а где простые лежат. Я говорю: ты читать умеешь? На ящиках написано. А он говорит: во-первых, темно и надписей не видать, а во-вторых... — Тут Егоров лишь махнул рукой. — Да пусть лучше он сам вам расскажет.

— А я, товарищ лейтенант, про одну старуху ему напомнил, — подхватил разговор Авдеев. — Ее поп так-то по написанному все учил обходиться. Ты, говорит, побольше евангелие читай, там про все печатно сказано. А бабка ему отвечает: я, батюшка, перестала верить написанному-то. Намедни шла, гляжу: на заборе слово из трех букв выведено, я заглянула за забор, а там только одни дрова лежат.

— Ну, не оболтус ли, а? — опять с удовольствием спросил Егоров. — После войны куда работать-то пойдешь?

— Я после войны, товарищ сержант, сразу женюсь. А какую вторую мирную работу подсматривать — потом разберемся.

— Вот и весь его разговор, вся его кульминация, — сказал Егоров не то с осуждением, не то одобряя этот беспечно-веселый нрав солдата.

Потом он рассказал лейтенанту о деле, что значит для уличного боя этот самый пятиэтажный «уголок» и что как бы там ни было, а они обязаны удержать его в своих руках до полного победного конца. Но об этом лейтенант знал еще от ротного командира. Он не знал лишь некоторых небольших подробностей, которых ротный не успел или не захотел сообщить и которые посоветовали уточнить на месте.

Эти небольшие подробности были вот каковы.

Командир здешнего взвода был убит в первый же день боев за город. После него взводом командовал старший сержант, пока его тоже не убило. Потом командиром был еще

сержант. Этого прошлой ночью, раненного, переправили в тыл, а потом целый день командовал тут Егоров.

Теперь у него принимал взвод лейтенант Василий Павлович Ревуцкий.

Но взвода-то, к сожалению, уже не было. От взвода оставалось всего лишь шестеро. Лейтенант был седьмым. И им семерым предстояло, чего бы то ни стоило, удержаться в этом разнесчастном «уголке».

— Вот такие дела, товарищ лейтенант, — без особой печали, однако, сказал сержант Егоров. — Подмоги нам ждать больше вроде бы неоткуда. Во всяком случае, на сегодняшний день. И патронов с гранатами нам успели поднести и сухого пайка, и вы к нам успели, а теперь все пути заказаны. Уже рассвело.

5

Действительно, пока они знакомились, наступил быстрый весенний рассвет. Темнота исчезла даже из углов комнаты, и в окна стало далеко и ясно все видать: дома, развалины, мостовую, костел, небо. Тихо и пустынно было вокруг, как в воскресный день.

— Пока не началось, пойдете, я вас с остальным гарнизоном познакомлю, — сказал Егоров. — Меня вы знаете, Авдеева тоже. Я коммунист, он беспартийный. — Егоров быстро прошел в соседнюю комнату. — Тут у нас (лейтенант, следуя его примеру, так же Быстро проскочил мимо выбитых окон), тут у нас, — повторил Егоров, поощрительно оглянувшись на офицера, — пулеметный расчет. Это будет комсомолец сержант Зайцев, командир пулемета, а это его помощник рядовой Жигунов.

— Здравствуйте, товарищи, — сказал Василий Павлович. — Я ваш новый командир. Фамилия моя Ревуцкий.

— Здравствуйте, товарищ лейтенант, — просто и приветливо ответил Зайцев, белобрысый, веснушчатый молодой человек, сидевший на корточках возле пулемета и протиравший его тряпкой. — Будем рады.

Жигунов, уже в годах, стоявший возле стены и, что-то жуя, следивший за улицей, перестал молотить челюстями и, склонив голову набок, изумленно приоткрыв рот, поглядел на лейтенанта, словно на невидаль.

— Патронов хватит? — спросил лейтенант.

— Четырнадцать лент полностью снаряжено, — ответил Зайцев.

— А воду для козуха где берете?

— А в подвале. Там полон бак. На целый полк хватит, не только что.

— Теперь пойдете дальше, — сказал Егоров и, выйдя в коридор, миновав несколько пустых, ободранных комнат, вышел на гулкую лестничную клетку, и они очутились в очень даже странно, нелепо после всего виденного здесь лейтенантом опрятной и чистенькой кухоньке. За дверцами буфета стояли стеклянные банки с соленьями и маринадами, гора тарелок, а на гвоздике висел чистенький передничек с крахмальными кружевными рюшками. Посреди кухни, по-барски в мягком кресле развалясь, однако с автоматом на коленях, дремал пожилой солдат в сдвинутой набок каске, расторопно вскочивший и вытянувшийся, как только Ревуцкий с Егоровым показались на лестничной площадке. Второй солдат, с окровавленным, заскорузлым бинтом на голове, в распахнутой шинели с поднятым воротником, бледный, видать, от потери крови, так же, как и Жигунов, стоял в простенке и боком, сторожко, по-птичьему глядел в окно. В опущенной руке его была противотанковая граната.

— Карнаухов, — сказал сержант, указав глазами на солдата с забинтованной головой и в распахнутой шинели. — Имеет два ордена Славы. Вчера ранен. Эвакуироваться отказался. Как, болит, товарищ Карнаухов? — заботливо и почтительно нахмурясь, спросил он у солдата.

— Терпимо, сержант, — равнодушно отозвался тот и вновь принялся глядеть в окно.

— А это, — кивнул Егоров в сторону старика, вытянувшегося словно по команде «смирно», — рядовой Белоцерковский. Еще в империалистическую с немцами дело имел. Бил, стало быть. А это, ребята, — обратился он к солдатам, — наш новый командир лейтенант Ревуцкий. — И улыбнулся лейтенанту, разведя руками. — Вот и весь наш гарнизон.

Когда вернулись в угловую комнату, Авдеев, аппетитно чавкая, ел хлеб с салом, а солдат-связной Скляренко, прибежавший сюда впереди лейтенанта, спал в углу, по-детски свернувшись калачиком.

— Спит, — тихо сказал Егоров. — Устал. — И обратился к командиру: — Давайте и мы поедим с вами, товарищ лейтенант, а то может так случиться, что и недосуг потом будет. Вон уж и солнце всходит.

Они тоже, сидя на полу, принялись есть хлеб с салом. Егоров рассказывал:

— Город этот большой, видать. Я так думаю. Потому что трамваи ходили. Чудные и красивые трамваи.

— Чем? — спросил лейтенант.

— А белые потому что. В белую краску, словно прогулочные яхты, покрашенные. И двери много шире наших. Вот как раз такой трамвай против костела стоит. Они оттуда вчера фаустпатронами стреляли, из трамвая, а нам их достать нечем. А ты поел и поглядывай, — обратился он к Авдееву.

— Поглядываю, — ответил тот.

— Ты не на меня поглядывай, а в окошко. — Егоров вновь по-отцовски, с доброй заботой поглядел на связного. — Застрял, малец.

--Как застрял? — спросил лейтенант.

— До вечера, — ответил Егоров. — Теперь от нас уж не выбраться. Ему бы затемно уходить надо было, а он распоряжения вашего ждал. Ну да ведь и к лучшему это. Нашего полку, как говорится, прибыло. Восьмым будет. Все нам сподручнее. А ты покормил его? — спросил он у Авдеева.

— Не то распоряжения ждать? — вопросом, благодушно ответил тот, заглядывая в окно и держа автомат наготове.

— Ну-ну, — отозвался Егоров.

Доест хлеб с салом они не успели.

6

Сперва о стену дома с треском, грохотом и вонючим дымом ударилась мина. Егоров, берясь за автомат и поднимаясь, сказал:

— Вот и началось представление. Теперь только гляди в оба.

Они стояли с Авдеевым, прижимаясь спинами к стенам и повернув головы к окнам, сторожко следили за тем, что происходит на площади и прилегающих к ней улицах. А мины тем временем стали рваться вокруг дома одна за другой. Вдруг голосисто, яростно заработал пулемет в соседней комнате, лейтенант бросился туда, крикнул: — Где? — но, еще не получив ответа, увидел немцев, пытавшихся перебежать площадь, и упавших на брусчатку посреди нее, и раком уползавших, а потом, вскочив, убегавших, петляя, обратно за трамвай, к костелу. На площади осталось лежать несколько неподвижных фигур в темно-зеленых мундирах. Пулемет умолк. Зайцев повернулся к лейтенанту, веснушчатое, с белесыми бровями лицо его мгновенно утратило всю сосредоточенность, какая владела им во время стрельбы, он улыбнулся и сказал:

— Во — и боле ничего! Вылазка врага отбита, противник в панике отступил, неся большие потери в живой силе и технике.

Эта фраза удивила лейтенанта Ревуцкого своей ироничностью. «Кто он такой? — подумал Василий Павлович, — Из студентов, из горожан?» Он уже намеревался расспросить сержанта о его довоенной, гражданской жизни, как в соседней комнате застрочили

автоматы, и лейтенант опрометью кинулся туда. Стреляли и Егоров, и Авдеев, и мальчик Складенко, стоя возле окон. Теперь, уже не спрашивая, лейтенант увидел из-за спины Егорова бежавших через площадь немцев. Но и здесь они были вынуждены залечь на брусчатке мостовой, хотя обратно долго не уползали, а затеяли перестрелку, довольно метко попадая в окна второго этажа. Однако люди, отстреливающиеся из этих окон, давно приунылись к такой манере войны и, прячась в простенках, успевали короткими очередями держать немцев на расстоянии и не подпускать к дому. Эта перестрелка, то затихая, то ожесточаясь, длилась долго. Лишь когда солнце уже всю стало светить вдоль улицы, здесь наконец все утомилось. Немцы, зря расстреляв патроны, ретировались, а гарнизон «уголка» перевел дух.

Минуты две спустя тишину нарушил одинокий винтовочный выстрел. Вслед за ним донесся голос Зайцева:

— Молодец, святой отец! Недолго рыпалась старушка в поповских опытных руках.

— Уложил, что ли? — крикнул Егоров.

— Так точно. Наповал.

— У нас Жигунов, кроме винтовки, никакого оружия не признает, — стал объяснять лейтенанту Егоров. — Он охотник с Алтая, белок в глаз бьет, старовер или сектант какой, точно сказать не могу, но Зайцев зовет его за это святым отцом. Ирония, насмешка вроде бы, но он нет, ничего, не обижается. Душа в душу живут, водой не разольешь. А Зайцева я люблю, — признался он. — Я всех, кто ни в каких переделках не унывает, люблю. Добрые, сердечные люди всегда заряжены бодростью и весельем. Глядишь, иного судьба и так гнет и так ломает, а он все равно улыбается, песни поет. Сильный, стало быть, человек, красивый. Хотя бывает, конечно, кое-что и не так. — Он помолчал, подумал. — Скучные бывают люди, хотя и правильно все у них, и герои они вроде бы по заслуге... Да вот хотя бы взять нашего Карнаухова. Вы ведь видали его?

Лейтенант живо представил себе солдата в распахнутой шинели, с забинтованной окровавленной марлей головой, как он небрежно, сердито ответил на заботливый, ласковый вопрос Егорова, и, представив все это и еще бледное лицо его, лейтенант почувствовал, как в нем поднимаются неприязнь и отчуждение к этому солдату.

7

Тишину вновь нарушили поспешные, суетливые разрывы мин. Мины часто и густо рвались на мостовой и тротуаре возле дома, стукались, взрываясь, о его стены, не причиняя, однако, гарнизону «уголка» особого беспокойства. Осколки пролетали мимо окон, иные с визгом, иные фырча, словно примус. Опять во всех комнатах кисло запахло толом и пороховой гарью.

Потом немцы предприняли новую попытку прорваться от костела к «уголку» и по правую его сторону, где их дальше середины Площади не пустили автоматчики, и по левую сторону, где Зайцев мастерски ошпарил их потоком горячих пулеметных пуль. Отстрелявшись, он сказал:

— Графиня, вы не за то схватились, вскричал граф. Потом лейтенант услышал, как он спросил у своего напарника, охотника Жигунова:

— Молился ли ты нынче, Дездемон, а?

— Молился, молился, — благодушно отвечивал Жигунов.

В этот раз по немцам палил из автомата сам лейтенант. Когда возобновился минометный обстрел, он приготовился было отдавать команды, но, как и в первый раз, никаких команд его не потребовалось. Все опять происходило само по себе, как по маслу, без его командирского вмешательства. Каждый, словно отрешившись, знал свое место, свои обязанности, даже связной Складенко, по недоразумению застрявший здесь, и каждый исполнял эти обязанности добросовестно, исправно и без суеты. Как раз когда надо, застрочили из автоматов Егоров с Авдеевым, к ним присоединился Складенко, несколько

раз во время стрельбы досадливо поправлявший сползавшую на лоб каску, подоспел на подмогу и сам лейтенант, пристроившись по правую руку от Авдеева. Чуть позднее, но опять же как раз вовремя, ударил и зайцевский работяга «максим». Слышны были выстрелы и из кухоньки, где хозяйничали Карнаухов с Белоцерковским.

И все-таки совсем не так представлял свое участие в боевых операциях Василий Павлович Ревуцкий. Совсем не этому учили его. Если действовать по правилам военной науки, соответственно уставам и наставлениям, то он по прибытии в подразделение, тщательно ознакомившись с личным составом и обстановкой, должен был прежде всего всё взять в свои руки, правильно расставить и распределить силы, принять решение, поставить перед каждым бойцом его четкую задачу, а потом руководить боем, подавая те или иные необходимые команды и сигналы.

Все это было теоретически. На практике получалось нечто странное и нелепое. Началось с батальона. Кажется, надо ли, можно ли еще четче и красивее, чем он сделал это в подвале комбата, доложить о своем прибытии, но комбат даже изумился такому его рапорту, а когда Василий Павлович попробовал доложить о своем явлении ротному, немцы чуть не убили его, спасибо ротный вовремя одернул и посадил на землю. Теперь здесь. Поскольку принимать здесь в общем нечего, то, стало быть, нечего и брать в свои руки, а остаток гарнизона обязанности знал и исполнял настолько четко и безупречно, своевременно, не дожидаясь его команд и не нуждаясь в них, что ему стало даже неловко, стеснительно от одной лишь мысли, что он здесь не очень и нужен и его присутствие здесь в облике офицера вовсе не обязательно.

И в то же время он прекрасно понимал и чувствовал свое офицерское, кодландирское назначение. Это сказывалось и в вежливом, предупредительном и исполнительном (хотя эта исполнительность ни в чем пока еще и не проявилась) отношении к нему сержантов и солдат и в той ответственности за «уголок», который никоим образом и никогда нельзя было сдать немцам. И это назначение было весомее и грандиознее всего, и эту значительность его понимал не только сам Ревуцкий, но и каждый из подчиненных теперь ему людей, и стоило офицеру сейчас вдруг распорядиться, приказать что-либо кому угодно из них, как приказ его был бы немедленно принят к исполнению и исполнен. Но что бы ему такое сделать, чтобы убедительно доказать, подтвердить хотя бы лишь себе правоту и достоверность всего этого своего ощущения, своих мятущихся нестройных умозаключений? Разве, быть может, вызвать сюда Белоцерковского, а на его место отправить Авдеева? Но какой в этом смысл? Логично ли, закономерно ли, справедливо ли это? Ведь с таким же успехом он сам мог бы пойти в кухоньку, отослать оттуда Белоцерковского и остаться там с Карнауховым. А почему надо отсылать именно Белоцерковского, а не Карнаухова? Но ведь надо же, черт возьми, командовать, руководить боем, солдатами, проявлять свою волю, знание, умение!..

8

— Глядите, товарищ лейтенант, танк, — прервал его тягостные размышления сержант Егоров.

Лейтенант взгляделся в вылетевшую из-за поворота стальную громадину. Сказал:

— Это самоходка, сержант.

— Еще чище. Вот она сейчас даст нам с вами хорошую взбучку. Где это они раздобыли ее, самоходку эту? Трое суток, с самого первого дня, не было видно ни танков тут, ни орудий ихних самоходных.

Лейтенант Ревуцкий глядел в окно. По площади, чуть покачивая хоботом орудия, темным, зловещим зрачком его, уже нацеленным, как показалось в эту минуту лейтенанту, тютельница в тютельница на то самое окно, возле которого сейчас стоял он, лейтенант Василий Павлович Ревуцкий, нацелясь в Ревуцкого черным зрачком орудия, с ревом неслась самоходка. Но тут же Ревуцкий увидел и человека, отделившегося, оттолкнувшегося от их «уголка» и побежавшего навстречу танку, держа в опущенной руке суповую кастрюлю

противотанковой гранаты. Шинель его по-прежнему была распахнута, полы раздувало на бегу, воротник словно подпирал голову, закутанную грязным, окровавленным бинтом. Он бежал, чуть наклонясь вперед, как-то боком, отведя в сторону и назад руку с гранатой.

— Ну вот дело какое... — растерянно сказал сержант Егоров.

— У него немцы сестренку изнасиловали и повесили, — сказал в задумчивости Авдеев. — Мстит.

— Откуда знаешь? — строго спросил Егоров.

— Письмо третьево дни, как раз перед наступлением, получил, убивался очень, а потом заскорюз от злости. Первое письмо за всю войну после оккупации. Он сейчас им даст прикурить, он сквитается, он такой...

Карнаухова увидели не только из «уголка». Советского солдата, выбежавшего в развеивающейся шинели на пустынную площадь, увидели и немцы, засеившие повсюду вокруг, где только можно. Поднялась стрельба. Пули и справа и слева сыпались возле Карнаухова на мостовую, но не доставали его, и он все бежал навстречу танку и вдруг, падая вперед, взмахнул суповой кастрюлей и кинул, видно, что было сил, и та, описав дугу, ударилась в бок самоходки, тяжело ухнула с дымом и вспышкой, и самоходка, круто рванувшись в сторону, размотав правый трак, замерла, встав боком к «уголку». Карнаухов лежал на скользких торцовых плитах мостовой, раскинув руки, видный со всех сторон. В «уголке» было тихо. Потом раздался голос лейтенанта:

— Авдеев, вынести Карнаухова из-под огня.

— Есть вынести, — отозвался Авдеев, спешно приладил поплотнее каску на голове и, прогремев каблуками по лестнице, выскочил на площадь.

— Сержант Зайцев, — вновь прозвучал голос лейтенанта, — прикрыть пулеметным огнем действия Авдеева.

— Есть прикрыть, — отозвался из соседней комнаты Зайцев.

Как только Авдеев выбежал на площадь, стрельба немцев разом смолкла. Авдеев бежал к Карнаухову петляя, скачками, а навстречу ему, от костела, из-за трамвая выскочило сразу даже пять немцев.

Но Авдеев был расторопнее, добежал, упал, подполз под Карнаухова, взвалил его на себя, накинул, его безжизненно вялые руки на плечи себе и, вскочив, побежал с ним обратно, упал на колени, поднялся, дальше побежал, только уже не так резво, а шатаясь, и было видно, что он вот-вот опять упадет и немцы, уже миновавшие самоходку, нагонят его, возьмут вместе с Карнауховым в плен.

И тут показал свой «класс» сержант Зайцев, ударив из «максима» по-над головами приятелей, но по немецким животам, И посекло тех пять немцев зайцевскими пулями горячими, повалило в разных неестественных позах возле самоходки.

— Меткими пулеметными очередями отважный сержант Зайцев пригвоздил фашистских выродков к мостовой, — сказал Зайцев, кончив стрелять, сняв пальцы с гашетки. — Капут, матка, сальо, курка, яйка.

После этих его слов бухнуло два винтовочных выстрела. Зайцев сказал:

— Православный христианин Дездемон Жигунов еще более меткими одиночными залпами добил пытавшуюся распозлзиться фашистскую нечисть.

9

А тем временем Авдеев добежал, шатаясь, до подъезда и рухнул, с Карнауховым на спине, в дверной проем. Белоцерковский втащил их в дом, ему на помощь Кубарем скатился со второго этажа Складенко, посланный лейтенантом, и они принялись ощупывать и приводить в чувство отважных смельчаков.

Но не все им удалось, - Карнаухов приказал долго жить, а Авдеев, напротив того, был цел, хотя и поврежден немного: пули в двух местах проббили его правую руку, и, когда лейтенант спустился к ним, Авдеев с возбужденным лицом, широко раскрытыми, огненно

горящими от пережитого только что страха глазами сидел на полу без шинели, с разорванными рукавами гимнастерки и нательной рубахи, а Скляренко неумело, або как, но зато поспешно мотал ему на руку один бинт за другим.

Белоцерковский, опустив руки по швам, стоял на коленях и горестно, с рассеянной улыбкой глядел на совсем уж теперь бледное лицо Карнаухова с полуприкрытыми глазами.

— Белоцерковский, идите на место, — сухо и требовательно сказал лейтенант. — Вы своевольно бросили пост.

— Слушаюсь, — испуганно вскочив и щелкнув каблуками, сказал Белоцерковский. — Разрешите выполнять?

— Выполняйте.

И старый солдат, как мальчишка, побежал вверх по лестнице.

— Ну что, Авдеев? — спросил лейтенант, наклоняясь к солдату и осторожно трогая кончиками пальцев его здоровое плечо.

Авдеев все так же возбужденно, должно быть, еще продолжая находиться там, за дверью, на площади, широко раскрытыми блестящими глазами поглядел на лейтенанта и ответил очень громко:

— Ваше приказание выполнено в самом лучшем виде!

Да, лейтенант уже приказывал, и люди, как это и положено в армии, безоговорочно выполняли его распоряжения. И все случилось просто и само собой. Кажется, совсем недавно Василий Павлович никак не мог войти в свою командирскую роль и играть ее, а события вдруг сложились так, что мгновенно возникла необходимость в его команде, он подал ее без промедления, и все его огорчения, тревоги, сомнения рухнули. Все сразу стало ясно и понятно. У него даже не было мгновений на раздумье, стоило или не стоило посылать на площадь Авдеева, он лишь потом подумал, что не слишком ли жестоко обошелся со стариком Белоцерковским, отправляя его прочь от убитого. В те мгновения одно лишь он знал твердо: так сейчас надо делать, необходимо, обязательно, непременно.

Скляренко намотал на авдеевскую руку целых три бинта, помог ему встать на ноги, потом помог лейтенанту отнести Карнаухова в глубь дома, уложить, скрестив руки на груди, возле стены и укрыть плащ-палаткой. После этого все трое поднялись на второй этаж.

10

На площади и вокруг дома было тихо. Только вдалеке, на соседних улицах, слышалась то затихавшая, то разгоравшаяся вновь стрельба. Егоров, стоявший в простенке, был теперь без шинели: полуденное весеннее солнце насквозь просвечивало весь дом и нагревало его. Лейтенант, тоже скинув шинель и аккуратно сложив ее, как его научили старшины в военном училище, встал в соседнем простенке, спросил, кивнув в сторону площади:

— Как там?

— Молчат, товарищ лейтенант. Не нравится мне что-то, как они молчат.

— Не удалось Карнаухова спасти.

— Это я знал, еще когда вы Авдеева посылали. — И помолчав, как бы в оправдание лейтенанту, Егоров добавил: — Но вынести его оттуда все равно надо было обязательно. Любой ценой. Чтоб не дать на поругание. — И, еще помолчав, теперь уж, должно быть, в оправдание самому себе, продолжал: — Сложен и не сразу понятен человек. Ты думаешь о нем так, и вроде бы все у тебя складывается самым лучшим образом, а он возьмет да и обернется к тебе совсем другой стороной, и увидишь ты совсем другого в нем человека. Всегда говорю себе: не делай преждевременных выводов, смотри, ошибешься впопыхах, а делаю и ошибаюсь. Обидно. Вот, выходит, опять осталось нас шестеро. Авдеев теперь не в счет. Стрелять не можешь, Авдеев? — спросил он у солдата.

— Не могу, сержант, — отозвался тот. Он уже успел успокоиться, пришел в себя, возбуждение, ужас и геройство потухли в его принявших прежние, нормальные размеры глазах. — Левой рукой кидаться буду гранатами, — пообещал он.

— Разве что, — согласился сержант Егоров. — Ах, не нравится мне это ихнее молчание. Жди беды. Смотри, Авдеев, внимательней.

— Нам приказано удержать «уголок», — раздумчиво проговорил лейтенант. — Хоть вшестером, хоть вдвоем.

— Если надо, как же не удержим, товарищ лейтенант, — убежденно сказал Егоров. — Непременно удержим. Будем живы — не помрем. Только что ж они тут примолкли у нас?

Но беспокоился он напрасно. Немцы следили за «уголком» и стреляли по окнам из пулеметов и винтовок то с одной, то с другой стороны площади. Крупнокалиберный пулемет бил откуда-то из-за трамвая или из-под него. Бил точно и длинными очередями. Выпустит очередь и молчит минут пять. И вновь в окошко летит ошалело целая стая пуль. И это наконец успокоило сержанта. А когда уже за полдень немцы в который раз безуспешно попробовали достать гарнизон «уголка» минами, Егоров и вовсе пришел в себя и повеселел.

Но потом пошло хуже. Целая полоса непрерывных невезений. На гарнизон, возглавляемый лейтенантом Ревуцким Василием Павловичем, обрушился шквал несчастий. Погиб сержант Зайцев. Немцы в это время пытались мелкими группами подобраться к «уголку», и Зайцев, выкатив пулемет на подоконник, бил по ним отчаянно и весело.

— И врага ненавистного крепко бьет паренек Зайцев, — продекламировал он, стреляя, и тут же рухнул на пол. Над ним склонился Жигунов, он поглядел на солдата мутным, уже неживым почти взглядом и прошептал, усмехнувшись:

— Ба-бах, и Зайцева не стало. Помолись за меня, Дездемон. — И с этими словами умолк навсегда.

А немцы начали наседать на «уголок» все чаще и яростнее. Они уже дважды подбирались под самые стены, но вовсе поредевший к тому времени гарнизон лейтенанта Ревуцкого не дрогнул, отбил гранатами.

— Убьют ведь, заразы, мать их за ногу! — кричал, кидая гранаты и морщась от боли, Авдеев. — И жениться не успеешь, бабу попробовать как следует из-за них, мать-перемать...

Потом ранило Белоцерковского, и, когда лейтенант бинтовал его заросшую седым ежиком голову, старик испуганно стоял перед офицером, вытянувшись во фронт. Он же доложил потом, что своими глазами видел, как Vi3 роты в течение дня к «уголку» трижды пытались прорваться связные. Один был насмерть подстрелен немцами шагах в десяти от спасительной подвальной двери, а двое уползли обратно ни с чем. Из этого сообщения лейтенант сделал вывод, что в роте, стало быть, помнили о его гарнизоне, следили за «уголком» и что-то хотели приказать ему, передать какое-то очень важное распоряжение, иначе зачем же было посылать связных в такой трудный, опасный маршрут по улицам осажденного, с безумством отбивающегося города? Но что несли связные? Что они должны были письменно ли, устно ли передать лейтенанту Ревуцкому? Все это для личного состава гарнизона оставалось загадочной тайной. И поскольку действовал последний приказ командования, который еще ночью был дан ротным командиром Ревуцкому, о том, что он во что бы то ни стало обязан удержать «уголок» и не допустить до него немцев, — этот последний приказ и продолжал выполняться гарнизоном неукоснительно. Да и то сказать, еще неизвестно, что должны были передать связные. Возможно, конечно, отходить, а возможно, совсем наоборот, — держаться до последнего. И это, второе, пожалуй, было вернее, решил лейтенант, поскольку отходить засветло все равно не имело смысла: убьют как миленьких, и до своих добежать не успеешь. Сержант Егоров поддержал такое мнение начальника гарнизона. Вообще лейтенант за день очень сдружился с этим рассудительным, уравновешенным человеком. А когда узнал вдобавок ко всему, что Егоров до войны был сельским учителем, симпатии Василия Павловича к Егорову усилились и окрепли до такой степени, что ему даже стало как-то неловко командовать таким уважаемым, почтенным

человеком. А Егоров, как бы понимая эту стеснительность юного и совершенно еще неопытного офицера, тактично, по-учительски, по-отцовски, по-фронтальному помогал ему, как мог, не терять командирского достоинства.

11

К концу дня их в строю осталось всего лишь трое: убило Жигунова. Тоже, как и Зайцева, враз и наповал, когда он отстреливался. Но к концу этого беспокойного дня кончились настырные, сумасшедшие немецкие атаки. На пустынной площади, на каменных плитах ее, неприкаянно лежали убитые да как изба, широко, приземисто стояла самоходка. Что стало с экипажем, никому из личного состава гарнизона Ревуцкого не было известно.

Наступал тихий мартовский вечер, солнце скатилось за крыши разрушенных, кое-где еще дымящихся домов, на землю стали спускаться, густеть на ней пахнущие дымом пожарищ и разрывов сумерки. А перестрелка продолжалась и в дальних л в ближних концах города, и где-то вдалеке одно время был слышен тревожный и густой гул танковых моторов. Чьи танки ввязались там в бой, наши ли, немецкие ли, куда они прошли, что с ними стало, — опять-таки никто в гарнизоне этого не знал.

Прислушались, погадали, прикинули и, не придя ни к какому выводу, решили, пока суд да дело, перекусить.

Белоцерковский расторопно вскрыл две банки консервов, нарезал хлеба и протянул свою дюралевую вилку-ложку офицеру:

— Ешьте, товарищ лейтенант, подправляйтесь. Лейтенант высоко оценил этот щедрый, сердечный жест старого солдата, наложил на хлебную горбушку горку мяса и вернул вилку-ложку ее владельцу.

— Спасибо.

— Не на чем, — ответил Белоцерковский.

Так они, переговариваясь о том о сем, поглядывая в окна направо-налево, подкрепились и вроде бы даже отдохнули, посвежели, воспрянули духом.

— Ну, нас они покалечили, конечно, кой-кого, и на тот свет хороших людей отправили, которые на земле нужны были позарез, — проговорил Авдеев, привалясь к простенку плечом и глядя в окно на площадь. — Но ведь мы их, гадов, наверно, вдсятеро больше уложили. И вот мне интересно знать, есть ли среди тех, что лежат вон на площади, такие же достойные, как, скажем, Зайцев или Карнаухов, человеки, или все они гады, пробы им ставить негде, туда им всем дорога и -жалеть их не стоит?

— Да, наверно, есть, — сказал сержант Егоров.

— Ну? — удивился Авдеев. — И дети у которых остались сиротами и жены молодые, красивые?

— Нету, нету, — поспешно заговорил Белоцерковский, вскочив на ноги и одергивая гимнастерку, расправляя складки под ремнем. — Я так понимаю, товарищ лейтенант, что все они одинаковые враги наши и их надобно всех нещадно уничтожать, как все равно бешеных собак. Они нас хотели было уничтожить, теперь надо, чтобы мы их всех под корень, начисто. Всех как есть. За что они Жигунова убили? Что он им такого-сякого сделал? У него трое ребятишек осталось, опять же сестренка Карнаухова, изнасилованная и повешенная? Сколько людей наших от дела оторвали, рук-ног, а то и жизнью лишили, сказать страшно. Какое у них право на все на это? Нету такого права. Стало быть, всех их вон с лица земли, чтобы и духу ихнего поганого не было.

— Вот как, — сказал сержант Егоров, выслушав то-1 ропливую, сбивчивую речь Белоцерковского и поглядев при этом на лейтенанта.

Василий Павлович Ревуцкий понял этот взгляд сержанта как приглашение вступить в завязавшуюся меж бойцами гарнизона беседу.

— Сержант Егоров прав, Белоцерковский. Вы тоже, конечно, правы, но не так, как сержант. Там, — он кивнул в сторону площади, — лежат убитые нами немцы, и среди них есть или могли быть хорошие люди. И их тоже не стало. Вы меня понимаете? Запомните,

Белоцерковский, наша война не просто русских с немцами, а советских людей, социалистических людей с фашистами. Это война классовая, интернациональная. Но среди лежащих на площади найдутся и такие, которых затащили в войну с нами обманом, угрозами, и вот они теперь лежат здесь. Разве их не жалко, если с такой точки зрения посмотреть на дело? Жили бы, а теперь? Вы понимаете мою мысль, Белоцерковский? Фашистских бандитов не жалко, правильно сказал Авдеев, туда им дорога, но этих жалко, а убивать их приходится, потому что они идут против нас с оружием.

— Подняли бы руки, — подал робкий голос Скляренко.

— Совершенно верно, — воодушевленно подхватил Василий Павлович. — Подняли бы руки и остались бы живы.

Он никогда еще не говорил так долго и с таким воодушевлением и убежденностью. Он даже не подозревал, что может, умеет произносить целые речи, хоть на трибуну взбирайся, и не думал сейчас, правильно или неправильно говорит, чувствуя, ощущая всем существом своим, что только так он сам понимает этот вопрос и только так надо сейчас говорить. Произнося перед солдатами свою взволнованную речь, он все это мгновенно почувствовал, пережил, и еще больше укрепился в правоте своих слов, и даже понравился самому себе.

Он не знал, конечно, не догадывался, что понравился и бывшему учителю сержанту Егорову, который, внимательно слушая его, с удовольствием отметил: «Будешь, скоро будешь, милый мальчик, настоящим коммунистом. Голова твоя светла, помыслы, убеждения твои честны и правдивы». Он знал уже, что Василий Павлович Ревуцкий пока еще только комсомолец, еще только на подходе к партии, к рядам большевиков, к посвящению в коммунисты.

12

Меж тем на улице совсем уже смерклося и легкий морозец снова стал прихватывать ледком, подсушивать лужицы на площади и тротуарах. Скоро вызвездило высокое небо. Начали взлетать над крышами, над обглоданными огнем остовами домов осветительные ракеты, а кто их пускал, где находились наши, где немцы, установить не было никакой возможности.

— Авдеев и Белоцерковский, — сказал лейтенант. — Отправляйтесь в тыл.

— Мы, товарищ лейтенант, тут останемся, — сказал Авдеев.

— Вы свое исполнили, — возразил лейтенант. — Вам обоим нужна срочная перевязка, госпиталь. Идите без разговоров.

Тут раздался голос Белоцерковского:

— Разрешите доложить, товарищ лейтенант, мы все равно не знаем, куда идти, где немцы, стало быть, где наши. Лучше здесь остаться.

— Рядовой Скляренко, — позвал лейтенант.

— Слушаю.

— Вы знаете дорогу на КП роты?

— Так точно.

— Ведите раненых.

— Но...

— Выполняйте приказание.

— Слушаюсь.

— Командиру роты доложите: мы остались вдвоем с сержантом, просим подкрепления. Понятно?

— Понятно, товарищ лейтенант. Только как же вы вдвоем?..

— Выполняйте приказание, Скляренко, да поживее поворачивайтесь.

Лейтенант командовал гарнизоном. Он отдавал распоряжения, которые подчиненным ему людям надлежало исполнить точно и неукоснительно. И, распорядившись, проводив

Скляренко, Авдеева и Белоцерковского, он опять, как и днем, оставшись в «уголке» лишь вдвоем с сержантом Егоровым, не стал рассуждать, правильно или неправильно поступил, а знал наверняка, убежденно, что только так должен был решить сию минуту, отправив раненых, запросив у командования подкрепление и установив тем самым связь с ротой.

Ночь полностью вступила в свои права. В окна, когда не светили ракеты, ни зги не было видно, только звезды на небе да трассирующие пули, пролетавшие в разных направлениях через площадь и прошивавшие иной раз «уголок» из окна в окно, насквозь.

13

Сколько времени прошло с тех пор, как Скляренко увел за собой раненых солдат? Двадцать, тридцать минут? Час?

— Продержимся, ничего, — подбадривая себя, сказал лейтенант.

— Будем живы — не помрем, товарищ лейтенант, — отозвался из соседней комнаты Егоров.

И опять они умолкли, наблюдая за улицей и площадью. Потом сержант сказал, появляясь на пороге той комнаты, где был Василий Павлович.

— Я, товарищ лейтенант, с вашего позволения схожу в подвал за водой, пока тихо. Надо долить в кофух, освежить и пополнить.

— Да, да, идите, идите, — поспешно сказал лейтенант. — Я послежу и там и тут.

14

Он очень устал, молоденький лейтенант Ревуцкий, за этот длительный, переполненный смертельными испытаниями, неистовый день. Оставшись один, прислонясь спиной к простенку, он всего лишь, кажется, на мгновение закрыл глаза, как его' вдруг, словно током, пронзило: там, внизу, на первом этаже, между ним и сержантом Егоровым, слышались немецкие голоса.

Он не знал немецкого языка, не знал, о чем там идет разговор, но понял, что немцев несколько.

Если бы он знал немецкий язык, то, прислушавшись к разговору внизу, повел бы себя, наверное, совсем не так, как поступил спросонок, услышав приближающиеся по лестнице шаги. Подчиняясь мгновенно охватившему его безрассудному чувству, он выпрыгнул в окно, забыв, что головой отвечает за «уголок».

Ах, если бы он понимал по-немецки! Ведь вот о чем разговаривали немцы:

— Я говорил, что они сами уйдут отсюда. Они не дураки, чтобы в последние дни войны держаться за этот паршизый дом.

— И тем не менее нам три дня не удавалось вышвырнуть их отсюда.

— Тебе придется писать Марте о том, как дурачки здесь погиб ее Август? Ведь ты был его приятелем.

— Погибнуть сейчас... Не хотел бы я разделить участь Августа.

— А что бы ты хотел?

— Остаться в живых, вот что... А ты бы?..

— Я верен идеалам фюрера.

— Заткнись со своим бредом, дерьмо! Услышат русские, они тебе покажут эти идеалы.

— Не рассуждать. Лучше иди и посмотри, что там наверху делается.

— Пришли бы сейчас сюда русские, так я бы без рассуждений поднял руки.

— И был бы избавлен от необходимости писать жене Августа.

— Да. И от его участи.

— Тсс... Что это там такое шлепнулось? (Это выпрыгнул в окно лейтенант.)

— Нечему шлепаться. Вот тут лежит убитый. Неужели это он и держал нас?

— А ты лучше пойдй посчитай, сколько наших ребят лежит на площади...

15

Выпрыгнув и больно ушибив колено, лейтенант быстро вскочил на ноги и скорее прижался спиной к стене. Сердце его часто билось. В голове шумело. «Зачем? — мгновенно и отрезвляюще пронеслось в голове среди шума. — Где сержант? Что с ним? — Он вспомнил про Егорова. И опять: — Почему я это сделал? У меня автомат, гранаты...»

Его охватил стыд за свой, казалось, непоправимый поступок. И такое омерзение к самому себе возникло в нем, что он заплакал с отчаяния и горечи. Слезы текли по его щекам, а в шумной голове суматошно проносилось одно и то же, одно и то же: «Как же быть? Что мне делать? Сержант Егоров... Где сержант Егоров? Ведь если бы он не спустился в подвал, мне никогда не пришлось бы в голову прыгать в окошко. Как мне быть?»

Вдруг он насторожился. За углом послышался шепот. Говорили теперь по-русски.

— погоди, дай отдышаться.

— Отдышись.

— В какую теперь сторону подадимся? Где наши?

— А я откуда знаю?

— Фу, черт. Давай пересидим здесь до утра.

— А ты наверняка знаешь, что в этом доме никого нет? А кто сюда утром придет, наши или немцы?

Выслушав это, Василий Павлович боком, боком, вжимаясь спиной, затылком в стену, шаря по ней растопыренными руками, продвинулся к углу и зашептал:

— ". Слушать меня внимательно. Вы кто?

Ответа не последовало. Там, за трамваем, за костелом взлетела ракета, забормотал пулемет.

— Отвечать немедленно, — тоном приказа зашептал Василий Павлович. — Иначе открываю огонь.

— А ты кто? — отозвались осторожно за углом.

— Начальник здешнего гарнизона лейтенант Ревуцкий. А вы?

— Танкисты. Танк подбит. Пробираемся к своим.

— Сколько вас?

— Двое.

— Выходите ко мне по одному.

Из-за угла, прижимаясь к стене, скользнули две фигуры в комбинезонах.

— Тихо. Здесь немцы. Какое при вас оружие?

— Пистолеты.

— Вашими пистолетами здесь только сахар колоть. Вот вам по гранате. Сейчас будем брать этот дом. Задача ваша: когда я закричу «ура!» и начну стрелять из автомата, вам надо бросить в окна гранаты и тоже кричать «ура!» и стрелять из пистолетов. Я врываюсь в дом, вы за мной следом. Ясно?

Лейтенант, опять уже знающий, что делает именно то, что надо делать ему сейчас, сунул гранаты в протянутые руки танкистов и пробежал, согнувшись, к подъезду. Он вскинул автомат и, строча из него прямо перед собой, истошно закричав и услышав, как рванули в комнатах гранаты, ворвался в дом.

16

Вдоль стены с поднятыми руками, побросав оружие, стояло четверо немцев. Разъяренный лейтенант увидел их при свете мерцавшей за окнами ракеты, мгновенно сосчитал и перестал стрелять. Потом, пока не погас бледный свет в доме, он увидел пятого, скорчившегося на полу, обнявшего руками живот, увидел вбежавших с пистолетами в руках

и вставших рядом с ним танкистов и сержанта Егорова, вылезшего из подвала с ведром воды.

— Сержант Егоров, — сказал лейтенант Ревуцкий. — Обыщите пленных. Заберите их наверх.

— Шнель, шнель, — скомандовал сержант.

Вслед за немцами и сержантом ушли наверх танкисты. Замыкавшим был лейтенант. Но не успел он ступить на лестничную площадку, как сзади раздался голос:

— Товарищ лейтенант, товарищ лейтенант...

— Кто? — обернувшись и вскинув автомат, зло и бесстрашно крикнул Василий Павлович.

— То я, Скляренко. Чи вы не узнали меня?

— Ты? — радостно вскричал лейтенант.

— Та я ж, — отвечал солдат, выбираясь из подвала. — Людей до вас привел.

17

Не прошло десяти минут, а в «уголке» все изменилось. Дом уже был полон выбравшимися вслед за неутомимым Скляренко людьми. Уже попискивала рация, с кем-то переговаривался телефонист и кто-то другой, не Ревуцкий, свежим, бодрым голосом отдавал распоряжения.

Потом этот другой подошел к Ревуцкому.

— Старший лейтенант Осипов. Трудно пришлось?

— Ничего. Живы будем — не помрем, — сдержанно ответил Василий Павлович.

— Считайте, что объект я у вас принял. А это кто?

— Танкисты из подбитого танка.

— А это?

— Пленные.

— И пленные?

— А вы как думали?

— Ну-ну, — восхищенно сказал старший лейтенант. — Но они же мне здесь обуза.

— А вы их в подвал посадите. У вас народу вон сколько. Часового — и в подвал.

— Придется. Уходишь?

— Что же мне теперь? Мы свое сделали.

— Валяй отдыхай. — И они пожали друг другу руки.

18

Скоро, миновав подвал и несколько закоулков, три пехотинца и два танкиста выбрались в безопасное место и присели передохнуть. Начинало светать.

— Ну, силен ты, лейтенант, командовать, — сказал один из танкистов, закуривая.

Василий Павлович лишь пожал плечами в ответ.

— Я бы тебе за такую отчаянную храбрость орден Отечественной войны первой степени, не меньше, выложил. Молодец дома брать.

— Наградят, — сказал Егоров.

— А так некому награждать! — ввязался в разговор всезнающий Скляренко. — Командира роты нема, и комбата тоже.

— Почему? — спросил лейтенант.

— Товарища комроты увезли с воспалением легких, а комбата убило.

Василий Павлович живо представил себе хриплый, надсадный голос ротного, усталое, озабоченное лицо комбата, как он пошутил, сказав про Василия Павловича: «Ах, какой отчаянный, brave офицер». Представил все это, и ему до боли стало жаль чего-то утерянного, навсегда утраченного им в этот день и в то же время радостно и счастливо

оттого, что остался жив-здоров и теперь вот вышел из боя и будет, наверное, несколько дней отдыхать.

— А нас сменила свежая бригада. Сейчас на последний штурм пойдут, — говорил Скляренко.

— Товарищ капитан, — сказал один танкист другому, — а ты бы реляцию на лейтенанта написал, раз такое дело, командующему бы подали.

— А что? — сказал тот, которого назвали капитаном. — Ты только напомни мне.

Василий Павлович в смущении покосился на него.

— Я одного не пойму, — сказал сержант Егоров. — Откуда у нас взялись пленные? Только, кажется, спустился в подвал, нашел воду, зачерпнул, как вдруг — стрельба. Выскакиваю, а в доме уже пленные стоят.

— Ладно, покурили — и подъем, — сказал лейтенант, оправясь от смущения. — Подъем — и в путь. Так, товарищ капитан? Вы уж меня извините, если что было не так с моей стороны. Служба.

— О чем разговор, лейтенант, — ответил танкист. — Порядочек, как в танковых войсках. Пошли.

И они, не торопясь, зашагали вдоль разрушенной и вовсе теперь посветлевшей утренней городской улицы, удивляясь, почему вдруг стало так тихо.

Немцы повсюду складывали оружие.

ПРОЗА

Людмила Уварова

НА ОДИН ДЕНЬ ПОЗДНЕЕ

РАССКАЗ

Все-таки удалось отыскать тихое место. Тихое, безлюдное — небольшой лесок, озеро, поросшее кувшинками, купаться в нем, разумеется, нельзя: весь берег, куда ни глянь, в безвестных лиловых, голубых, сиреневых цветах. Далеко на горизонте молочные, легкие облака.

— Остановимся здесь, — сказал он. — Хочешь?

— Пожалуй.

Она легла на землю, заложив руки за голову. Почему это так редко нисходит на человека такой вот всеобъемлющий покой, когда можно лежать, смотреть на небо и ни о чем не думать, решительно ни о чем, просто лежать, ощущая прохладную траву под головой, вдыхая ее свежий, незамутненный запах?

Он лег возле нее, серьезно вглядываясь в ее лицо, словно впервые увидел.

— У тебя глаза сейчас совершенно прозрачные.

— Знаю.

— Откуда знаешь? Ты же не видишь...

— Чувствую, что у меня глаза прозрачные, будто выцвели. Верно?

Он потерся щекой о ее щеку.

— Ты у меня чудак.

— Наверно!

— Не наверно, а наверняка. Самый обыкновенный, нормальный, ничем не выделяющийся чудак. Так сказать, соответствующий стандарту.

— Перестань, — сказала она. — Сколько можно ребячиться?

Она была старше его на несколько месяцев, и, должно быть, поэтому он казался ей иногда несмышленным, неразумным. И она постоянно поучала, одергивала его, а он нисколько не обижался.

Вообще-то все у них давным-давно было договорено и решено. Дело оставалось за небольшим — за местом под крышей. '

Он жил в общежитии, она вместе с родителями в одной комнате, пять в длину, три в ширину. И надеяться пока что было не на кого. А придумать что-либо, хоть голову сломай, казалось невозможным.

Зимой они бродили подолгу по улицам, заходили в кино, потом снова принимались бродить, с завистью поглядывая на освещенные окна, где было, наверно, тепло, уютно горели цветные абажуры, где на стенах мелькали тени людей, которые казались все, как один, необыкновенно счастливыми, преуспевающими.

Конечно, летом было куда легче. Летом он садился на свой старенький мотоцикл «Харлей-Давидсон», подаренный ему от широты душевной старшим братом, отмахавшим на этом мотоцикле за пятнадцать лет никак не менее двухсот с лишним тысяч километров; так вот, он садился на мотоцикл, а она позади — на багажник, обняв его обеими руками за талию, и они неслись по Ленинградскому шоссе, и дома мелькали друг за другом, надвигались и вновь отступали стремительные деревья, а они неслись себе, подпрыгивая и отворачивая лицо от мелких придорожных камешков, потом съезжали куда-нибудь по тропинке в лес.

Однажды она спросила его:

— Почему у нас так получается?

— Как?

— Вот так. Ведь нам нужно совсем немного, даже пять, даже четыре квадратных метра.

— Я же тебе все время говорю, — сказал он. — Чудак человек, почему не хочешь приходить к нам в общежитие? Хотя бы иногда...

— Не хочу, — ответила она. — И не уговаривай меня, ничего не выйдет!

Как-то она согласилась на его уговоры, пришла к нему в общежитие. Трое соседей его вдруг быстро вскочили, мгновенно испарились. И только один, толстый, неприветливый, которого все почему-то звали «Федя — убей медведя», как лежал на койке, так и не шевельнулся, откровенно, неприязненно глядя на нее. И она посидела немного, совсем немного, минут двадцать, не больше, потом быстро поднялась, убежала.

С тех пор, когда он звал ее прийти к нему в общежитие, ей каждый раз вспоминались наглые, припухшие глаза «Феди — убей медведя», и она упрямо отвечала на все уговоры:

— Не хочу! Ни за что!

А здесь было хорошо. И нигде ни одного человека. словно все кругом сговорились не мешать им.

— Молчи, — сказала она. — Закрой глаза, давай послушаем тишину.

Они долго лежали молча. Где-то совсем близко застрекотал кузнечик.

— Как думаешь, он заблудился? — спросила она шепотом.

— Не знаю, — также шепотом ответил он. — А почему ты шепчешь? Чего ты боишься?

— Спугнуть тишину.

— Я с тобой, — сказал он. — Ничего не бойся.

— Ты меня любишь?

— Ты же знаешь...

Потом они вместе насобирали сучьев, подложили снизу газету, и он разжег костер с одной спички.

— Отдохни, — сказала она. — А я пока что приготовлю еду.

— Вместе приготовим, — сказал он. — У нас равноправие, не забывай!

Они захватили с собой много всякой всячины: бидончик с квасом, огурцов, редиску, зеленый лук; она приготовила отличную окрошку, они выхлебали по две миски, заедая окрошку ржаным хлебом, пахнувшим медовой цветочной пылью. Он испек картошку, а она поджарила яичницу с салом на сковороде, черной от углей.

Потом они ели первую клубнику. Он брал ягоду, откусывал от каждой половинку, а вторую половинку давал ей. Она намазала лицо клубникой, клубничный сок засох на ее лице, он смеялся.

— Краснолицая сестра моя... Она сказала:

— Это витаминная маска. Для кожи нет ничего лучше.

В конце концов они решили искупаться. Плевать на все: на кувшинки и ряску, затянувшую поверхность озера. Стоячая вода, в сущности, тоже хорошая вещь в жару.

Он первым полез в воду, дошел до середины, обернулся к ней.

— Иди ко мне!

Она не умела плавать, он положил ее на свои руки, она била ногами по воде, глаза у нее были испуганные и веселые.

— Я не могу, — сказала она. — Просто не могу и ногой шевельнуть, если не чувствую дна...

— Подожди, — сказал он. — Вот когда поедем на Волгу, я тебя научу плавать как следует! Там есть где разгуляться, Волга — река широкая!

— Ив Угличе широкая?

— Вот такая!

Они вылезли на другом берегу. Там было так же пустынно, блаженный покой расстилался над плоским берегом, палило солнце, начисто согнав с неба все, какие были, облака.

— Теперь будем только сюда ездить, — сказала она. — Или на тот, или на этот берег...

— Нам остается август и, может быть, сентябрь, если будет погода. В июле махнем в твой Углич.

— Почему это в мой?

— Ты же первая сказала — в Углич, но я согласен, не думай...

Он постоянно уступал ей. Еще зимой они задумали поехать отдохнуть вместе, благо и отпуск у обоих совпадал — июль.

Сперва она хотела на юг, и он согласился. Потом передумала и весной вдруг сказала:

— Поедем на Волгу, в Углич. Я прочитала в путеводителе, Углич — это очень старинный город.

— Там убили царевича Димитрия.

— Мы не царевичи, — сказала она. — Нас не убьют. Он и тогда согласился с нею. Углич так Углич. Она сидела, охватив колени руками. Он смотрел, как солнце беспощадно сушит капли на ее плечах. Лицо у нее было сосредоточенным, напряженным, словно она пыталась разгадать некую известную ей тайну.

— О чем задумалась?

— Ни о чем.

— Неправда, скажи, о чем?

Она не ответила. Снова легла, раскинув руки, подставляя закрытые глаза солнцу.

Вспомнилось, как в прошлом году поехала отдыхать в Алексин, на Оку. Он не поехал с нею: не дали отпуск.

Город весь окружен лесами, Ока в зеленых берегах, пляж не хуже, чем в Анапе, сплошной песок. Ее научили ловить рыбу. Как-то, когда она сидела с удочкой, мимо проехал в лодке старик бакенщик, громко, презрительно произнес:

— Бабы за мужчинское дело взялись...

А она наловила тогда с десятков пескарей. Очень хотелось, чтобы старик увидел ее улов. Что бы сказал тогда? Но он не показывался больше. И она долго сидела на берегу, глядя на розовые закатные облака. Река тоже была розовой, розовато-серебряная вода даже на глаз казалась мягкой.

Она не умела плавать, но ее тянуло выкупаться, и она решилась, окунулась возле самого берега.

Вот если бы он был с нею, если бы видел то, что видит она, — розовую спокойную воду, теплый песок, пескарей в ведерке, темную кромку дальнего леса. Ее переполняло, не находя выхода, чувство неразделенной радости, и она тогда прямо тут же, на берегу, быстро накатала ему письмо о том, как ей скучно без него, что рыбы здесь невероятно много, что если бы он сумел хотя бы на один день приехать сюда, только на один денек...

Письмо она опустила в почтовый ящик на городской площади, а позднее спохватилась, рассердясь на саму себя: тоже придумала, словно маленькая, шутка ли, на один день приехать, а у него там, она же знает, самая запарка...

Он осторожно провел пальцами по ее щеке.

— Это у тебя от клубники.

— Что?

— Кожа нежная, как у новорожденного.

— Ты меня никогда не разлюбишь? — спросила она.

— Никогда, ты же знаешь.

— Мы, бабы, чудные, все, как одна. Нас надо обязательно уверять все время, что мы самые замечательные, прекрасные, лучше всех!

— За всех баб не скажу, но ты лучше всех.

— Дай честное слово.

— На!

Они лежали, прижавшись друг к другу, и думали о том, что оба думают об одном и том же. Но они думали каждый о своем.

Она представляла себе, что вот случится чудо и они получают комнату, маленькую, самую что ни на есть крохотную. Чтобы там только стол и кровать, и все, и больше ничего не надо, и они будут жить вместе, утром уходить на работу, а вечером возвращаться домой, и это будет очень здорово.

Она позвонит ему в середине дня, спросит:

— Ты когда будешь дома? А он скажет:

— Сейчас иду домой...

И она все равно прибежит первая, потому что надо будет приготовить для него домашний обед, чтобы ему пришелся по вкусу, ведь никогда столовку не сравнишь с домашней едой, никогда в жизни!

А он думал о том, что надо будет перейти в монтажный трест, там зарплата больше, но только придется часто ездить в командировки, но все равно там лучше, и начальник треста умница, с ним можно найти общий язык, не то что теперешний его шеф, самодур и тупица. И еще надо будет осенью заняться мотоциклом, тормоза дурят немного, хорошо, что он сумел изучить свой «Харлей» и умеет с ним управляться, другой бы давно сверзился...

И о ней он думал, удивляясь, но в то же время любя ее. В самом деле, чудные существа женщины: им слова, как подкормка, нужны, одни слова, неужели сама ничего не понимает? Неужели не надоело слушать все про одно и то же? Должно быть, не надоело. Был бы он женщиной, и ему бы не надоело. Впрочем, конечно, это приятно, когда говорят, что тебя любят...

Потом мысли его спутались, и он заснул, а она заснула еще раньше, и вокруг них завистливо жужжали, кружились пчелы, потому что от ее щек вкусно пахло клубникой.

Поздно вечером они отправились обратно в Москву. Она снова села позади него на багажник, обхватив его обеими руками. Машины догоняли их и перегоняли.

— Москва, — сказал он, повернув к ней голову. Он бы мог и не говорить: все сильнее, все настойчивей пахло бензином, раскаленным асфальтом, все гуще становилась пыль.

— Не гони так, — сказала она. — Я боюсь.

— Со мной ничего не бойся!

— Боюсь, — повторила она, вдруг поняв, что больше боится за него, а потом уже за себя.

Он нажал на тормоз, и машина послушно замедлила ход.
Был первый час ночи, но небо все еще матово светлело над городом.
Они подъехали к ее дому, он развернулся, крутанул перед подъездом. Около дома стояли люди, все говорили разом, не по-ночному громко.
— Смотри, еще не спят, — сказала она.
— Спать жалко, — сказал он. — Ночь, как в Ленинграде, белая...
— Я недавно песню слышала, как это там, погоди?..
Она закинула голову кверху, шевеля губами, вспоминала, потом засмеялась от радости, оттого что вспомнила.
— Вот, слушай...

Белая ночь коротка, коротка.
Да не с кем ее коротать
Пой мне, гитара, о счастье, пока
Заря не устанет пылать.

— Хорошо?
— Ничего.
Он не скрывал от нее, что не шибко разбирается в поэзии.
— Надо гитару с собой взять в Углич, верно? Она повторила еще раз:
Белая ночь коротка, коротка... Он оглянулся. Люди, стоявшие около дома, внимательно посмотрели на них и снова заговорили все сразу.
— Давай отъедем, — сказала она. — Не хочется никого видеть.
Они объехали дом и остановились на углу. С соседнего бульвара доносился шелест деревьев. Деревья шумели, словно озеро в непогоду.
— А ночью дождь будет. Он обнял ее плечи.
— Устала?
— Нисколько.
— В следующий раз опять туда поедем?
— Да. Мне понравилось. И опять, как и сегодня, отправимся рано-рано, самое позднее в шесть утра, когда все еще спят.
— Знаешь, — начал он, — бывает с тобой вот так вот: приедешь куда-нибудь в лес, или на реку, или даже в другой город, и если было тебе хорошо, пусть даже был там немного, самую малость, но всегда жалко уезжать оттуда?..
— Верно, — подхватила она. — И всегда кажется, что бросил что-то очень нужное, что ли, или какую-то часть себя, правда?
— Вот-вот.
Помолчали, думая оба уже об одном и том же, о том, почему это им в голову так часто приходят одинаковые мысли, — наверно, такое бывает далеко не у каждого...
Он стал рядом с ней, держась одной рукой за седло мотоцикла.
— Если бы не уходить сейчас никуда...
— Подожди, мама с папой скоро уедут...
— Так и мы уедем...
— Мы вернемся, а они еще недели через полторы...
Он поцеловал ее.
— Даже как-то не верится: почти целый месяц впереди, и все время вместе.
— Мне тоже не верится. Осталось двенадцать дней.
— Одиннадцать. Сегодня уже не считай. Сегодня уже наступило.
— Значит, одиннадцать. Еще одно воскресенье, а следующее — в Угличе.
— Ладно.
Он сел на седло, положил на руль обе руки.
— Завтра позвоню.

— Когда?

— В десять. 'і . ' . » Жду!

По привычке она еще долго стояла, провожая 'его глазами, прислушиваясь к постепенно затихающему треску мотоцикла.

Потом повернула к своему подъезду.

Какие-то люди шли ей навстречу. Она взгляделась — соседи из ее квартиры. В другое время она бы обязательно спросила, почему они так поздно не спят, но сейчас не хотелось ни с кем говорить, ни о чем спрашивать.

Она побежала было в другую сторону, боясь ненужных встреч, лишних разговоров, но кто-то из соседей — она так и не успела узнать кто — крикнул ей вдогонку:

— Слыхала? Война! Сегодня рано утром!

А она побежала быстрее, все еще не понимая смысла сказанных слов, и вдруг, осознав, остановилась.

Кругом что-то говорили, спорили, не слушая друг друга, зачем-то глядели на тихое летнее небо, словно ожидая, что там среди безмятежных ночных облаков вдруг появится вражеский самолет, и опять говорили, лишь она молчала.

...Было удивительно, неправдоподобно, что еще совсем недавно, какой-нибудь час тому назад, был покой, ни с чем не сравнимый, отрешенный от всего будничного, привычного, когда думалось: на всем белом свете только они одни и никого больше...

Внезапно как бы со стороны она увидела себя и показалась самой себе такой маленькой, незначительной, как незначительны были ее мысли перед лицом того грозного в своей беспощадной, неоспоримой правде, что обрушилась на нее и на всех остальных людей.

Словно где-то в другом, далеком, удивительном мире остались солнце, тишина, радостный пчелиный звон, и трава, и мягкая вода, и костер, зажженный им с одной спички, и его руки на руле мотоцикла, и Углич, куда они собирались поехать, где много церквей, и Волга — широкая река, и зеленые улицы — все то, что уже так и не придется увидеть...

С тех пор прошли годы. Много раз тяжелые снега одевали землю, и большая вода по весне смывала ноздреватые снежные сугробы.

Дети выросли, становились взрослыми, старики старились, рождались и умирали люди, и кажд'ому представлялось: он является центром всего того, что его окружает, — и, может быть, в чем-то это и была правда.

Война, которая длилась почти четыре года, кончилась. Всему приходит конец. Но далеко не всем суждено было вернуться с фронта домой.

Она осталась жить и, как водится, постарела, изменилась неощутимо для себя, но заметно для других.

Случались в ее жизни, как и в любой другой жизни, радости, их сменяли заботы, и снова бывали светлые дни, и на смену им опять приходили печали.

В суете дней забывалось многое, но иногда, нечасто память упрямо возвращала его лицо, освещенное солнцем в тот жаркий июньский день, и даже голос его снова звучал в ее ушах, глуховатый, негромкий, как бы тоже согретый солнцем.

Давно уже нет на земле его лица, и голос затих, и уже никогда, никогда не услышать слов, которые он мог бы сказать ей.

Но где-то под Москвой, она знала, до сих пор живет это озеро и берег, поросший цветами, — все то, что было уже недостижимым, навсегда ушедшим.

И ни разу она не пыталась поехать туда, где однажды они были так счастливы. Наперекор всему... Уже целый день шла война в мире, а они ничего не знали, и в этом незнании уже было заключено счастье, потому что они оставались на целый долгий день счастливей, чем весь остальной мир...

Анатолий Поперечный

Земля

Теплая и до смерти живая.
Каждою травинкой льнешь ко мне.
Я лежу, невольно прижимая
Землю к сердцу.
Сердце же — к земле.
Я лежу под звездами России,
В чистом поле.
Посреди косьбы,
Потому что вдоволь накосили,
Нагубили травяной красы, —
Чтоб земля воздала новым чудом,
Млечностью небес, парным дымком.
Чу! Мычат коровы у запруды,
Зори плещут пенным молоком.
Пахнет мятой сладостной утраты,
Словно вместе с летом на возу
Отплывают на пароме травы
От земли в иную полосу,
Где стоят,
Стодуги и стоцветны.
Радуги косые ворота.
О земля,
Все так же беззаветны
Мои чувства и любовь свята
К пастбищам твоим
И опустелым,
Марсиански выжженным степям.
Я в дому родительском по стенам
Травы бы развесил по углам,
Чтобы вечно чудилось их пенье,
Шепот, замирающий вдали,
Тихая молитва удивленья
Перед всемогуществом земли.

Мустаю Кариму

Когда-то солнце посадили на кол —
Так повелел великий Тамерлан.
И умер день. Но на заре, однако.
Взошло светило, красное от ран.
Тогда казнить они решили слово.
Но в солнечной системе есть закон:
Восходит слово и сияет снова,
А Тамерлан уж дважды погребен.

*

Цветы зеленые Востока!
Я вас, как прежде, узнаю,
Вас, зацветающих высоко,
У гиблой песни на краю.
Цветы, тяжелые, густые,
С похмелья, буйные в грозу,
Вы на каких пирах гостили
Под ярмарочную слезу,
Какой огонь вы всколыхнули
У разухабистой души.
Минуя сны, и караулы,
И роковые рубежи!
Цветы стоят у изголовья
Еще не тронутых надежд.
И пахнут медом и любовью
Запястья их, как у невест.
И я заметил их до срока
В степях бурьянных и глухих.
Цветы тяжелые Востока
Вломились в мой раскрытый стих.
Растрепанные, гулевые,
А то вдруг тихие, как стынь,
А то вдруг нежно-голубые,
А то предсмертны, как полынь.
Цветы зеленые Востока,
Я вас, как прежде, узнаю.
Вас, зацветающих высоко,
Неувядающих, пою!

ПРОЗА

Геннадий Проценко

ДВЕСТИ СТРОК НА ПЕРВУЮ ПОЛОСУ

РАССКАЗ

Синоптикам не говорят спасибо, когда они ошибаются, тем более в Антарктиде.

— Вас бы сюда, пророки, — процедил пилот, едва машина выровнялась после того, как ее бросило метров на триста, вниз. — За такие прогнозы убивать надо. Если бы шли не над морем, а по барьеру, крышка. Вон там, где жмутся пингвины, заткнулись бы снегом.

«В редакции ждут от меня репортаж, а получают некролог, — подумал с грустью Валерий, — напишут: «При исполнении служебных обязанностей...» А по чьей вине, никто не узнает. Потом, может быть, достанется синоптику, но кому от этого станет легче? Наверное, мерзко сейчас Степану Бырдину.

От нечего делать он провожал их при вылете. Маленький бородатый человек, фигурой похожий на мальчика, поглядывал на чистое небо и прихвастывал:

— Сегодня я вам устроил ясно: миллион на миллион километров вокруг. Скучно будет лететь...

Но скучно не было, стало даже весело, когда солнце вдруг пропало в снежных зарядах, и самолет затрясло, как телегу на кочках. Все начали подпрыгивать на своих мешках, будто всадники на необъезженных лошадях. А под доктором Трошиным вместо

тюка с палатками как бы оказался дикий мустанг. Где уж удержаться на нем! Сергея выбросило на середину прохода. Было похоже, что какая-то чертова сила грубо заигрывала с самолетом, дергая его то за крыло, то за хвост.

— Командир, еще новость! — донеслось из пилотской кабины. — В молодежной вьюжит, принять не смогут! — кричал радист, не снимая наушники. — И возвращаться нельзя: Мирный закрыло.

Валерий увидел, как командир провел ладонью по узкому боковому стеклу, но оно не стало прозрачней, взглянул на приборы — белые стрелки по-прежнему суматошно метались, помолчал, прикидывая что-то в уме, потом рванул сверху вниз молнию на кожаной куртке, приказал:

— Вызывай Моусон. Пойдем на вынужденную к австралийцам.

Моусон откликнулся незамедлительно. Австралийцы сообщили, что у них проясняется, дали самолету радиопривод и вывели на свой аэродром. Когда под крылом рассеялся белый туман, все увидели удивительно ровную площадку льда. Казалось, только минувшей ночью природа залила этот гигантский каток, на котором еще не успели появиться морозобойные трещины и косые снежные переметы. Настоящее раздолье для ветра и самолетов.

Еще ревели моторы, и алюминиевые стенки в заклепках нервно вибрировали, но уже можно было спокойно вздохнуть. Самолет стоял твердо на льду, и, пока пропеллеры удерживали его против ветра, летчики спешили стреножить стынущую машину. Валерий и доктор помогали им. Обдирая руки ржавой ломкой проволокой, они раскручивали пружинистый трос и дружными рывками тащили его к якорям, которые кто-то еще при хорошей погоде предусмотрительно вморозил в лед.

А на самой станции их уже ждали. На мачте подняли красный флаг, по радио завели «Калинку».

Сухопарые длинноволосые парни, выбежавшие навстречу, были общительны и гостеприимны. Они быстро накрыли столы, расставили высокие, как свечи, бутылки с вином. Но никто из прибывших выпивать не стал. Среди русских негласно действовал сухой закон да и неудобно было шиковать за чужой счет. Австралийцы тоже не пили, хотя кое-кто из них и без того был изрядно навеселе, неестественно громко смеялся и со звоном передвигал посуду. Летчики скромно перекусили и разбрелись по станции. Любопытно было посмотреть, как устраивается заграница.

Весь поселок из пяти или шести домиков разместился на ровной и гладкой скале, окруженной с трех сторон льдами. С четвертой к самым окнам подступало море. Поражало отсутствие снега. Его будто счистили перед встречей гостей. Впервые за время пребывания в Антарктиде Валерий ощутил под ногами твердую нескользкую почву. Ступалось легко и безбоязненно, как по асфальту.

«Счастливики, — подумал Валерий, — имеют лучший в Антарктике аэродром, и бухта у них не замерзает. Суда могут чалиться бортом прямо к зимовке. Им даже не угрожают заносы, которые не дают покоя ни одной другой антарктической станции. Вишь, как хитро они построились: дома приподняты на металлических ножках, чтобы снег не задерживался и ветром сметался в воду. У них все чин-чином, полный порядочек».

Валерий вспомнил, с каким удивлением вначале ходил он по бывшим улицам Мирного. Думал увидеть большой полярный поселок, а домов-то и не было. Жилье, мастерские, лаборатории, склады, гараж, камбуз с кают-компанией и даже сам «Пентагон» (так называли полярники свой штабной домик) — все было погребено вьюгами. На поверхности виднелись лишь две-три просевшие крыши да сигнальные фонари, по которым зимовщики находили лазы в занесенные дома.

«А может, так и должно быть — не всем городской комфорт, ведь это же Антарктида — «Суровый неизведанный край загадок и испытаний», как пишем мы сами и у других читаем», — закончил Валерий свой мысленный экскурс в край меланхолии.

Само собой разумеется, никаких таких аналогий в его первом репортаже из Моусона не было. Валерий просто и бесхитростно рассказал, каким образом они оказались в этих местах. Не утаил, что подвели их синоптики, и в частности бородастый зазнайка Бырдин, в чей адрес неслись в самолете, так сказать, предпоследние ругательства.

В основном же репортаж посвящался дружеской встрече и доброму гостеприимству австралийцев. Он так и назывался: «Флаги дружбы над станцией Моусон». А заканчивался шутливой припиской. В последнюю, дескать, минуту из Мирного сообщили: синоптик, который так грубо ошибся с прогнозом, в знак неудачи решил расстаться со своей бородой.

Радиост Моусона, подсчитав слова, как положено в их работе, включил телетайп. Спросил:

— Передавать через Сидней или на Мирный?

— А по времени?

— Одинаково.

— Давай через наших, — решил Валерий, не подозревавший, что в этот поздний час в Мирном дежурит один из самых болтливых радиостов и строчки о бороде тотчас станут известны Бырдину.

...Начиналась ночь, такая же светлая, как и день, и спать совсем не хотелось.

— Что еще мы не видели?

— Я не был у доктора, — сказал Трошин, — обходить неудобно своего же коллегу. Надо бы в первую очередь познакомиться с ним, а не болтаться с тобой. Вон у воды его домик. Видишь флаг и надпись? Зайдем.

Над крыльцом на ветру полоскался белый флаг с вылинявшим красным крестом и во всю стену, как на причалах, крупно, печатными желтыми буквами было выведено: «Будьте здоровы. Да хранит вас бог!»

Австралийский доктор вышел навстречу. Он был высок, сухощав, строен. На плечи наброшен черный пиджак. Накрахмаленная рубашка топорщилась у пояса. Правая рука в плотных бинтах поддерживалась марлевой подвязкой. Левая, видно, пострадала меньше. Завязаны были только пальцы.

Мягкая улыбка, глаза с веселой искрой и обстоятельный широкий нос говорили о добродушии. «Таковыми становятся все врачи, когда у них долго никто не болеет и нет никаких других забот», — заключил Валерий, вспомнив кое-что из своих познаний физиогномики.

— Я немножко учил русский, — заговорил доктор. — Извинивайте за произношение, мало практики. Но мы, надеюсь, пойдем друг друга.

— Иес, сэр, — ответил Трошин. Это было его любимое выражение. Зная еще «по, sir», он мог поддерживать любой разговор на английском.

Доктор открыл холодильник, выдвинул несколько банок с консервированным пивом.

— Как у вас говорят, будем меняться опытом, — сказал он, приглашая к столу.

— Я журналист, разрешите маленькое интервью. Мне хотелось бы задать несколько традиционных вопросов, — сказал Валерий, открывая блокнот. — Мистер Трошин не против?

— Что делать, ты ж на задании. Выуживай свои сенсации. — Трошин кивнул доктору. — Будьте осторожны. Никто не знает, что он завтра передаст в свою газету.

— О, не беспокойтесь, у нас все в порядке и... никаких сенсаций, — улыбнулся доктор. Повернулся к Валерию. — Я к вашим услугам.

— Меня учили начинать с азов, — с пониманием дела заговорил Валерий. — Знаете, как в суде: обвиняемый, ваше имя, возраст, занятие?

Доктор сразу не понял, насторожился, но отошел, принял игру. Сложил руки крестом на груди, смиренно склонил голову.

— Клянусь говорить правду, только правду и ничего, кроме правды. Меня зовут Фрэнк Боллинз. Врач австралийской антарктической экспедиции. Сорок один год

исполнится через неделю. Если задержитесь, отпразднуем вместе. Закончил факультет в Оксфорде, потом имел частную практику. Член Королевской хирургической ассоциации.

— Пожалуйста, пару слов о семье.

— Обручен с мисс Элен Боллинз, тридцати шести лет, кольцо номер 13145117 вот здесь. — Он поднял забинтованную руку, театрально поцеловал ее. — Имею двух дочерей. Энн — только восемь, а Бетси — уже четырнадцать.

— А что за тайна вот здесь? — Валерий показал на бинты.

— Вы проникательны, как все репортеры, но для печати, поверьте мне, ничего интересного, суший пустяк, — сказал Боллинз с заметной наигранностью. — Через день-два, а может, и завтра я выкину эти бинты. — Он вынул руку из марлевой петли и покрутил ею. — Почти совсем здорова. Подумайте сами, разве может врач в экспедиции чувствовать себя хуже других. У нас с коллегой нет на это абсолютно никакого морального пр аза.

Трошин согласно кивнул.

— Иес, сэр.

Боллинз встал, взволнованно заходил по комнате. Остановился у окна, посмотрел на забинтованные руки, грустно заметил:

— Даже самые искусные повязки не украшают врачей. Да ладно, что я вас убеждаю в очевидном. Попробуем-ка лучше еще свеженького пивка.

Трошин с профессиональным любопытством полистал огромный, во весь стол хирургический атлас с цветными схемами операций, заглянул в стеклянные медицинские шкафчики, где были аккуратно разложены и поблескивали сталью разные хитрые приспособления, которыми колют, режут, пилят и зашивают. Включил сверкающую зеркалами лампу над операционным столом. Комната озарилась голубым свечением. Полярная ночь за окном потускнела и стала похожей на вечер в средних широтах.

— Вери велл, — сказал одобрительно Трошин и перевел на свой лад: — Отличная вещь. То, что надо!

«Счастливики, — опять подумал Валерий, — умеют даже на краю света устраиваться без лишней».

Они попили пива, поговорили о лекарствах, о детях, о погоде, которая выкидывает разные штуки, позавидовали австралийцам, что скоро за ними придет теплоход, а дома тепло, началось лето, люди купаются, и простились до завтра.

— Бай-бай, — объяснил Трошин на полуанглийском, так как весь свой запас иностранных слов он уже исчерпал.

В кают-компании для них приготовили постели. Засыпали под завывание ветра. Он наваливался на стены, терся о стекла, глухо топал по крыше. Штормовые крепления, антенны, леера, протянутые от дома к дому, звенели и пели, как струны какого-то диковинного инструмента.

«Поющий остров» — назову я следующий репортаж из Моусона, — решил Валерий, зарываясь глубже в теплые одеяла. — Или лучше: «Счастливики с острова Моусон». Они прекрасно прижились на своем голом камне. Подумать только, как благоустроено и легко может быть человеку на крошечном островке в безбрежном океане воды и льда, когда у него все есть под рукой».

У них кругом техника, моторы, краны разные, даже на аэродром в легковом автомобиле ездят. Боллинз в жизни, наверное, не катал по снегу пятнадцатипудовые бочки с бензином. Валерий вспомнил сегодняшнее утро. Кто собирался на Молодежную, поднялся ни свет ни заря. По бортовому расписанию они с Трошиным грузили эти чертовы бочки, тяжеленные, будто налитые свинцом, а не горючкой. Потом примостились на пухлых брезентовых баулах. Было мягко сидеть и сладко дремалось под монотонный рокот моторов, пока не влетели в пургу. Бр-р-р, не хотелось и думать о промерзшем, скачущем самолете. Валерий закрыл глаза, и его начало плавно покачивать, как в начале полета...

— Доктор, доктор, проснитесь!

Снится или наяву? Валерий открыл глаза, увидел рядом пустую койку. Трошин уже был на ногах, торопливо застегивался.

— Что случилось?

— Зовет мистер Боллинз. Какая-то неприятность. По суетной журналистской привычке, ставшей для Валерия правилом в жизни, он хорошо знал, что нужно делать в такие минуты. Быть на месте события, принимать в нем самое живое участие. В подобных случаях он любил повторять знаменитое чапаевское наставление к бою: «Где должен быть командир? Впереди, на лихом коне!»

Но боя не было, к нему только готовились, хотя и пролилась первая кровь.

Пострадавший — пожилой толстяк сидел на стуле, пьяно покачиваясь из стороны в сторону, и бессвязно мычал. Щека и лоб были сильно разодраны и залиты йодом. Пахло нашатырем и хмельным перегаром.

— Великодушно простите, коллега, — заговорил доктор, — мне потребовалась ваша помощь. Полюбуйтесь варваром. Наш моторист, хватил лишнего.

Нашли его у порога. При таком морозе он мог не проснуться. Недоставало за неделю до смены нам потерять еще одного человека. Помогите, пожалуйста, привести в порядок. — Боллинз поднял забинтованные руки, беспомощно и виновато развел их. — Вата в той коробке, вот ножницы, пластыри... Сыворотку от столбняка сейчас достану.

Валерий впервые увидел Трошина за делом. Действовал тот будто в своем лазарете, где все под рукой, и привычно, интуитивно находил нужные склянки, в одно движение разматывал бинты — Тебе, Серега, помочь? А то я чувствую себя здесь лишним.

— Принеси-ка водички да присмотри, чтобы он не свалился.

Подошел Боллинз, потрепал толстяка по здоровой щеке, подтрунил:

— Слышишь, Джони, ты так расквасился, что пришлось специально вызвать русский самолет с доктором. Держи марку! .

— Не люблю я русских! — огрызнулся Джони.

— Не мели, малыш, что ты знаешь о русских? За тобой ухаживают, а ты ведешь себя, как свинья. Сиди прямой, — доктор снял больную руку с подвески и забинтованным кулаком ткнул ему в подбородок, не сильно, но зло, — прямой, прямой, не дергайся. Серж, поставьте, пожалуйста, ему на колени бачок с хирургическим инструментом. На раздраженных действует успокаивающе. Снимите крышку, пусть видит наши орудия производства.

Джони умолк, неподвижно замер. Ланцеты, скальпели, зажимы, долота начали тонко, по-комариному позванивать у него под носом.

Пришли сонные друзья Джони, сочувственно покачали головами, увели забинтованного толстяка. На прощание моторист недовольно бросил:

— Не доверяю докторам, шарлатаны они, Валерий, доктор и Трошин остались одни. В домике стало необыкновенно тихо. Друзья огляделись. На полу валялись клочки ваты, обрезки бинтов. Дверцы шкафчиков небрежно распахнуты, инструмент в беспорядке, пролились какие-то пузырьки. По-больничному пахло йодом и спиртом... А была всего лишь простейшая перевязка. Почему она вдруг внесла такую сумятицу?

У Валерия да и у Трошина роилась масса вопросов, но как задать их, удобно ли? Никто не решался заговорить первым. Все с одинаковой горечью ощущали, что случай, который, казалось, должен был сблизить, разъединил их. Поправить дело могло откровенное объяснение. И Боллинз, поняв это, нарушил тягостное молчание:

— Джони сильно выпил, извините его. У нас иные попивают. Особенно после того, как погиб Пит Рендель. Он тоже был мотористом. Потерялся в пургу. Все искали. Я наткнулся, но было поздно. Там его могила. — Боллинз подошел к окну, опустил раму, подал бинокль. — Пит ближе всех нас к Австралии.

Валерий увидел золотистые блики на зеленых волнах, рафинадно колотый край айсберга, чернильно-синее небо. Все без полутеней, как на картинах Рокуэлла Кента, пришло

сравнение. Он взял левее. В окулярах поплыла снежная равнина, каменистая гряда у воды и одинокий белостроганный крест над ней. Зимовщики, зная, видят его и без бинокля...

— С того дня я не снимаю бинты, лишь по ночам, таясь ото всех, меняю повязки, — продолжал Боллинз. — Говорю им: пустяки, отшучиваюсь, как в первый раз с вами. Пусть не волнуются за врача. Все равно ему помочь некому, — говорил он о себе в третьем лице. — Сегодня судьба вновь поиграла со мной, устроив небольшой экзамен. Я провалил его. Иначе и не могло быть. Что могу я сделать, если руки мои никуда не годятся. Взгляните сами, и вы поймете, коллега.

Он вскинул забинтованную руку, зубами разорвал узел, сдернул повязку. Повернулся к Валерию, усмехнулся горько.

— Для газетчиков просто находка — беспомощный врач на полярной станции. Не правда ли, редкая штучка? Больше нет условностей...

Валерий не слушал, что говорил доктор в запале, видел ссохшиеся пальцы, обуглившуюся кожу с синими трещинами и белые фаланги вместо ногтей. Вот что делается с рукой, когда она обморожена. Он отвел глаза, ему стало не по себе.

Трошин осторожно помял безжизненную ладонь, вздохнул сочувственно.

— Правду и только правду? — повторил он докторовы слова, не имевшие раньше никакого значения.

— Скрывать поздно и незачем.

— К сожалению, да, — подтвердил Трошин, — антонов огонь, прощай — гангрена. Нужна операция. Я помогу вам, иначе не обойтись.

Валерий взглянул на доктора. Тот побледнел, стал строгим, глаза сузились, потемнели. Руки согнулись в локтях, и весь он сжался, как в боксерской стойке, готовый отбить атаку. «Нет, никогда!» — наверное, хотелось воскликнуть Боллинзу, но инстинктивная защита тотчас сменилась здравым рассудком. Он тихо и согласно произнес:

— Вы правы. Спасибо за откровенность. Я должен подумать. Вы улетите не раньше полудня, у меня достаточно времени. — Он Подошел к открытому окну. Постоял молча, вглядываясь вдаль, туда, где маячил тесовый крест и откуда должны появиться мачты долгожданного корабля надежды. Сказал, не оборачиваясь, сдерживая волнение: — Отдыхайте, друзья, у вас еще долгий путь. Извините Джони. Он не виноват, что увидел мои беспомощные руки.

Они вышли. Ветер угомонился, небо расчистилось. Солнце светило неярко и по-ночному холодно. Осторожно, на цыпочках прошли мимо спящих летчиков. Добрались до мятых остывших постелей, разделись.

— Серега, не спишь? Ты знаешь, как это надо делать?

— Не очень сложно. Ампутироваться пальцы или отнимается вся кисть. По обстоятельствам. Я ассистировал профессору в ленинградском госпитале, когда привезли обмороженного рыбака. Жизнь спасли, но оставили инвалидом. Никакой рыбы тот больше ловить не сможет.

— Думаешь, согласишься на операцию?

— Иного выхода нет. Он сам хорошо понимает. Слишком запущен процесс.

«Счастливики с острова Моусон?» — вспомнил Валерий свои вечерние размышления. Надо же так обернуться делу!

...Валерий Кнып не был газетным волком, достаточно тертым в жизненных ситуациях, но не был и новичком, которому редакция должна подсказывать, о чем писать, что ждет от него читатель. Он сам хорошо знал, зачем газета командировала его в эту далекую часть света, которую не назовешь ни островом, ни материком, ни землей, ни океаном, ибо, что есть Антарктида, до сих пор спорят между собой ученые.

С того часа, как Валерий высадился на этот большой лед, он завалил работой радистов. Они едва успевали отстукивать в Москву корреспонденции с пометками «Срочно», «Весьма срочно». Он писал обо всем, что подвертывалось под руку: о полярной бане и снежных заносах, о стенгазете и огурцах, выращенных электриками, о любопытных и

забавных пингвинах и, конечно, о собаках, в прошлом благородных и умных, но которые позабыли, что такое упряжка, отирались у кухни и для чьей-то потехи драли друг другу загривки.

Редакция получала и охотно печатала его информацию, и никто, кроме самого автора, так остро не ощущал, что все это далеко не главное, о чем следовало бы рассказать. Не ради же таких пустяков, которые давно описаны и переписаны, плыл он через моря-океаны, травил в шторм и получал надбавки к командировочным за каждый час пребывания в антарктической экспедиции.

На своем небольшом журналистском веку Валерию пришлось побывать на многих заданиях, и почти всегда он находил ситуации, которые учащали пульс. Здесь же бежали дни, а контакты, дающие искру, что-то не замыкались. Валерий перезнакомился со всеми зимовщиками Мирного, выслушал много разных историй, смешных и печальных, и чувствовал уже, что вот-вот выйдет на настоящую тему. Так геолог, перебравший все минеральные и растительные спутники ископаемых, в конце концов пробивается к заветному месторождению.

И вот сама судьба подарила ему встречу в Моусоне. Валерий принялся мысленно сочинять будущий репортаж, который передаст сразу, как только Трошин наденет маску и включит сказочно яркий свет той самой зеркальной лампы. Сначала надо самое главное: «Операция на станции Моусон». «Три часа под наркозом». «Поединок с черной гангреной». «Молодой советский хирург спасает жизнь австралийскому доктору». «Антарктида — континент дружбы». «Слава русским врачам!»

Нет, он не может больше валяться в постели. Умом, сознанием, сердцем, которое застучало громко и часто, Валерий понял, что перед ним наконец-то оказалась большая, настоящая тема, за которой стоило трястись в самолете. А собаки, пингины, метели — все это тысячу раз было.

Валерий достал блокнот, карандаш лихорадочно побежал по бумаге: «Москва, редакция. Сегодня в номер передам двести строк на первую полосу». Он сунул босые ноги в холодные сапоги, накиннул пальто, двинулся в радиорубку.

...Во время завтрака они встретились снова. Доктор выглядел усталым и постаревшим. Видно, всю эту ночь он провел на ногах и без сна. Белая рубашка обмялась и не топорщилась больше. Руки Боллинза были, как прежде, тщательно перевязаны свежими стерильными бинтами. Он подошел к Трошину, присел рядом, тихо заговорил:

— Благодарю вас, коллега, за ночную встречу. Вы меня выручили, я продержусь еще. Поверьте, мне трудно отказываться, но принять операцию не могу. До смены состава люди не должны знать, что доктор у них совершенно беспомощен. Нельзя оставлять их без веры в спасение. Они и так порядком измотаны. Был трудный год...

— Я побуду с вами, мне разрешат остаться. Помогу вам управиться до отъезда, — предложил Трошин.

— Тогда мой контракт потеряет силу. По договору на станции может быть только один врач. Если он бесполезен, пришлют другого и никогда не станут платить двоим. Я думаю о семье: в доме никто не работает, и я им теперь не помощник, вся надежда на выплату за экспедицию. Молю всевышнего, чтобы все обошлось. Если что вдруг случится на нашей базе, радисты позовут вас по радио, прошу откликнуться, аэродром у нас всегда примет, летчики знают.

— А Джони? Он видел...

— Проспится до вахты, поговорю с ним. Поймет.

— Очаги могут дать заражение крови, дорог каждый час, — не сдавался Сергей. Он рассуждал и был настойчив, как врач, встретивший обреченного больного, которому еще чем-то можно было помочь.

— И это я, к сожалению, знаю. Мне очень важно сберечь у других остатки уверенности в добром исходе. Было бы слишком жестоко потерять репутацию до того, как хирурги отнимут руки. Наш корабль в пути, он скоро придет. Сдам смену — и в лазарет.

Пусть делают, что хотят, если не будет слишком поздно... Врачом так и так мне больше не быть. Простите, коллега, не судите строго, прощайте, всего вам доброго. И вам всех удач, мистер Валерий. Для журналиста удача — первое дело, не так ли?

...В полдень старенький, дребезжащий «ЛИ-2» снялся с ледовых якорей и пошел на прощальный круг над Моусоном. Была маломорозная солнечная погода с открытым бездонным небом, каким оно бывает в Антарктике летом всякий раз после ненастья.

С высоты в квадратные иллюминаторы Валерий увидел зелененькие домишки на крошечном каменном пяточке у моря — маленькое-маленькое гнездовье человека в окружении гигантских айсбергов. Подумал: много ли людям нужно, чтобы достойно, держаться в этом вечнохолодном мире?

Подошел радист, протянул телеграмму.

— Тебе для сведения, из редакции, — ухмыльнулся.

Валерий развернул телеграфный бланк, прочитал:

«Антарктида, Мирный. Метеорологу Степану Бырдину. Копия — корреспонденту Валерию Кныпу. Редколлегия рассмотрела ваше опровержение и отклонила его. Вы напрасно утверждаете, что репортаж из Моусона «бросает тень на всю советскую службу прогнозов погоды». Считаю также необязательным сообщать читателям, по какой другой причине вы сбрили бороду. Материал напечатан полностью, без изменений, ждем следующий. Ответственный секретарь Колосов».

Неожиданная телеграмма из Москвы не успокоила, а лишь расстроила Кныпа. И раньше он хорошо знал, что около серьезного дела всегда вьется разная мелкота, но почему-то не относил такое к Антарктике, где, по его мнению, имели право быть только сильные и честные люди, не ищущие отговорок, когда они ошибаются.

Как нелегко, должно быть, сейчас больному одинокому доктору в доме под белым флагом. Непосвященный мог бы подумать, что именно там кто-то самый слабый из всех зимовщиков первым сдался на милость судьбы, выкинув белый флаг капитуляции. Но как ошибся бы предсказатель... Эй, механики на корабле, прибавьте обороты, маловеры не должны торжествовать!

Валерий открыл блокнот, вырвал чистый лист, пометил: «Передать вне всякой очереди!»

Пододвинулся Трошин, заглянул через плечо.

— Сенсация будет?

— Дыра на полосе будет, пять колонок по сорок строк и выволочка по радио во всеуслышание обязательно будет, — полушутя-полусерьезно произнес Валерий, подумав о том, что любое газетное сообщение подвело бы австралийского врача. И дописал: «Москва, редакция. Обещанного материала в номер не будет. Ваш корр.»

Самолет разворачивался на курс, и солнечный луч полз по стенке, высвечивая то одно лицо, то другое, такие разные. А под крылом стлалась белая-белая равнина, ничем не приметная с высоты.

Антарктида, Мирный — Моусон.

публицистика

Борис Бялик

ПОДВИГ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

цвет победы

Человечество дважды оказывалось на краю пропасти, к которой его подводил капитализм, разжигая мировые войны. И дважды спасал человечество наш народ. В первый

раз спасение принесла Великая Октябрьская революция, открывшая новую эру в истории; во второй — победа над фашистскими полчищами, пытавшимися повернуть историю вспять. Именно наш народ стал главной преградой на пути этих полчищ. Именно он смог остановить их и отбросить назад, нанести им решающие поражения и довершить их разгром. Никогда не будет забыто, что знамя Победы, поднятое над берлинским рейхстагом, было красного цвета — цвета Октябрьской революции, цвета коммунизма.

Ровно за сто лет до этой великой Победы, в 1845 году, Фридрих Энгельс говорил о будущем обществе, вдохновляемом коммунистическими идеалами: «...член такого общества в случае войны, которая, конечно, может вестись только против антикоммунистических наций, должен защищать действительное отечество, действительный очаг... он, следовательно, будет бороться с воодушевлением, со стойкостью, с храбростью, перед которыми должна разлететься, как солома, механическая выучка современной армии. Вспомните, какие чудеса совершал энтузиазм революционных армий с 1792 по 1799 г. — армий, которые боролись ведь только за иллюзию, за мнимое отечество, и вы поймете, какова должна быть сила армии, борющейся не за иллюзию, а за нечто реальное и осязаемое».

Эти слова можно с полным правом отнести к героической гражданской войне, в которой была защищена от врагов Октябрьская революция, и в еще большей степени — к Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов, отстоявшей плоды двух десятилетий социалистического созидания. Эта война, ставшая для советского народа с первых же дней Отечественной и Великой, явилась во многих отношениях небывалой — и по масштабам сражений, и по тяжести тех испытаний, которые пали на долю не только фронта, но и тыла, и по массовому героизму советских людей. Небывалой она явилась и по тому духовному подъему, который пережил в самую трудную и трагическую пору своей истории наш народ.

Советская литература военной поры была отражением и выражением этого подъема и сама стала явлением невиданным в художественном развитии человечества. Ничего подобного не было и не могло быть ни в одной из войн прошлого. После того как к энтузиазму и беззаветной храбрости, проявленным в годы гражданской войны, добавились итоги первых пятилеток и грандиозной культурной революции, мир увидел то, чего еще не было: армию воюющую и вместе с тем читающую и пишущую. Еще никогда сражающийся народ не испытывал такого постоянного желания слышать слово своих писателей, и еще никогда писатели так единодушно и мужественно не помогали своим словом народу-воину. Веками мечтала литература о читателе-друге, и она обрела его в лице народа, строящего новое, социалистическое общество. В годы Великой Отечественной войны она обрела читателя — боевого друга.

Вот почему нельзя писать историю советской литературы, не понимая особого значения того этапа, через который она прошла в годы войны. И вот почему нельзя писать историю военных лет, забывая о подвиге советской литературы, вошедшем в общий подвиг советского народа.

не ожидай мобилизационных повесток...

Алексей Сурков вспоминает: «Когда 22 июня я прибыл в Главное политическое управление Красной Армии на Гоголевском бульваре, то встретил там поэтов, прозаиков, драматургов, критиков; не ожидая мобилизационных повесток, они посчитали своим долгом явиться сюда, чтобы предложить свой талант и жизнь всенародному патриотическому делу защиты Отчизны. Были тут и Владимир Ставский, и Александр Твардовский, и Александр Безыменский, и более молодые поэты — Симонов, Долматовский, Алтаузен, был тут... Трудно упомянуть и перечислить все имена тех, кто в первый день войны получал назначения, обмундирование, оружие, чтобы отправиться на юг, на запад, на север, во фронтовые, армейские, дивизионные газеты».

Мне довелось наблюдать такую же картину и, в Ленинграде, где многие писатели пришли в Политуправление Ленинградского военного округа или в свой Дом имени Маяковского сразу в военной форме, оставшейся после финской кампании. Так было и в Киеве, и в Минске, и в десятках других городов. Везде писатели, не дожидаясь повесток, приходили в армейские политорганы, в военкоматы, на пункты, где формировались отряды народного ополчения.

На митинге писателей, состоявшемся в Москве в первый день войны, была принята резолюция, в которой говорилось: «Каждый советский писатель готов все свои силы, всю свою кровь, если это понадобится, отдать делу священной народной войны против врагов нашей Родины!» И это не были только слова. На фронт в качестве сотрудников дивизионных, армейских, фронтовых, центральных газет, в качестве бойцов народного ополчения, солдат и офицеров армии и флота ушло более тысячи советских писателей. Немало из них раньше было признано физически полностью негодными для несения воинской службы. Аркадию Гайдару пришлось выдержать настоящий бой с врачами, не пускавшими его на фронт из-за старой тяжелой контузии; такие же трудности пришлось преодолеть Юрию Инге, больному туберкулезом, и Джеку Алтаузену из-за болезни сердца. Освобожденный по состоянию здоровья от строевой службы и направленный в редакцию тыловой военной газеты Э. Казакевич «сбежал» в действующую армию и стал мужественным офицером разведки.

Можно назвать и других писателей, которые уходили из редакций в боевые части. Это не было уходом от творчества. Разве родилась бы потом повесть «Звезда», одно из классических произведений советской литературы, если бы не то «бегство»? С другой стороны, многие солдаты и офицеры приходили в годы войны в литературу. Чаще всего пришедшие оставались в строю, но иногда они вынуждены были «профессионализироваться» еще на фронте. Так, С. Гудзенко, начав войну в рядах десантников, стал после ранения в последний год войны работником редакции фронтовой газеты «Суворовский натиск».

Более тысячи советских писателей ушло, на фронт, и около четырехсот из них не вернулось: погиб каждый третий. Прикрывая огнем ручного пулемета отход группы бойцов, пал Юрий Крымов. Наверное, Гайдар мог бы уклониться от очереди немецкого автомата, но тогда он не успел бы предупредить своих товарищей-партизан об опасности. Б. Лапин не вышел из окружения вместе с другими, а остался на верную гибель, чтобы его тяжело раненному другу З. Хацревину, с которым они были вместе еще на ХалхинГоде, не пришлось встретить самое страшное одному.

Отказался вылететь на самолете из окружения, отважно сражался и погиб под гусеницами вражеского танка Алтаузен. Вместе со всем экипажем подводной лодки остался на морском дне Алексей Лебедев. О том, как встретил смерть в фашистском застенке Муса Джалиль, знает весь мир.

Много писателей и журналистов погибло или пролило свою кровь при исполнении «обычных» обязанностей военных корреспондентов. В истории редакции фронтовой газеты «Красная Армия» был черный день, когда она потеряла при налете фашистских бомбардировщиков семнадцать человек. В трудных условиях работали редакции армейских и особенно дивизионных газет. Обо всем этом можно прочесть в сборниках «В редакцию не вернулся», «Рядом с героями» и других; в тех обзорах, дневниковых записях, воспоминаниях, которые опубликованы в 78-м томе «Литературного наследства». Читатель найдет здесь и очерк Н. Новоселова «Взвод писателей» — о вышедшей в июле — сентябре 1941 года газете-1-й Кировской дивизии Ленинградского народного ополчения, и «Берлинский дневник» поэта Б. Субботина, сотрудника «Воина Родины» — газеты 150-й дивизии, взявшей штурмом рейхстаг. Проста, деловита запись, сделанная В. Субботиным 1 мая 1945 года после гибели редактора В. Белова и ранения двух сотрудников: «Нас осталось мало, но газету выпускать надо...»

В «обычную» жизнь военных корреспондентов входило и участие в боевых вылетах авиации, и прыжки с парашютом, например, в район начавшегося Словацкого восстания, и участие в действиях разведки, в морских десантах (за подвиг, совершенный во время десантной операции, писателю С. Борзенко было присвоено звание Героя Советского Союза), в глубоких рейдах по тылам врага, и уж совсем «обычная», повседневная, но также требовавшая напряжения всех душевных и физических сил корреспондентская и редакционная работа. Впрочем, трудно назвать «обычной» ту работу, которую продолжал вести во фронтовой газете Евгений Долматовский после того, как попал, раненный, в окружение и прошел пешком, пробираясь к своим, через всю оккупированную Украину. Еще труднее назвать «обычной» работу Степана Злобина над газетой «Пленная правда» в фашистском лагере военнопленных.

О трудностях и опасностях работы военных корреспондентов я говорю не для того, чтобы изобразить всех писателей-фронтовиков героями.. Подвиги совершили немногие, но большинство честно выполнило свой долг. Великая Отечественная война была не только войной машин, но и прежде всего войной идей, войной мировоззрений. В ней очень многое зависело от того, насколько крепкими окажутся дух советских людей и их вера в конечную победу. Можно было отобрать назад любой оставленный рубеж, кроме одного: рубежа наших идеалов, нашей веры в них. Его нельзя было отдать врагу ни на один час. Советские писатели по призыву Коммунистической партии, по зову собственных сердец встали на этом рубеже насмерть — в этом состоял их общий подвиг.

«правда, прямо в душу бьющая...»

Говоря во время войны о газетах, Илья Эренбург замечал: «Одними телеграммами можно заполнить не четыре полосы, а сорок. Но вот газеты отводят место не только статьям, но даже рассказам, повестям, драмам. Это значит, что писатель может сказать то, чего не могут сказать другие». Действительно, художественные произведения заняли большое и важное место в периодической печати, в работе радио, во всех формах политической работы, которую вела Коммунистическая партия. Отвечая на совещании секретарей обкомов комсомола по пропаганде в сентябре 1942 года на вопрос, какие формы агитации и пропаганды являются наиболее действенными, М. И. Калинин назвал особенно понравившиеся ему произведения писателей: очерки, публицистические статьи, пьесы.

Недаром даже в самые трудные дни боев, когда были на исходе патроны и сухари, люди так тянулись к газетным пачкам (а их доставляли в числе самых необходимых, первоочередных грузов), тянулись не только потому, что хотели узнать о положении на других фронтах, но и для того, чтобы прочесть новое стихотворение, новый рассказ. Недаром с такой, почти фантастической быстротой распространялись произведения, которые давали нечто важное человеческим душам, полным гнева, боли, тревоги (со скоростью оперативной сводки дошло буквально до всех симоновское «Жди меня»).

Надо вспомнить и о стремлении многих и многих людей, боровшихся с оружием в руках против озверелых гитлеровских орд, самим попробовать силы в художественном творчестве. В редакции военных газет шел из дивизий и бригад постоянный поток стихов и прозы; ответные волны самодеятельной поэзии о Василии Теркине вызвала «Книга про бойца». Мы знаем, сколько новых писателей вышло из рядов солдат и офицеров во время войны и после нее, но мы не знаем, сколько их не успело войти в литературу — погибло, не раскрывшись, не сказав того, что они могли бы сказать. И немало тех, кто уже заявил о себе как о талантливых художниках слова, как о надежде нашей литературы, прервало свой творческий путь в самом его начале на поле сражения. Нельзя без щемящего чувства перечитывать том, занявший особое место в серии «Библиотеки поэта»: «Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне». Словно видишь молодую зеленую рощу после артиллерийского налета...

Что же несла литература военных лет своему читателю — боевому другу? Прежде всего — правду. Перечисляя во введении к поэме «Василий Теркин» все, что необходимо бойцу на войне, Твардовский так заключал этот перечень:

А всего иного пуще
Не прожить навверняка —
Без чего? Без правды сущей.
Правды, прямо в душу бьющей,
Да была б она погуще,
Как бы ни была горька.

«Василий Теркин» так и написан: это книга про бойца, который переносит все тяготы и опасности ратного труда, зная, что дома у него «догола земля раздета и разграблена», что «все в забросе» (этой теме была посвящена и другая замечательная, проникнутая духом суровой правдивости поэма А. Твардовского «Дом у дороги»), про бойца, готового все вынести, через все пройти, раз «бой идет святой и правый».

Литература военных лет не приуменьшала опасности, нависшей над нашей страной. Она показывала врага в его силе и в его слабости, вызывая одновременно ненависть и презрение к нему, — против такой горящей смеси не было защиты. Эренбург говорил в 1943 году в своем творческом отчете: «В тот момент, когда наши бойцы увидели освобожденные территории в декабре 1941 года, судьба Германии была решена». Это верно: картины, открывшиеся глазам бойцов во время декабрьского наступления, обожгли и закалили их души, и наша литература сделала многое для того, чтобы эти картины открылись для миллионов людей, чтобы миллионы людей почувствовали всю мерзость и низость преступлений фашистских захватчиков. Но она делала это и раньше, показывая с первых дней войны (вспомним, к примеру, беспощадные статьи самого Эренбурга) звериный лик фашизма.

Сила правды, которую несла в себе наша литература, — правды и в изображении врага и в изображении того, что ослабляло наши удары по врагу, — сказала в полной мере во время летнего отступления 1942 года. После разгрома гитлеровских полчищ под Москвой и после больших успехов на других фронтах это отступление было особенно тягостным. Еще незадолго до этого, в одном из своих «Писем товарищу», Б. Горбатов писал: «Нас теперь не повернешь, не остановишь. Каждый шаг вперед делает нас сильнее. Кто видел виселицы в Ростове, тот не попятится назад. Ненависть вооружает воина. Победа дает крылья». И все же врагу удалось на время остановить наши дивизии и отбросить их назад, отбросить от Ростова, где выросли новые виселицы, и выйти к самой Волге. В опубликованной в октябре 1942 года повести «Алексей Куликов, боец» (она имела подзаголовок «Рассказ о солдатской душе») Горбатов рассказывал о «лете 1942 годэ, о боях на Дону и Кубани, о том, как лавиной навалился враг, а наши войска дрогнули», как кричали вслед бойцам станичники: «Стойте, куда вы, на кого оставляете!», о стыде и горечи — двойной горечи и двойном стыде — этого отступления после первых побед.

Над страной снова нависла смертельная опасность. Стало ясно, что враг, сосредоточив огромные силы, предпринимает последнюю отчаянную попытку выиграть войну. Было сделано многое, чтобы добиться решительного перелома: укреплена дисциплина, подтянуты резервы, усилена боевая техника. И большую, очень большую роль сыграла воспитательная работа Коммунистической партии, особенно такие формы этой работы, как печать и художественная литература. В июне 1942 года была опубликована «Наука ненависти» Шолохова; в июле — пьеса Симонова «Русские люди» и его стихотворение «Убей его!»; тогда же начала печататься повесть В. Гроссмана «Народ бессмертен» — первая широкая картина войны, созданная во время войны; в августе появилась «Радуга» В. Василевской, «Нашествие» Л. Леонова, «Фронт» А. Корнейчука.

Некоторые из названных произведений были написаны до отступления 1942 года и только появились в это время. Но они оказались необычайно актуальными, так как с новой силой раскрыли звериное существо фашизма и вызвали ненависть к нему. Призыв «Убей его!» звучал с такой же силой и в пьесе «Нашествие», в словах: «Убивайте убийц, ворвавшихся в наш дом», — и в других произведениях. И не надо думать, что произведения, появившиеся позднее, такие, например, как чудесное стихотворение Михаила Светлова «Итальянец», как-то «полемизировали» с названными выше, что-то в них «исправляли». В стихотворении «Итальянец» не менее громко звучит мотив ненависти и возмездия:

Я стреляю — и нет справедливости
Справедливее пули моей!

А если здесь зазвучало и смешанное с презрением сострадание к приведенному на убой «молодому уроженцу Неаполя», если здесь было с такой силой выражено восхищение Италией — «священной землей Рафаэля», то в этом не было ничего противоречившего ненависти к фашистским изуверам. Советские писатели, как и все советские люди, никогда не переносили ненависть к германским и итальянским фашистам на складывавшуюся веками культуру Германии и Италии, никогда не ставили знака равенства между фашистскими режимами этих стран и их народами.

В годы военных испытаний люди думали о самом большом, о том, что принято называть общечеловеческим, — о любви и ненависти, о страхе и бесстрашии, о верности и предательстве, о жизни и смерти. Эти проблемы стали непосредственно касаться каждого, возникая перед каждым в повседневной боевой обстановке, требуя от каждого выработать отношение к ним не только в сознании, но и в жизненной практике. Много ли было в пору войны произведений, в которых не вспоминалось бы о смерти? Но когда в популярнейшей песне Алексея Суркова говорилось, что «до смерти — четыре шага», то речь шла не о силе смерти, а о том, что даже близкая смерть слабее далекой, согревающей из дальней дали любви. В поэме «Василий Теркин» есть целая глава на эту тему — «Смерть и воин», и, пожалуй, ни в какой другой части поэмы не звучит так мощно гимн жизни. Из стихотворения «Жди меня» стали крылатыми слова: «всем смертям назло».

Главное заключалось в том, что проблемы жизни и смерти, любви и ненависти и другие были неотделимы в литературе поры Великой Отечественной войны от задач защиты Родины и разгрома фашизма, от борьбы за коммунистические идеалы. Иначе и не могло быть в литературе, которая отразила не только народную трагедию, но и бессмертный подвиг народа. Именно соединение трагического и героического начал определяло главное качество литературы Отечественной войны: ее мужественную правду, которая не подавляла, а закаляла душу читателя и вдохновляла его на борьбу. В этой литературе все общечеловеческое приобретало острейший политический смысл, а все политическое выражало подлинно общечеловеческие интересы. На такой почве не могли не родиться произведения, отвечающие насущным потребностям эпохи и двигающие вперед искусство.

большое искусство великой войны

За четыре года (и каких года!) было создано так много художественно яркого и ценного, что есть все основания говорить о подъеме литературы в ту труднейшую пору.

Трагическая эпопея осажденного Ленинграда неотделима в сознании миллионов людей от повседневного литературного подвига Н. Тихонова, О. Берггольц, В. Вишневского, В. Кетлинской, В. Инбер, Н. Чуковского, Л. Успенского и других писателей, — об этом хорошо рассказано в сборнике «Рядом с героями». К радиопередачам «Говорит Ленинград» прислушивались все фронты, вся страна, весь мир. Насколько беднее было бы представление нашего народа и всего человечества о Сталинградской битве — об этом поворотном пункте войны и одном из поворотных пунктов истории — без произведений В. Гроссмана, К.

Симонова, В. Некрасова, М. Луконина и других! Думая о героическом гарнизоне Ханко, мы сразу вспоминаем и о поэзии М. Дудина. А оборона Севастополя, оборона Одессы... Да какое из сражений Великой войны не имело своих изобразителей, своих певцов!

В годы тягчайших испытаний многие художники слова, такие, как К. Симонов, А. Кулешов, О. Берггольц, М. Алигер, В. Кожевников и другие, впервые по-настоящему нашли дорогу к сердцам миллионов читателей. По-новому зазвучали тогда голоса многих выдающихся мастеров слова — Н. Тихонова, А. Ахматовой (ее глубоко патриотическое стихотворение «Мужество» открыло новую страницу в ее творчестве), М. Бажана (написанное им в 1941 году стихотворение «Клятва» стали называть боевым гимном украинского народа), М. Светлова, С. Маршака, А. Прокофьева, С. Вургуна, Г. Леонидзе, П. Антокольского, старейшего казахского акына Джамбула... Этот список должен был бы включить в себя десятки имен.

Разве можно сегодня по достоинству оценить советскую и мировую художественную публицистику, забыв о созданных в годы Великой Отечественной войны статьях и памфлетах А. Толстого, И. Эренбурга, Л. Леонова, А. Исаакяна, В. Вишневского, Б. Горбатова, Я. Галана и других? Можно ли сегодня характеризовать жанр очерка, обходя очерки И. Гроссмана, К. Симонова и их многочисленных товарищей по этому виду литературного оружия? Жанр рассказа в ту пору поднимался на высоту «Науки ненависти» М. Шолохова и «Русского характера» А. Толстого, «Ленинградских рассказов» Н. Тихонова и «Морской души» Л. Соболева, «Марта — апреля» В. Кожевникова и т. д. А песни? Песни, созданные в военные годы советскими композиторами на тексты М. Исаковского, А. Суркова, Е. Долматовского, А. Фатьянова и других поэтов, были оценены бойцами и всем народом как «душевные боеприпасы». И мы знаем, что тогда развивались не только «малые», «оперативные» жанры, — каждый назовет сейчас созданные в годы войны, но волнующие до сих пор поэмы, повести, романы.

Не имея возможности подробно разбирать здесь эти произведения, я хочу отметить лишь тот факт, что наша литература пережила за четыре года войны интересную и сложную эволюцию. Если говорить об одной из ее определяющих тенденций, то надо сказать, что у многих писателей (разумеется, так было не у всех, — в литературе военных лет получили развитие разные стилевые течения) лирическое начало все более уступало место началу эпическому, страстный монолог — вдумчивым показаниям свидетеля, патетика — анализу. Вначале проза была даже в своих больших формах близка к поэзии, у Б. Горбатова тяга к открытой эмоциональности и романтической приподнятости сохраняется и в его волнующей повести «Непокоренные», опубликованной в 1943 году. Но в том же 1943 году начинают публиковаться главы из романа М. Шолохова «Они сражались за Родину», для которых характерны исключительная плотность реалистической ткани, пластичность изображения, глубина психологического анализа.

В 1943 — 1945 годах стремление воссоздавать военные сражения во всей их «повседневности», со всем их «бытом», показывать бойцов как «тружеников войны» становится в литературе преобладающим, — примерами могут служить повести К. Симонова «Дни и ночи», А. Бека «Волоколамское шоссе» и другие. Впрочем, и это стремление получало разные воплощения — разные не только по художественной глубине и силе, но и по стилевой природе, по тем творческим задачам, которые ставили перед собой писатели.

Может быть, ни одно произведение не выразило с такой полнотой самый дух литературы Отечественной войны, как «Молодая гвардия» А. Фадеева. Как случилось, что люди, сформировавшиеся в условиях нового, социалистического строя, не знавшие неравенства и эксплуатации, не знавшие никакого классового господства над собой, люди, устремленные к свободной и чистой жизни, к культуре, к искусству, к красоте и, казалось бы, совершенно не подготовленные к борьбе с озверелым, не признающим никаких нравственных норм, оскверняющим все святое прагом, — как случилось, что они оказались сильнее врага и победили его? Писатель отвечал образами своего вдохновенного

произведения: именно в нравственной чистоте новых людей, именно в их человеческой красоте, созданной миром социализма, воспитанной коммунистическими идеалами, и заключен источник их силы и непобедимости.

Никто не способен воевать так бесстрашно и самоотверженно, как мирные люди, когда плодам их свободного труда, их творчества, их героических усилий начинают угрожать захватчики. Никто не может быть таким неистовым в гневе, как добрые люди, когда убийцы поднимают руку на все, в чем воплощено высшее благо человечества, залог его счастливого будущего. Ощущение красоты и мощи достигнутого советским народом, ощущение необратимости тех исторических перемен, которые внесла в жизнь победа социалистического строя в нашей стране, — вот что выразила с особенной остротой и силой литература военных лет.

Вопрос о том, каковы те качества советского человека, которые сделали его победителем в величайшей из войн и которые позволят ему одержать такие же победы на мирных фронтах — по пути к полному торжеству коммунистических идеалов, ставился и во многих произведениях, начатых или задуманных во время войны, но появившихся несколько позднее, в таких, как «Звезда» Э. Казакевича, «В окопах Сталинграда» В. Некрасова, «Спутники» В. Пановой, «С фронтовым приветом» В. Овечкина, «Знаменосцы» О. Гончара...

Тема Великой Отечественной войны продолжает быть в нашей литературе и теперь одной из самых важных и ключевых. Наши писатели обращаются и будут обращаться к той трагической и великой поре, когда были подвергнуты самому тяжелому экзамену — и с честью его выдержали — советский строй, советская идеология, советский человек, когда прошла через самое большое испытание — и с честью его выдержала — советская литература.

Я ничего не сказал о других видах художественного творчества, а каждый из них внес свою лепту в достижение победы над врагом. Советская музыка в те годы обогатила и украсила свою историю Седьмой симфонией Д. Шостаковича и многими замечательными песнями, которые звучат до сих пор в нашей стране и на всех континентах, напоминая о том, о чем недопустимо, преступно забывать. А какой высоты достигло в ту пору искусство призывного плаката и политической карикатуры! Уже немало написано о самоотверженной работе фронтовых театральных и концертных бригад. И разве можно забыть о том, что сделали в годы войны наши фотокорреспонденты и кинодокументалисты? Выставки фронтовых фотографий вызывают до сих пор огромный интерес, а кадры военной кинохроники, вмонтированные в современные художественные фильмы, нередко выделяются не только своей жизненностью, но и подлинной художественностью: эти кадры сумели «уловить» и закрепить на века такие мгновения, когда действительность сама приоткрыла свою истинную сущность.

Да и говоря о самой литературе, я привел лишь отдельные примеры, характеризующие подвиг советской литературы в годы Великой войны. Но и они не оставляют сомнений в том, что говорить надо именно о подвиге, что это слово наиболее точно определяет значение того вклада, который сделали советские писатели в борьбу и в победу над врагом. Ни одна другая страна, оказавшаяся на пути гитлеровских полчищ, и даже все другие страны, вместе взятые, не получили от своей литературы такой единой и самоотверженной поддержки, как наша, такого заряда боевой энергии, ненависти к врагу, непоколебимой веры в свои идеалы.

Выше было сказано, что наш народ дважды спасал человечество от ужасов мировых войн — когда он совершил Октябрьскую революцию и когда он сыграл решающую роль в разгроме фашизма. Теперь к сказанному надо добавить, что эти два события были неразрывно связаны друг с другом. В годы Великой Отечественной войны исход борьбы был определен мощью того социального строя, который возник в результате Октябрьской революции, несокрушимой правильностью учения В. И. Ленина, величием

коммунистических идеалов. Надо еще добавить, что все это продолжает оказывать огромное влияние на сегодняшнюю жизнь человечества. То, что знамя, поднятое весной 1945 года над берлинским рейхстагом, было красного цвета, мешает и через четверть века соединить отдельные войны, почти не прекращающиеся на нашей планете, в одну общую, термоядерную, третью мировую войну и помогает прогрессивным силам мира бороться за ее предотвращение.

Буржуазные идеологи идут сейчас на любую ложь и фальсификацию, чтобы принизить роль нашего народа в разгроме фашизма, чтобы объяснить этот разгром случайными обстоятельствами, просчетами гитлеровского командования, в лучшем случае — исконными национальными чертами нашего народа, сложившимися до Октября. Произведения, созданные советскими писателями в те годы, когда решался вопрос о жизни и смерти нашего государства и когда решалась судьба истории, отбрасывают прочь подобного рода измышления. Они показывают, какую новую, поистине непобедимую силу приобрели лучшие национальные традиции нашего народа, всех народов нашей страны в условиях социалистического строя. Они наглядно свидетельствуют о том, что будущее именно за этим строем, выдержавшим самую строгую проверку на прочность, на справедливость, на благородство.

Вот в чем непреходящее значение советской литературы периода Великой Отечественной войны.

стихи

Агния Барто

Почтальону грустно

Отчего взгрустнулось
Тоне-письмоносцу!
Встала рано утром,
Ходит по морозцу.

Всем приносит нынче
Радостные вести.
Отчего ж у Тони
Сердце не на месте?

Ей от грустных мыслей
Никуда не деться,
Ждать от друга писем
Ей хотелось с детства,

Но никто не пишет
Тоне-комсомолке.
Все ее подружки
Здесь живут, в поселке.

Ей ни разу в жизни
Писем не вручали.
Грустно письмоносцу...
Ходит по морозцу
Почтальон в печали.

Мы не заметили жука

Мы не заметили жука
И рамы зимние закрыли,
А он живой, он жив пока.
Жужжит в окне.
Расправив крылья.

И я зову на помощь маму:
— Там жук живой!
Раскроем раму!

Так на так

Решили два Ивана
Меняться без обмана.

А что менять —
Не в этом суть.
Хоть что-нибудь
На что-нибудь.

Игрушечного зайку
На гвоздики и гайку,
А гвоздики и гайку
Потом опять на зайку.

Друзья не ищут выгод,
Им пошуметь, попрыгать,
Кричать: — Меняю кошку
На сломанную брошку,
А сломанную брошку
Потом опять на кошку!

Решили два Ивана
Меняться без обмана.

А что менять —
Не в этом суть,
Хоть что-нибудь
На что-нибудь.

Так целый день менялись
И при своем остались.

За цветами в зимний лес

Никому не верится,
Чудо из чудес:
За цветами девица
Ходит в зимний лес.

Он стоит не в зелени,
Как в июльский зной,
Он снежком побеленный,
Блещет белизной.

Но смеется девица:
— Если вам не верится,
Показать могу
Яркий коврик вереска
Прямо на снегу.

Летом он не ценится,
Скромное растеньице!
Но зато как весело
Увидать самой
Огонечки вереска
На снегу зимой.

Все ушло в песок

Вчера сказал вожатый:
— Ребятам нужен труд,
Пускай возьмут лопаты,
Усадьбу уберут.
Песка желтеет груда
У дома на виду.
Убрать ее отсюда.
Порядок наведу.
Убрать ее отсюда,
Пускай лежит в саду.
Тут сразу вдохновенье
Нашло на весь отряд,
Песок таскают звенья,
Носилки тащат в сад.

Работают с подъемом,
И вот через часок
Уже не перед домом —
В саду лежит песок.

Наутро вновь вожатый
Твердит: нам нужен труд!
Пускай опять ребята
Усадьбу уберут.

Но убран двор усадьбы.
Куда отряд послать бы!

И вдруг решил вожатый:
Работу здесь найду.
Зачем идти куда-то!
Песок лежит в саду.

Песка желтеет груда,
Мешает на пути.
Убрать ее отсюда.
Во двор перенести!

И вот, без вдохновенья,
То в сад, а то во двор
Песок таскают звенья.
Таскают до сих пор...

Наш кормилец

Поселился в нашем доме
Человек лет сорока.
Все мальчишки удивились:
Не похож на старика!

Коренастый, невысокий.
Он сидит на солнцепеке,
На жаре, без козырька.

Он взбирается без лифта
На двенадцатый этаж.
Говорят ему соседи:
— Как дела, кормилец наш?

Почему его кормильцем
Называет весь подъезд!
Никого же он не кормит.
Сам мороженое ест.

Почему же он кормилец!
Все мальчишки удивились.

— Почему вы на припеке,
На жаре, без картуза?

Молодой вы или старый, —
Задают вопрос в глаза.

Непонятен был ответ:
— Я не очень юных лет.
Но до старости далеко.
Что касается припека,

То, как старый хлебопек,
Уважаю я припек.
Нам на солнышке не жарко,
У печей погорячей.

Тут мальчишки закричали:

— Хлеб печет для москвичей!

Виктор Боков

Сказ о Волге

Волга плещется
Белой рыбою,
В берегах лежит
Синей глыбою.

С берегов ее,
С молодецких плеч
Смотрит на воду
Богатырский лес.

Волга витязем
По земле идет,
На спине она
Камский лес несет.

Волга — мать-река,
Ты могучая,
Ты суровая.
Ты певучая.

Волга — силища,
Волга — вольница.
Каждый с гордостью
Ей поклонится.

Скажет: — Матушка,
Я твой сын родной,
Я пришел к тебе,
Чтоб побыть с тобой.

Над волной твоей
Вольно дышится.
Богатырская
Песня слышится.

Волга — мать-река,
Вся ты вспенена.
Над тобой, как свет,
Имя Ленина!

Валентин Проталин

В дороге

Встречаю перемены осторожно.
Но случай может все перевернуть:

то ленишься собраться в близкий путь,
то с места вдруг —
и весел дух дорожный.

На встречном ветре дышится с трудом.
И чем-то все вокруг давно знакомо.
Чем дальше удаляешься от дома,
обширнее становится твой дом.

И как тебя волнует быстрый бег.
Ты ищешь чудо в каждом человеке.
И словно возвращаются к тебе,
бегут назад дома, мосты и реки.

Лети вперед!
Люби свою Россию!
Ты сын ее.
Как это много — сын!
И ветры развеселые, лихие
метут лесами лежбища равнин.

В дороге остановка — лучший дар.
И ты — в тепло,
где посошок не лишний.
Нальешь себе настойки горькой вишни.
И хорошо бы — звонкий самовар.

А выйдешь в холод —
все белым-бело.
Кусты, дома, деревья замело.
Вниманья знак на месяце белесом.
Обходчиком скрипит сухой мороз.
Поблескивает снег далеким плесом.
И бьются звезды в неводах берез.

*

Душа не знает, кто она.
Но выпадет ее мгновенье,
и отзывается струна,
не ощутив прикосновенья.

Себе уж не принадлежишь,
и все в окрестном мире слышно.
Ты с ним един.
Движеньем лишним
с ним общности не повредишь.

Невдалеке аэродром
гудит, как за перегородкой;
в ответ ему — крик птиц короткий.
что стаей покидают дом;

костер невысохшей листвы
печалит горьковатым дымом...
Как это все необходимо,
и не подозревали вы.

Неосторожная затея:
стоишь как будто на краю
бессмертия,
еще острее
минутность чувствуя свою.

Минутность...
Что ее игра мне!
Когда душа взойдет во мне,
со всей землей,
как равный с равной,
я остаюсь наедине.

Последняя ночь

Теперь,
когда осталась ночь одна,
мне кажется, что я уже в дороге,
уже в пути.
Пройдет мгновенье сна,
и отплыву.

Охвачен чувством строгим,
гляжу вокруг.
Потом
в краях иных
я вспомню Каспий в нефтяных дорожках,
где светлый остров,
как на курьих ножках,
стоит средь моря на ногах стальных.

Я, не простившись, уж прощаюсь с ним.
И пыль его — сродни пыли дорожной.
Все бы увез, что взгляд возьмет один,
но, как и прежде, это невозможно.

Так человек устроен,
что среди
людей и мест себя он оставляет,
и, не надеясь отыскать следы,
уйдя, недолгий кров благословляет.

А место, что осталось без него,
живет в ином как будто измерены,
быть может, и с похожим настроением,
но и не повторяя ничего.

По-своему все движется вдали...

На остров нефти
наши судьбы схожи:
когда-нибудь свое отслужишь тоже,
все реже принимая корабли.

И море, что смирил однажды ты,
тебя в пучину медленно поглотит...
В бескрылом пролетая самолете,
быть может, разглядит твои черты
потомок дальний по остаткам труб
и скажет, поглядев в окно недолго:
здесь прадеды мужской вершили труд
среди бурь и гроз
во исполнены? долга.

к нашей вкладке

Сергей Баруздин

ИСКУССТВО И ВОЙНА

Советское изобразительное искусство, впитавшее в себя и традиции классиков и все, что дала новая эпоха, — многоцветие красок разных народов и разных культур, вошедших под ленинским знаменем в единый Союз, укрепило мысль о том, что искусство и народ — понятия неотделимые. В этом смысле характерна и та вкладка, к которой меня попросили написать несколько строк.

Вы увидите здесь репродукции работ военных художников, что особенно закономерно в дни, когда все мы отмечаем двадцатипятилетие нашей великой победы над гитлеровским фашизмом.

Но дело не только в понятии «военные художники», хотя лично для меня, старого солдата и литератора, до сих пор верного военной теме, понятие это безмерно дорогое. Думается, куда важнее подчеркнуть мысль, что все наше изобразительное искусство, рожденное Октябрем, включая и те образцы, которые представлены сегодня на вкладке, всегда было и остается глубоко патриотичным, выражающим суть и дух народа, вот уже пятьдесят третий год именуемого во всех уголках земного шара новым понятием — советский.

И если о настоящем искусстве, в том числе и о советском изобразительном искусстве, спорят, то бесспорным, несомненно, остается одно: в лучших своих образцах это искусство всегда отражало жизнь и подвиги своего народа. Тут можно вспомнить многое: и блистательные работы Иогансона, Чуйкова, Грабаря, Сарьяна, Дейнеки, Юона, Петрова-Водкина, Рылова, Пластова, Фаворского, Дени, Моора, в которых отражена целая эпоха нашей жизни, и неповторимые произведения скульпторов — Андреева, Коненкова, Шадра, Мухиной, Манизера, Меркурова, Азгура, и, может быть, куда более поздние по времени, но такие шедевры, как творения Пименова, Кибрика, Аникушина, Касияна и Шовкуненко... А сколько можно назвать еще имен, без которых немислимо представить себе советское изобразительное искусство!

И вот тут, возвращаясь к началу заметки, я хочу сказать, что летопись эта была бы неполной, если забыть совершенно особое объединение советских художников, особое и вместе с тем типичное — Студию военных художников имени М. Б. Грекова.

Может, нынешний молодой читатель и слышал о Студии Грекова, о грековцах, но думается, что не каждый расскажет о самом Грекове, имя которого носит студия. А ведь мы, люди старшего поколения, никогда не забудем грековскую «Тачанку» и его «Бой под Егорлыкской».

Участник гражданской войны, Митрофан Борисович Греков, стал, пожалуй, одним из первых в советском изобразительном искусстве певцом подвига, крупнейшим нашим баталистом.

Вот и здесь вы увидите две работы Грекова: его потрясающую по размаху и реалистической точности картину «Чертов мост» и возвышенную, романтическую картину времен гражданской войны «Трубачи Первой Конной армии».

С 1934 года работает Студия военных художников имени М. Б. Грекова. Многие студии, и об' этом важно вспомнить в майский победный месяц, были активными участниками Отечественной войны. Вспомним сегодня молодого талантливого художника К. Гогоберидзе, павшего смертью храбрых в апреле 1942 года. Вспомним Н. Беляева и Г. Прокопинского, получивших на фронте тяжелейшие ранения. Вспомним нынешнего руководителя студии, народного художника СССР Н. Жукова, который прошел тысячи километров фронтовых дорог. Вспомним и о том, что из студийцев-грековцев, помимо названных, вышли такие прекрасные мастера, как Б. Йеменский, В. Богаткин, М. Маторин, В. Климашин, П. Пинкисевич.

Трудно представить на одной вкладке работы всех грековцев. И все-таки хочется, чтобы читатель «Юности» увидел и понял, как интересны работы грековцев, как разнообразны они по манере.

Вот, например, картина П. Кривоногова «Комиссар крепости». Уже сам тон и стиль этой работы глубоко символичны. Перед нами — герой, коммунист, попавший в трагические обстоятельства, и одновременно это человек, со всеми присущими человеку качествами. Но именно советское начало говорит о герое картины, как о личности особого склада. Он горд и непреклонен в окружении врагов, он — тот победитель, который и через смерть пронесет от стен Брестской крепости до стен Берлина свою нестигаемую волю и убежденность.

Картина Н. Присекина «Подвиг курсантов» тоже возвращает нас к первому периоду Отечественной войны, к героической обороне Москвы. В основу этой сильной работы положен жизненный факт, о котором уже рассказывала «Юность», — героический подвиг курсантов Подольского артиллерийского училища, задержавших продвижение крупных соединений гитлеровцев под Москвой.

Очень мне нравится и по краскам и по выразительности своей картина И. Бордачева «Будет жить». Та же тема подвига, мужества, героизма, уверенности в нашей победе, что пронизывает работы Кривоногова и Присекина, нашла здесь свое особое выражение. Да и «материал» картины особый, неповторимый. Думающий, мыслящий художник — так мне хочется сказать о Бордачеве.

Будням сегодняшней армии посвящают свое искусство многие студии-грековцы, и в частности, В. Дмитриевский и Ф. Усыпенко, работы которых «Десантники» и «Тревога» показывает «Юность». Нетрудно убедиться, что художники эти очень непохожие. Масштабность и размах рисунка Дмитриевского никак не спутаешь с реалистичной точностью беспокойной, действительно тревожной картины Усыпенко. Но, пожалуй, и в той и в другой работе нельзя не заметить — поистине добрых традиций, рожденных патриотическим объединением советских художников — Студией имени Грекова.

Многое, очень многое вспоминается сейчас, через двадцать пять лет после окончания Великой Отечественной. Но среди этого многого никогда не забудется и подвиг нашего искусства, подвиг, достойный самого высокого чувства признательности.

Евгений Долматовский

БЕРЛИН

1-2 МАЯ 1945 ГОДА

В жизни каждого человека есть дни, запечатлевающиеся в памяти навечно. Такими днями, вернее, таким днем было для меня 1 мая 1945 года. Прошло четверть века, а я вижу и сейчас события этого дня, словно все происходило только вчера.

Мы были в Берлине, гремели выстрелы, и наступал день майского праздника, преисполненный предчувствия скорой победы и окончания войны. Почти четыре года провел я на фронте. Моя должность в военных служебных расписаниях была сформулирована кратко: поэт. Это значило, что я стреляю во врага стихами и песнями. Но идиллическое название моей должности не помешало получить ранения в голову, руку и ногу, попасть в самом начале войны в окружение, узнать войну не со стороны. В должности поэта я был в Сталинграде, на Курской дуге, при форсировании Днепра, Вислы и Одера и вот, наконец, оказался в Берлине.

Не знаю, были ли когда-нибудь и в каких-нибудь других армиях офицеры на должности поэта. Мне кажется, что это явление, характерное именно для Красной Армии — Советской Армии. В армиях несправедливого дела не может быть поэтов. У нас же на фронте их было более ста...

В ночь под первое мая меня вызвал к телефону генерал Василий Чуйков, командующий 8-й гвардейской армией.

— Приезжай на наблюдательный пункт. Тебе и Всеволоду Вишневскому будет интересно.

Я разбудил корреспондента «Правды» Вишневского. Было два часа ночи. Вишневский отсыпался после трех суток, проведенных в наступающем батальоне.

— Едем к Чуйкову!

— Есть!

Вишневский вскочил, лихо заломил черную морскую фуражку.

В переулке, примыкающем к Темпельхофу, находился наблюдательный пункт комапдарма Чуйкова. Собственно, наблюдательным пунктом называлась квартира в бельэтаже большого дома. Вряд ли можно было что-то наблюдать из его окон — пожалуй, только соседние дома. Но бой шел рядом, на улицах. Чуйков вышел нам навстречу. Было ему тогда 45 лет, но положение старшего и легендарная слава делали его в наших глазах чуть ли не патриархом.

Меня связывало с Чуйковым старое знакомство. В 1939 году осенью в городе Бресте мы встретились впервые — и друг с другом и с немцами. Немецкие войска рвались на Восток, а мы были в рядах тех, кто брал под охрану и возвращал Родине земли, отторгнутые Польшей Пилсудского от Советской Белоруссии.

В Бресте Чуйкову пришлось вести переговоры с немецкими генералами. Среди них был и Гудериан. Я помню этот разговор при свечах в здании какого-то училища.

Потом судьба свела нас в Сталинграде. Чуйков командовал армией, прославившейся своей стойкостью у берегов Волги.

Моя роль фронтового поэта была весьма скромной в этой битве, но мне не раз приходилось наблюдать командующего армией, расположившего свой командный пункт в ста метрах от позиций противника и ни разу не сделавшего шагу назад.

Потом все эти военные годы мы встречались вновь и вновь, и, уже начиная с вступления на территорию Польши, я почти безвыездно находился в армии, которой командовал Чуйков.

Не удивительно, что под Берлином Чуйков часто вызывал меня, подсказывал, в какую часть надо ехать, чтобы стать свидетелем важного боя.

Чуйков сказал нам:

— Сейчас прибудет делегация от Гитлера. Вы должны записывать все подробно. Стенографисток нет, а дело важное. Собственно, насчет Гитлера сообщила уже какая-то подпольная радиостанция: он покончил с собой. Ладно, посмотрим...

Для переговоров готовили комнату, служившую в той, прошлой жизни столовой. Обеденный стол, сервант, тумбочка для радиоприемника. На стене довольно приличная копия картины «Тайная вечеря».

Я обратил внимание командарма на эту картину. «Ни черта, — сказал он, — за нашим столом не будет предателей!»

Я посмотрел на часы. Было 3 часа 55 минут утра 1 мая. В коридоре раздались шаги. Чуйков устало предложил присутствующим генералам и нам садиться.

Ввели немецкую делегацию. Первым вошел генерал Кребс — в дверях сопровождающий немецкий солдат стянул с его плеч плащ. Кребсу было лет сорок с небольшим. Лысый, поджарый, в мундире, стянутом поясом, он держался по-военному прямо.

За генералом следовали полковник и майор.

Мы не поднялись со своих стульев. Немец сел, представившись: начальник генерального штаба сухопутных войск генерал от инфантерии Ганс Кребс. И сразу заявил:

— Я просил бы начало переговоров вести с вами наедине.

— Со мной Военный совет, — сухо отрезал Чуйков и лукаво посмотрел в сторону двух писателей, приготовивших блокноты и карандаши. В комнате, действительно, находились члены Военного совета 8-й гвардейской армии Пожарский, Духанов, Семенов, Пронин, но мы с Вишневым смутились, причисленные к этому высокому совету. Я позволю себе привести здесь начало своей записи.

Кребс. Я, генерал Кребс, уполномочен передать заявление решающей важности Советскому командованию.

Чуйков. Я, генерал-полковник Чуйков, уполномочен маршалом Жуковым выслушать вас.

Кребс. Я повторяю, что мое сообщение будет исключительно важным и особо секретным.

Чуйков. Пожалуйста.

Кребс. Я сообщаю об этом первому немцу. 30 апреля Гитлер покончил жизнь самоубийством.

Чуйков. Простите, мне это уже известно.

Кребс ошарашен. Торжественная поза его изменилась, словно из него выпустили воздух. Он увял и сник.

Чуйков просит, чтобы принесли армейскую газету — в ней напечатан радиоперехват о смерти Гитлера. Кребс долго и нудно говорит — в те минуты, которыми помечено радиоизвестие, Гитлер был еще жив. Но потом, совсем недавно, несколько часов тому назад, он покончил с собой — 30 апреля в 15 часов 50 минут.

Итак, для нас заявление Кребса не столько новость, сколько подтверждение.

Мы сидим за овальным обеденным столом под картиной «Тайная вечеря». Стол накрыт картой Берлина, как скатертью. Советских представителей человек 10, немцев — трое: Кребс, полковник генштаба фон Дуффинг и майор химической службы — переводчик. Он, оказывается, по гражданской профессии инженер и в качестве специалиста работал на Днепрострое, где и научился русскому языку. С нашей стороны тоже есть молодой переводчик, офицер по фамилии Матусов.

Четвертый немец — рядовой солдат — сидит в коридоре, у незакрытых дверей. У него на коленях большая зеленая сумка, она расстегнута, я вижу аккуратно сложенные и завернутые в целлофан бутерброды. Видимо, делегация не рассчитывала на угощение у нас. Кребс вынимает из портфеля два листа бумаги. Я сижу наискосок от него и благодаря недостатку своего зрения — дальновзоркости — легко читаю на расстоянии. Это,

несомненно, мандат на русском и немецком языках. Оба экземпляра скреплены двумя подписями — Иозефа Геббельса и Мартина Бормана.

Я переписываю в свой блокнот текст этого документа.

«Сообщаю вождю советского народа, что сегодня в 15 часов 50 минут фюрер самовольно ушел из жизни».

Кребс предъявляет свои полномочия. Это происходит так: генерал от инфантерии бегло, почти про себя произносит текст по-немецки, а его переводчик — майор химической службы — говорит по-русски.

«Согласно завещанию фюрера, все полномочия власти переданы гросс-адмиралу Деницу, а также рейхсканцлеру Геббельсу и секретарю партийной канцелярии Борману. Я уполномочен Геббельсом и секретарем Борманом вести переговоры с вождем Советского Союза. Эти переговоры имеют целью выяснить отношение между немецким народом и Советским Союзом, найти фундамент для мирных переговоров, для благополучия обоих народов, понесших наибольшие жертвы в этой войне».

Кребс передал бумаги Чуйкову. Тот пустил их по рукам присутствующих. Когда документ был прочитан, наступила тишина. Кребс хотел придать торжественность этой минуте, подчеркнуть историческую значительность своей миссии. Он вынул из-под брови монокль, выпрямился. Советские генералы закурили.

Кребс, первым прервавший молчание, неожиданно заговорил по-русски. Не очень хорошо, но вообще-то понятно. Наш переводчик удивленно смотрел на него.

— Переводите дальше, — приказал ему Чуйков.

— Он говорит по-русски, — возразил переводчик.

— А я не понимаю. Все равно переводите! Чуйков связался по телефону с маршалом Жуковым и кратко доложил о том, что происходит.

— Они обращаются к нам на основе полной капитуляции или нет? — спросил маршал Жуков. Телефон был мощный, и все присутствующие слышали бас маршала в трубке.

Чуйков повторил вопрос.

Кребс. Нет, есть другие возможности.

Чуйков подробно сообщил Жукову о самоубийстве Гитлера, о том, кому передана власть, о том, что Кребс недавно стал начальником штаба сухопутных войск. Было пересказано письмо-полномочие генерала от инфантерии.

Не стесняясь Кребса и уже зная, что он понимает по-русски, Чуйков рассказывал маршалу обстановку переговоров с иронической интонацией. Идет речь о Геринге, Гитлере, Риббентропе и других — где они, что делают в данный момент. Со слов Кребса, оказывается, многие из них больны. О Гиммлере — особый разговор. Кребс тут кричал, что Гиммлер — предатель, что его переход к союзникам и попытки создать новое правительство в Германии очень огорчили Гитлера и даже повлияли на принятие решения о самоубийстве. (Впрочем, Кребс трепещет и перед мертвым Гитлером, он говорит не «отравился» или «застрелился», а «ушел из жизни».)

Обстановка переговоров складывается так: несколько фраз, тут же переводимых и немецким и нашим переводчиками, и вновь Чуйков докладывает по телефону Жукову.

Это создает паузы, когда напряжение спадает и между советскими командирами и начальником генерального штаба сухопутных войск вермахта происходит обмен репликами, не имеющими прямого отношения к теме.

Например, Кребс пишет на листе бумаги Schukoff u Schuikoff и спрашивает: Жуков и Чуйков — это одно и то же? Ему объясняют то, что он, конечно, и так хорошо знает: Жуков — командующий 1-м Белорусским фронтом, а Чуйков — командующий гвардейской армией, оборонявшей Сталинград.

Постепенно мы начинали понимать, что Кребс пришел не сдаваться, а вести хитрую игру.

Но, кажется, Чуйкову и Жукову, все время включающемуся в разговор при посредстве телефона, маневр противника давно ясен.

Гиммлер, убежавший из Берлина, ведет переговоры с союзниками, а Кребс от имени нового рейхсканцлера Геббельса обращается к Советскому командованию. Они, вероятно, надеются, что мы и союзники перессоримся, столкнемся, а это даст возможность гитлеровскому правительству выиграть время, удержаться, на худой конец, бежать, во всяком случае — спастись.

Продолжаю цитировать свою запись. Чуйков. Разговор идет о Берлине или о всей Германии?

Кребс. Я уполномочен двояко — всей германской армией и войсками, находящимися в Берлине. Доктор Геббельс тоже находится здесь, в Берлине.

Чуйков. Мирные переговоры ведутся тогда, когда пушки не стреляют. Однако вы слышите стрельбу, производимую немецкими войсками.

Кребс. Я уполномочен, если переговоры затянутся, прекратить огонь под Берлином. Я заявляю, что немцы еще не знают о смерти фюрера.

(Звонит телефон. Чуйков докладывает маршалу суть Дела.)

Чуйков (не отводя трубки, передает вопрос Жукова). Вы обращаетесь к нам с предложением на основе полной капитуляции или нет? — вновь спрашивает маршал.

Кребс. Я уполномочен выяснить, можно ли установить мир без полной капитуляции?

Чуйков. Эта делегация будет вести переговоры только с Советским правительством или с союзниками?

Кребс. Полномочия могут быть расширены, но мы заключены в Берлине и не можем подойти к другим властям.

Чуйков (передал Жукову ответы Кребса и вновь обращается к генералу от инфантерии). Маршал спрашивает, ведете ли вы переговоры на основе общей капитуляции или нет? Мы можем говорить только, если это предложение относится и к нам и к союзникам.

Кребс. Для того, чтобы иметь возможность дальнейшего ведения переговоров, прошу временно прекратить военные действия.

Чуйков. Два вопроса: 1) о союзниках, 2) полная капитуляция или нет?

Кребс. Я имею другое предложение, поскольку новое правительство сможет существовать как легальное правительство Германии.

Чуйков. Полная капитуляция или нет?

Кребс. Пока я незнаком с общей обстановкой, я не могу об этом говорить. Как только ознакомлюсь с общей обстановкой, я смогу говорить о полной капитуляции. Пока я прошу о перемирии для переговоров.

Чуйков. Берлинская группировка согласна сейчас капитулировать?

Кребс. Мы просим перемирия, чтобы согласовать со всеми немцами сложившееся положение.

Чуйков. В отношении берлинской группировки — для полной капитуляции или нет?

Кребс (по-русски). Мы просим перемирия, чтобы уяснить или легализовать свое новое правительство для всей Германии.

(Наш переводчик повторяет эту фразу, как бы переводя с ломаного русского на чистый русский язык.)

Чуйков (после разговора с Жуковым по телефону). Вопрос о перемирии может решаться только на основе полной капитуляции, согласно договоренности «большой тройки» — Сталина, Рузвельта и Черчилля.

Я переписал этот диалог из своей записи, которая сохранилась в архиве Министерства обороны СССР. Переписал и подумал: а ведь этот разговор мог бы без правки войти в пьесу, скажем, историческую драму. Мне кажется, что однообразие ответов Чуйкова усилило бы драматизм ситуации. В этом однообразии есть свое достоинство. Советский

генерал не просто твердит одно и то же, он настаивает на концовке, которая четыре года виделась ему сквозь огонь и дым. Еще нет никаких директив из Москвы, но я уверен, будь на месте маршала и генерал-полковника полковник или майор, лейтенант или рядовой солдат, они говорили бы с неприятелем точно так же, требовали бы того же.

Кребс каждый раз, когда в него нацеливается слово «капитуляция», вжимает голову в плечи, чуть морщится.

Кребс. Я опасюсь, что до оглашения завещания Гитлера некоторые другие представители вели переговоры с союзниками.

Чуйков. Наше Информбюро об этом уже сообщило. Зачем опасаться?

Немецкий переводчик. Мы слышали об этом по радио еще при жизни Гитлера.

Кребс нервно и с каким-то отчаянием подает реплику:

— Я прошу не обращать внимания на высказывания переводчика, являющиеся его собственными мыслями. Я достаточно сам говорю по-русски.

Однако эта реплика не производит на нас никакого впечатления. Не все ли равно сейчас, слышали ли в подземелье имперской канцелярии шведское радио.

Чуйков. В своем разговоре я основываюсь на решении конференции руководителей трех держав.

Кребс. Я прибыл для того, чтобы выяснить полную обстановку.

Чуйков (смотрит на часы). Я через несколько минут должен начать активные военные действия.

Широкое окно столовой, где идут переговоры, закрыто, как шторой, листом черной бумаги, употребляемой обычно для упаковки фотографий. Стекло, видимо, разбито, и, когда раздаются выстрелы, бумага вздрагивает, как бы вздыхает. В тонкую шелку проникает бледный, нерешительный дневной свет. Первомайское утро наступает.

Полковник Толконюк, работник штаба (он теперь генерал-лейтенант и к тому же поэт: вышла книга его стихов), получает документы, привезенные Кребсом, и отправляется с ними к маршалу. Переговоры продолжаются. Штаб Чуйкова ждет решения «верха».

Кребс. Вам, наверное, известно, насколько сильны мы. Нам известно, насколько вы сильны.

Ч у й к о в. Я не хочу умалять ваши силы или преувеличивать свои силы. Но я гарнизону Берлина не завидую. Я в Сталинграде оборонялся, у меня положение было несколько лучше, чем у вас.

Кребс. Мы готовы драться до последнего.

Чуйков. Честь и слава дерущимся до последнего.

Кребс. В случае уничтожения единственных легальных лиц, знающих завещание Гитлера, не смогут идти переговоры. Как же вопрос с правительством?

Чуйков. Ей-богу, я не могу по этому поводу ничего сказать. Я в состоянии решить только вопрос о безоговорочной капитуляции.

Я чувствую, что командарму очень хочется улыбнуться, может быть, даже рассмеяться. Но он не нарушает значительности этих минут.

В блиндаже на берегу Волги в ноябре 1942 года не раз возникал разговор о Берлине. Мы были окружены, прижаты к реке, в которой пылала разлившаяся нефть. Чуйков, облокотившись на сбитый из досок стол, в шинели на плечах внакидку, склонялся над картой. На ее квадратах змеились овраги, врезающиеся в черту города.

Разговор шел об уличных сражениях, о тактике овладения кварталом, о бое, при котором противники находятся на разных этажах одного жилого дома. В штабе армии разрабатывались приемы боя, навязанного нам в Сталинграде.

Кто-то из командиров заметил, что, когда пойдем на Запад, эта тактика вряд ли пригодится: впереди широкие просторы полей и лесов, большие реки.

Чуйков тогда возразил: не забывайте, что нам придется брать Берлин, а это, как известно, один из крупнейших городов Европы.

Этот разговор был непривычен и вместе с тем будничен, как сама война. Предстояло разбить фашистские орды в городе, в междуречье Волги и Дона, предстояли сражения — еще неизвестно, на каких рубежах, победы, поражения и потери. Но говорили о тактике схватки в Берлине, а до него было более трех тысяч километров.

Каждый из нас твердо знал: если выживет — будет в Берлине.

И в этом смысле наши разговоры были полны не пророчеством, а спокойным убеждением.

И вот мы в Берлине, те самые, которых враг пытался сбросить в Волгу. Завершается самая страшная и самая кровопролитная война последних столетий.

А тут этот хитрый гитлеровский генерал со своим глупым вопросом: как же будет с правительством?

Здесь, на наблюдательном пункте армии, наступающей и уже ведущей бои в центре города, этот вопрос кажется смешным. Но он не так уж смешон, если разобраться в интриге, ведущейся сейчас подыхающим фашистским штабом.

— Итак, Гиммлер — предатель? — спрашивает Чуйков.

Кребс. Да. Согласно завещанию Гитлера, Гиммлера исключили из партии, Гиммлер вне Берлина — он в Мекленбурге.

Чуйков. Вы знали о предложении Гиммлера: полная капитуляция перед Соединенными Штатами и Англией?

Кребс начинает, что называется, кипятиться. Представляю себе этого генерала, срывающего зло на своих подчиненных: как он, наверное, распекал всяких штабистов, топал ногами. Он побагровел, с его губ срываются исковерканные русские слова.

Представляю себе, как он издевался над нашими, теми, что попали в плен под Вязьмой, Уманью, Барвенковом...

Представляю себе, как он лебезил и угодничал перед Гитлером, перед всемогущим Гиммлером.

А сейчас он пылает ненавистью к палачу, от которого мало чем отличается, почти жалуется на него: Гиммлера послали из Берлина на помощь, чтобы он пришел выручать, а он хотел заключить мир без вельфа Фюрера. Он нам жалуется на Гиммлера! Ай-яй-яй, какой нехороший Гиммлер!

Что делает Гиммлер, понятно, но какую задачу пытается выполнить сейчас Кребс? Не хочет ли он склонить Советское командование к заключению сепаратного мира, а следовательно, к обману союзников? Наш визитер, быть может, добросовестно выполняет вторую часть гитлеровского плана? Столкнуть нас и союзников лбами было самой сокровенной мечтой Гитлера. Если Гиммлер преуспеет на Западе, а Кребс в Берлине, окончание войны грозит перерасти в новые осложнения, и трудно предугадать, что еще может произойти. Гитлер старался столкнуть Англию и Америку с СССР еще до начала второй мировой войны, и перед смертью он вновь взялся за старое. Но с нашей стороны Кребс натолкнулся на железную стену. Вновь и вновь он слышит один и тот же вопрос, один и тот же ответ: полная и безоговорочная капитуляция перед антигитлеровской коалицией — СССР, США и Англией. Никаких «ходов», никаких компромиссов и быть не может.

1 мая в Берлине командование одной из советских армий проводит в жизнь решения Ялтинской конференции «большой тройки», проводит четко, по-военному точно.

Кребс. Я еще раз прошу о перемирии... В случае полной капитуляции наша группа (ого! теперь не правительством, а группой называет он тех, кто находится сейчас в подполье имперской канцелярии) уже не сможет представлять немецкий народ. Когда вся Германия капитулирует, и Берлин капитулирует. Но пока он этого сделать не может. Мы не имеем сношений с другими частями Германии. Я боюсь, что против воли Фюрера будет что-либо делать другое правительство. А может быть, оно уже делает.

Чуйков. Союзники не пойдут без нас ни на какие шаги, и мы тоже.

Эта фраза очень не нравится Гансу Кребсу. Он крутит лысой головой и опять пытается говорить по-русски: «Гиммлер хотел заключить сепаратный мир в надежде разреза союзников». Это по-русски, быть может, не совсем грамотно, но по смыслу очень точно.

Кребс продолжает: «Наш бывший вождь хотел найти контакт с Советским Союзом, выйти из этого положения».

Ну вот, теперь все ясно, можно не мучиться подозрениями. Их проект «разреза» продуман, рассчитан как операция, имеющая восточный и западный фланги. В этой комнате с затемненным окном мы находимся, так сказать, на восточном фланге. Вот сейчас, кажется Кребсу, русские польстятся на его предложение, согласятся на сепаратное перемирие, и цель будет достигнута.

А все же Кребс наисеп в своей хитрости. Он говорит:

— Как только наступит временное перемирие, я и Борман поедem и поговорим с пародом.

Чуйков. Значит, правительство создано, и вы хотите получить возможность работать на территории Германии, чтобы потом продолжать войну?

Кребс. Чтобы потом вести переговоры.

Я вижу, что так же, как Кребсу трудно преодолеть страх и дрожь, Чуйкову трудно справиться с яростью, которая накопилась в нем.

Неужели этот генерал от инфантерии не понимает, сколь бессмысленны и безнадежны его попытки сохранить то, что уже погибло, растоптано и обречено историей на позор? Но командарм только поводит плечами и вежливо спрашивает:

— Где сейчас труп Гитлера?

Кребс. Согласно завещанию, он сожжен в Берлине через 3 часа после смерти. Сожжен в воронке от снаряда.

Чуйков. Ваша задача выполнять волю фюрера, и вы хотите, чтобы мы помогли вам в этом? Я этого не понимаю. Пушки стреляют, а вы говорите о новом правительстве. (Весь свой сарказм вложил Чуйков в эти вопросы. Я вижу, как ему трудно сдерживаться.)

Кребс. Я хочу как можно скорее это провести, чтобы мы создали какое-нибудь новое правительство.

Чуйков. Наши пойдут сейчас на штурм и посадят на штык ваше правительство — такое может случиться.

Ну, кажется, объяснились.

Стало известно, что скоро прибудет заместитель командующего фронтом генерал армии Василий Соколовский. Образуется перерыв в переговорах, и Чуйков предлагает немцам позавтракать. Мне и Всеволоду Вишневному приказано занять посетителей. В соседней квартире уже накрыт стол. Кребса и его спутников проводят туда. Когда мы шли по коридору, немецкий солдат, сидевший на табуретке, очнулся от дремоты, вскочил и протянул своему генералу бутерброд с колбасой. Кребс прошел мимо, не обратив на него внимания. Мы сели за стол.

Это был очень странный, пожалуй, единственный в своем роде завтрак. Неловкое молчание прервал Кребс:

— Первое мая — большой праздник наших обеих стран.

Я ответил, что в Москве действительно сегодня большой праздник, но о Берлине этого, пожалуй, не скажешь.

Вишневецкий спросил Кребса, что за шрамы у него на скуле.

— Я был ранен при английской воздушной атаке нашего генерального штаба.

Нам не терпелось узнать, где Кребс выучился русскому языку. Оказывается, он был в Москве заместителем военного атташе. Первого мая 1941 года он присутствовал на параде и демонстрации на Красной площади.

Потом, перед самой войной, он вернулся в Берлин и снова пришел в Россию уже во главе армии. Он был под Ржевом, под Смоленском...

Я был в 1941 году не под Смоленском, южнее. Но мне со стереоскопической ясностью представилось, как идут из окружения мои товарищи, добровольцы и ополченцы, как гибнут они в болотах, присыпанных первым ранним снежком. А этот вот генерал, с которым мы завтракаем в Берлине, сидит в русской избе с жарко натопленной печью. Входят штабные офицеры, шелкают каблуками, докладывают об окруженных советских корпусах и дивизиях, о том, что в деревнях партизаны и надо эти деревни сжечь. Само собой разумеется! Генерал настроен благодушно, он заверяет своих офицеров, что скоро Москва, это дело дней... Москву он знает, он недавно оттуда...

Мне приходилось разговаривать с пленными немецкими генералами после Сталинграда и на исходе Бобруйской битвы. Но этот не пленный, он прибыл для переговоров, и мне поручено только сесть с ним за стол и позавтракать.

Сопровождающий Кребса полковник относится безразлично ко всему происходящему. Он деловито осматривает комнату, замечает небольшую трещину на потолке, спрашивает, цел ли дом: они проезжали ночью, он не сумел разглядеть... Странный интерес. Но полковник говорит, что дом имеет к нему некоторое отношение. Я не записал тогда и уже не помню сейчас: то ли дом — его собственность, то ли он входил в какое-то акционерное общество, которое строило дом, то ли это его квартира. Вишневого развеселило столь неожиданное совпадение. Он шепчет мне: «Такой случай для литературы не подходит. Слишком прочно завязанный сюжет!»

Между тем командарм Василий Чуйков спит, накрывшись буркой, на низкой и широкой кровати в соседней комнате. Его родной брат и адъютант Федор Чуйков охраняет сон старшего. Но вот подъехала машина, прибыл генерал армии Соколовский.

Разбудили командарма.

Мы возвращаемся в комнату, где стол накрыт картой Берлина. Рассаживаемся.

Соколовский спрашивает, готовы ли немцы к полной и безоговорочной капитуляции перед СССР, США и Англией.

Кребс. Я не уполномочен объявлять о капитуляции. Правительство таким образом будет уничтожено.

Чуйков. Снаряд и пуля не будут разбирать, где солдат, а где член правительства.

Кребс спрашивает разрешения откомандировать полковника в имперскую канцелярию. Полковник-домовладелец выходит с генералом в коридор. Они о чем-то шепчутся.

Полковник, майор, который работал на Днепрогэсе (я вспоминаю — гостиница для иностранцев, торгсин 1, наши усилия, чтобы им жилось безбедно), и наш майор-связист уезжают в имперскую канцелярию, чтобы пройти туда и передать Геббельсу требование о немедленной капитуляции. Берут с собой телефонные аппараты, катушку с кабелем. Сюда должна быть проведена линия из имперской канцелярии.

Наше командование отдает распоряжение прекратить огонь на Принцальбрехтштрассе. Кребс заверяет советских генералов, что майор-связист и шофер будут в полной безопасности.

1 Торгсин — «торгопля с иностранцами», продажа толароп за валюту.

Как сузились все расстояния в Берлине! Немецкий майор очень скоро вернулся весь в грязи. Он изжелта бледен. Около отеля «Эксцельсиор», где было намечено место перехода, русские не стреляли. Парламентеры размахивали белыми флагами. Но с немецкой стороны засвистели пули. Ему, переводчику, перейти не удалось. Русский майор старался протянуть кабель на другую сторону. Его ранило в голову — вскрыло вену. Вероятно, стрелял снайпер. Наверное, рана смертельная.

Кребс заявляет, что он огорчен, что он этого не хотел («Не хотел, не хотел», — повторяет он).

Они стреляют в парламентаров не первый раз. Я вспоминаю, как они убили наших парламентаров Остапенко и Штеймеца в Будапеште.

Какая низость! Двадцать минут тому назад Кребс гарантировал безопасность. Вот чего стоят его слова!

По телефону передают, что немецкому полковнику все же удалось перейти через фронт. Провод на той стороне, но телефон молчит.

Между тем Кребс продолжает разговор о Первом мае, начатый за завтраком.

Кребс. Первого мая 1941 года в Москве я стоял на трибуне Мавзолея. Тимошенко принимал парад. Потом он здоровался с военными атташе.

Соколовский. Я шел вместе с ним. Но вашего лица я не запомнил.

Наконец обшитый желтой кожей телефонный аппарат «зазуммерил». Это заработала связь с имперской канцелярией. Кребс разговаривает с Геббельсом. Оторвавшись от трубки, он сообщает, что Геббельс требует его возвращения — они должны обсудить советские предложения.

Кребс берет листок бумаги и металлическим карандашиком записывает условия. Впрочем, можно было бы и не записывать: требуется полная и безоговорочная капитуляция перед тремя державам». Офицерам и солдатам на общем основании сохраняется жизнь; обеспечивается помощь раненым. Правительству мы помогать не будем. Мы дадим только право этим деятелям после капитуляции обратиться к Организации Объединенных Наций, которая решит их судьбу.

Кребс уезжает. Он подходит к машине, в плаще и фуражке, не вынимая монокля из-под насуспенной брови. Наш фотокорреспондент, боевой морячок, снимавший вчера, 30 апреля, как на рейхстаг водружают знамя, тут как тут. Кребс закрывает лицо рукой, но все же его удается сфотографировать.

Это происходит примерно в 13 часов пополудни.

Соколовский берет в руки мой блокнот.

— Ну как, подробно записал?

— Вроде бы подробно...

— Учти, это история. Езжай сейчас в Адлерсхоф, там есть машинистка. Продиктуй свою запись, мы пошлем ее «наверх».

Засыпая от усталости и нервного напряжения, еду диктовать. Уже в темноте возвращаюсь на наблюдательный пункт в 8-й Гвардейской армии с перепечатанным экземпляром своего протокола. На улицах Берлина идет сильный бой. Дана команда — войска подняты на штурм последних кварталов.

Первое мая на исходе. Сообщают из дивизии, что командир 56-го танкового корпуса, он же командующий обороной Берлина, генерал артиллерии Вейдлинг готов к капитуляции. Передают условные обозначения «белый флаг на фоне красного света». Ночь наступила темная, пожары и разрывы снарядов не освещают ее, а делают еще черней.

В это время приводят каких-то штатских немцев, среди них две женщины. Они в поисках Советского командования вышли на участок одной из дивизий с белым флагом.

Это, оказывается, представители министерства пропаганды, они называют себя делегацией от Геббельса, но тут же сообщают, что Геббельс уже покончил с собой, а их послал доктор Ганс Фриче, заместитель Геббельса. У них письмо от Фриче.

Приводят генерала Вейдлинга. С ним еще несколько генералов, солдаты несут чемоданы. Не наши солдаты, конечно, немецкие. Видимо, командующий обороной Берлина не собирается возвращаться в свой штаб.

Меня поразило, что Вейдлинг не в сапогах, а в ботинках с обмотками, как какой-нибудь фольксштурмист.

В обостренный бессонницей мозг пробирается догадка: генерал, пожалуй, намеревался, сорвав погоны, скрыться, но потом передумал.

В той же комнате, где шли переговоры с Кребсом, сидит мрачный Вейдлинг. Его горло перехватывает спазм, кадык ходит ходуном.

Соколовский и Чуйков предлагают Вейдлингу написать приказ о капитуляции. Вейдлинг начинает пререкаться. Он уже дал приказ о капитуляции 56-го корпуса, а другим войскам не может приказывать, так как они вышли из его подчинения — он ведь в плену. Его убеждают, что каждая минута промедления принесет новые человеческие жертвы, что сейчас не до споров, Германия разбита, и надо помочь кончить войну как можно скорее. Рядом с Вейдлингом сидит полковник Дуффинг, тот самый домовладелец, что приходил с Кребсом вчера и ушел через линию фронта с телефонных кабелем.

Я спрашиваю у полковника, где Кребс. Он говорит, что больше его не видел, кажется, он покончил с собой одновременно с Геббельсом. Геббельс отравил своих детей и жену, его труп облили бензином и сожгли (как мы потом увидели, не сожгли, а только подпалили: видимо, запасы бензина в имперской канцелярии были на исходе).

Генерал Вейдлинг собственноручно пишет приказ о капитуляции Берлинского гарнизона:

«30 апреля 1945 года фюрер покончил с собой и оставил нас, присягавших ему на верность, одних. По приказу фюрера вы, германские войска, должны были еще драться за Берлин, несмотря на то, что иссякли боеприпасы и несмотря на общую обстановку, которая делает бессмысленным ваше дальнейшее сопротивление. Приказываю: немедленно прекратить сопротивление».

Вейдлинг хотел, чтобы приказ был подписан: «бывший комендант округа обороны Берлина». Но наши товарищи объяснили ему, что «бывшим» он станет лишь после отдачи этого приказа. Было уже утро — сырое, дождливое, не по-майски холодное. Я вышел из квартиры, где наши офицеры получали перепечатанный на машинке приказ Вейдлинга. Им предстояло разъехаться по районам и читать его через мегафоны на берлинских улицах, призывая солдат и фольксштурмистов к сдаче.

Впрочем, стрельбы уже не было слышно. Маршал Жуков отдал приказ прекратить огонь. Я увидел, как наши гвардейцы-артиллеристы зачехляют орудия, как улицы наполняются народом, идут пленные, уже не шеренгами, а вереницами. Бросают автоматы в кучу. Оружие падает с лязгом, гора его растет.

Гурьбой шагают измученные люди с флажками в руках — я вижу национальные цвета Франции, Италии, Чехословакии, Голландии, Норвегии. Они останавливаются около советских танков, смеются, что-то кричат. На велосипедах проехали два негра — на них лохмотья американской военной формы. Наверное, эти из плена.

Идут девушки с нашивками «Ост» на рукавах. Слышна громкая русская, украинская, белорусская речь. Только по-немецки говорят сегодня шепотом. Из окон домов появляется все больше белых флагов.

Я вышел с наблюдательного пункта, ища направление к центру Берлина. Плана или карты города у меня не было, а спрашивать сейчас майору, как пройти к рейхстагу, вроде бы и неудобно.

Я шел через Тиргартен. Выл какой-то зверь, наверное, раненый. В небольшом искусственном бассейне плавал бегемот. В его серой, как гора, спине торчала неразорвавшаяся мина малого калибра. Она вонзилась неглубоко, и было видно ее тело и оперение стабилизатора.

Я вышел на Зигес-аллее. Около белых памятников с отбитыми носами немцы тоже складывали оружие: автоматы, фауст-патроны, винтовки. Наши солдаты не обращали на них никакого внимания. Наконец я оказался у рейхстага. У его широкой лестницы стояли обозные кони и верблюд, довольно известный участник нашего похода. Во время боев 1942 года он оказался в Сталинграде. Переправить его за Волгу было уже невозможно. Его завели во двор какого-то жилого дома. Когда немцы заняли первый и второй этажи, верблюда пришлось затянуть на третий. Там он и провел все дни осады. А потом его спускали на

талях: лестницы были разрушены. И дотошный ездовой довел своего двугорбого до Берлина.

Самое удивительное, что я как бы потерял способность удивляться, столько невероятного пришлось мне увидеть и услышать за эти дни.

Над рейхстагом на зеленой от окиси меди и разбитой крыше, на фронтоне, на углах развевались красные флаги — знамена Победы. Стены и колонны рейхстага были уже все в росписях. Расписывались штыками, ножами, поднятыми с земли кремнями, проволокой. Некоторые наши солдаты сопроводили свои подписи краткими фразами. Уже не хватало места, росписи тянулись вверх, как на штурм. У меня была палка с острым концом — я пользовался ею, потому что разболелась раненная еще в Сталинграде нога. Я выцарапал на колонне свою фамилию.

Я поднялся по выщербленным осколками ступеням и вошел в закопченный пожаром рейхстаг. В зале заседаний среди поломанных кресел свечи и масляные плашки освещали раненых немцев, лежавших на носилках и прямо на полу. Советский мсьор медицинской службы и несколько медсестер перевязывали их. Откуда-то из подвала валил едкий дым. Наши автоматчики выводили эсэсовцев с черными от гари лицами.

Я прошел к трибуне. Под ней валялась сорванная с какого-то памятника бронзовая голова Гитлера. Не знаю почему, поднял ее и вынес из здания. Она была тяжелая. У Бранденбургских ворот я ее бросил, и она со звоном покатила по брусчатке под смех стоявших там наших солдат.

Постепенно у меня складывалось стихотворение: «Идут гвардейцы по Берлину и вспоминают Сталинград». Я записал его в свой блокнот сразу вслед за приказом Вейдлинга.

Перебравшись через завалы, заткнувшие проходы Бранденбургских ворот, я встретил у начала Унтерден-Линден знакомых еще со Сталинграда танкистов. Они, кажется, не знали о том, что война фактически кончилась. Я сказал командиру, что только что присутствовал при капитуляции коменданта Берлина и что Гитлер и Геббельс покончили с собой.

Командир потребовал, чтобы я рассказал об этом всем бойцам. Я забрался на танк, сообщил гвардейцам то, что мне было известно о конце рейха, а потом прочел стихи, только что написанные. Вероятно, это было первое чтение стихов в поверженном Берлине. Мне потом не раз приходилось выступать со стихами в ином Берлине, на той же улице Унтерден-Линден. Но первое выступление особенно запомнилось...

ПУБЛИЦИСТИКИ

БРАТСТВО

Эти две корреспонденции встретились на журнальных полосах случайно, и, в общем-то, речь в них идет о разных событиях. Но сколько здесь удивительных, глубоко символических совпадений! И вот они-то не случайны, потому что у истоков сопротивления фашизму стоят идеи Ленина, потому что интернационалисты, борцы за дело рабочего класса, всегда находят общий язык между собою.

Поставив статьи в одну подборку, мы решили позвонить в Эйсleben, город в ГДР, с которым связаны описываемые события. К телефону подошел бургомистр города тов. Лутц.

ЛУТЦ. Нам очень приятно внимание к маленькому Эйсlebenу, у которого, впрочем, большие революционные традиции. В нашем городе, в шахтерском крае Мансфельд всегда было сильно влияние коммунистической партии, негибает дух интернационализма. Памятник Ильичу, спасенный эйсlebenцами в годы гитлеризма, стал символом этих традиций. Сейчас их всем сердцем воспринимает молодежь, новое поколение рабочего края. У подножия памятника каждый день появляются живые цветы. Напомню, что шахтеры спасли в годы «третьего рейха» и красные знамена, которые нам подарили рабочие Кривого Рога и московского завода «Серп и молот».

«ЮНОСТЬ». Как отмечают в Эйслсбене 100-летие со дня рождения В. И. Ленина и 25-летие победы над фашизмом?

ЛУТЦ. Обе эти даты для нас исполнены особого смысла, воспринимаются в единстве. Скажу, например, что молодежь края собирается на свой массовый митинг как раз у памятника, спасенного отцами. Празднование ленинского юбилея и 25-летия победы над фашизмом послужит еще большему укреплению дружбы и братства немцев с нашим освободителем — советским народом.

Владимир Галл

ИСТОРИЯ ДВУХ ПАМЯТНИКОВ

На свете есть много памятников Ленину — изваянных из мрамора, высеченных из гранита и отлитых из бронзы, больших и маленьких, величественных и скромных. Встреча с каждым из них будит много мыслей и чувств. А один памятник Ленину оставил в моей душе особенно глубокий след. История этого памятника необычна, о ней много написано, по я здесь хочу рассказать то, что видел своими глазами и что мне было рассказано непосредственными участниками этих событий.

Стояло жаркое лето 1945 года, первое послевоенное лето. Политотдел нашей армии расположился в тихом средневековом Виттенберге, неподалеку от Дворцовой церкви, к дверям которой Мартин Лютер в 1517 году приколотил свои 95 тезисов. Этот городок на Эльбе, ставший центром Реформации и Меккой для протестантов всего мира, вот уже больше четырех веков официально называется «город Лютера». В свободное от работы время мы, офицеры политотдела армии, ходили по старинным, словно уснувшим улицам города и с интересом осматривали достопримечательности, связанные с событиями эпохи Реформации. Но, честно говоря, значительно больше, чем дела давно минувших дней, нас интересовали дела дней настоящих.

Одно событие особенно волновало всех нас. Ожидалось, что в соответствии с договоренностью, достигнутой еще на Ялтинской конференции, американцы отойдут на новую демаркационную линию, уступив советским войскам часть территории к западу от Эльбы. В частности, наша армия должна была вступить в район Биттерфельд — Галле — Эйслсбен. Со дня на день мы ждали этого, но американское командование оттягивало отвод своих частей, как потом стало известно, по наущению Черчилля. Такое поведение союзников казалось странным и непонятным.

Мы еще верили в их верность боевому союзу, выкованному в огне борьбы против общего врага, и не догадывались, что это были первые предгрозовые сполохи холодной войны, за которыми вскоре грянул гром фултонской речи Черчилля. В конце июня в газетах было опубликовано сообщение ТАСС: Советское правительство предупреждало, что в случае, если американцы не выполнят условий Ялтинского соглашения и не отойдут за согласованную в Ялте демаркационную линию, войска союзников не будут впущены в Западный Берлин.

Предупреждение возымело действие.

1 июля 1945 года по приказу начальника политотдела армии полковника М. Х. Калашника, из Виттенберга в Галле выехала небольшая группа офицеров. Среди них был и автор этих строк.

Когда наша машина въехала в Галле, который уже покидали американцы, и остановилась у ратуши на площади Марктплатц, вокруг нас стала собираться толпа. И вдруг, раздвинув толпу, к нам подошел коренастый пожилой человек в поношенной куртке и на ломаном русском языке сказал:

— Здравствуйтесь, товарищи!

По его одежде и крепкому рукопожатию мы узнали в нем рабочего. Он назвал себя: Роберт Зиверт. Примечательна была его внешность: копна седых волос, кустистые седые брови и глубокие морщины, избородившие его лоб, — все это резко контрастировало с голубыми, по-детски ясными глазами и застенчивой, доброй улыбкой, освещавшей худое, изможденное лицо.

Еще примечательнее, как мы узнали позже, была его жизнь. Это живая история немецкого рабочего движения. В 1906 году Зиверт вступил в социал-демократическую партию Германии. Знакомство с Владимиром Ильичем Лениным в Швейцарии, встречи и беседы с ним произвели неизгладимое впечатление на молодого рабочего-каменщика, окончательно определили его судьбу. Он восторженно приветствовал Великий Октябрь, а год спустя принимал деятельное участие в Ноябрьской революции в Германии. 30 декабря 1918 года ему исполнился 31 год, и в этот же день была создана Коммунистическая партия Германии. Конечно, это случайное совпадение, но в нем есть что-то символическое: Роберт Зиверт навсегда связал свою жизнь с КПГ, был ее активным функционером, прошел через подполье, через аресты и пытки гестапо, ад концлагерей. Освобожденный Советской Армией в апреле 1945 года из лагеря смерти Бухенвальд, Зиверт уже через месяц по решению руководства КПГ направился в Галле. Здесь мы и встретили его.

Оказалось, что именно он организовал печатание и расклеивание листовок, которые мы видели, подъезжая к Марктплатцу. Листовки эти призывали население сохранять спокойствие и дружелюбно встретить Советскую Армию. Мне запомнились последние слова листовок: «Красная Армия — это армия страны Ленина. Она несет нам свет ленинских идей, свободу и мир!».

Прощаясь с нами, Роберт Зиверт загадочно улыбнулся и посоветовал:

— Обязательно поезжайте в Эйсleben. Советских людей там ждет большой сюрприз.

Но на следующий день в Галле вступили советские войска, и у нас было много хлопот в этом городе. Последовать совету Зиверта мы смогли лишь 3 июля. На рассвете вместе с передовыми частями нашей армии мы двинулись на запад и вскоре въехали в Эйсleben. Он тоже зовется «городом Лютера», ибо здесь вождь Реформации родился и умер. Но в отличие от чиновничье-бюргерского Виттенберга Эйсleben — центр шахтерского края Мансфельд — славился и своими богатыми революционными традициями. Зная все это и к тому же будучи предупреждены Зивертом, мы, конечно, ожидали чего-то необычного. Но то, что мы увидели на первой же площади, превзошло все наши ожидания. В обрамлении красных флагов на скромном деревянном постаменте, озаренный золотистыми лучами восходящего солнца, стоял... бронзовый Ленин. Знакомые, родные черты, знакомая по снимкам, портретам и описаниям поза: распахнутый пиджак, большой палец левой руки — в проеме жилета, правая рука — в кармане брюк. Взгляд прищуренных в улыбке глаз устремлен на восток, откуда в тот час двигались наши войска, — как будто вождь принимал парад победителей, как будто он встречал и приветствовал их в стенах этого старого немецкого города. И солдаты, пронесшие образ Ленина на своем гвардейском знамени и в своих сердцах через пол-Европы, приветствовали его.

Но как могло случиться, что в самом центре Германии стоял памятник Ленину? Как он попал сюда? Кто его установил?

Пораженные не меньше, чем солдаты, мы подошли к памятнику. К постаменту, обтянутому красной материей, была прибита доска с надписью, старательно сделанной на русском и немецком языках: «Этот памятник был украден гитлеровскими фашистами и вывезен из Советского Союза. Антифашисты Эйсlebена спасли его от уничтожения. В знак благодарности Советской Армии за освобождение от гитлеровского ярма он установлен антифашистской администрацией города Эйсleben 2 июля 1945 года на этой площади».

Тут же, на площади, мы стали расспрашивать местных жителей, но нам удалось получить только краткие, отрывочные сведения: спасением памятника руководил Роберт Бюхнер, коммунист-подпольщик, перенесший ужасы гестапо и концлагерей, человек легендарной храбрости, нынешний обер-бургомистр города.

К сожалению, ни в тот день, ни в последующие дни мы не смогли повидать Бюхнера и узнать подробности этой необычной истории.

Впервые я встретился с ним лишь спустя несколько месяцев в Галле. Осенью 1945 года я уже работал в Советской военной администрации земли Саксония — Анхальт и по долгу службы часто бывал в редакции газеты «Фольксцайтунг» — органа земельного комитета КПГ. Однажды меня познакомили с новым редактором. Он представился: Роберт Бюхнер.

Много долгих осенних вечеров провели мы вместе в редакции газеты «Фольксцайтунг». Роберт подробно рассказал мне, как был спасен памятник Ленину.

Хотя с тех пор прошло уже почти четверть века, я не забыл ни слова из этой удивительной истории.

В декабре 1943 года возле плавильных печей металлургического завода «Кругхютте» в Эйслебене вместе с другим ломом цветного металла была сгружена для переплавки трехметровая бронзовая статуя Ленина. С этого момента началась скрытая, но неустанная борьба за спасение памятника. С молчаливого согласия немецких рабочих советские военнопленные, осуществлявшие разгрузочные работы, оттащили статую в сторону и завалили ее металлоломом. Когда куча лома поредела, эти рабочие насыпали на нее уголь, предназначенный для заводской электростанции. На некоторое время статуя опять была скрыта от посторонних взоров. Но она значилась в приходных книгах, и дирекция металлургического концерна «Мансфельд АГ» не забыла о ней. В начале 1944 года поступил приказ разрезать статую на куски, годные по размерам для заправки плавильных печей. Рабочим пришлось пойти на новые ухищрения. Автогенщики и взрывники авторитетно заявили начальству, что приказ технически невыполним.

Так удалось в первые месяцы уберечь памятник Ленину от уничтожения. Этой стихийной акцией пролетарского интернационализма еще никто не руководил. Здесь не было подпольной организации, группы Сопротивления. Рабочими двигало чувство классовой солидарности и любви к Ленину, великому вождю мирового пролетариата. Мутная волна фашизма не смогла погасить эти чувства в сердцах шахтеров и металлургов Мансфельда.

Но ранней осенью 1944 года гора металлолома и угля, скрывавшая статую, окончательно растаяла в плавильных печах и топках котлов, статуя лежала теперь не защищенной от взоров чиновников, рыщущих в поисках сырья цветных металлов для нужд вермахта. Каждый день памятник мог быть отправлен на слом и переплавку. В этот критический момент военнопленные рассказали обо всем советской девушке, комсомолке Валентине Шестаковой. Летом 1941 года Валя, студентка одного из ленинградских вузов, приехала на каникулы в родное село. Там ее застигла война и оккупация, всю семью фашисты угнали в Германию. Теперь Валя батрачила в деревне Оберрисдорф под Эйслебеном. Храбрая комсомолка, она была активным членом и связной Антифашистской рабочей группы Средней Германии (АРС). Эта организация Сопротивления, действовавшая в промышленном районе Галле — Эйсleben — Гайзельталь, была создана по инициативе КПГ, и возглавляли ее испытанные коммунисты-подпольщики Роберт Бюхнер, Otto Готше и Клара Янс-Тросковская.

Все, что «Валли» (подпольная кличка Шестаковой) узнала о памятнике, она тотчас же сообщила «Бобу» (Бюхнеру). Роберт был глубоко взволнован важной информацией и вначале даже не поверил, что бронзовая статуя Ленина была доставлена в Эйсleben целой и невредимой. В тот же вечер он отправился на завод «Кругхютте», чтобы проверить это сообщение. По законам военного времени заводской двор был затемнен, но Роберт на ощупь отыскал трехметровую фигуру и в свете пламени плавильных печей узнал знакомое, родное лицо. Он вспомнил, как 10 лет тому назад, в 1934 году, он был в Москве и перед возвращением в Германию на подпольную работу посетил Мавзолей и видел Ленина в стеклянном саркофаге...

С этого времени руководство АРС начало организованную и планомерную борьбу за спасение памятника Ленину. Группа не имела своих людей в заводууправлении и дирекции концерна. Но Бюхнеру удалось узнать, что техническим директором завода является некий Зоммер, а главным управляющим — инженер Иенч. По счастливому совпадению, соседом инженера был врач д-р Рингейзен, противник нацистов. Роберт поддерживал с ним связь еще с 1940 года, и он оказал группе немало важных услуг. Теперь «Боб» снова посетил его — как обычно, в часы врачебного приема. Доктор рассказал все, что знал об инженере Иенче, и обещал «организовать» встречу с ним. Можно себе представить, на какой риск шел Бюхнер и какой опасности он подвергал себя, решившись на эту встречу. Иенч был нацистом и мог отправить Роберта в гестапо, которое и без того относилось к нему очень подозрительно и все время следило за ним после его возвращения из тюрьмы. Теперь, в 1944 году, все могло кончиться эшафотом. Но другого пути для спасения памятника не было...

Встреча состоялась в сквере, где Иенч совершал свои обычные вечерние прогулки. «Случайно» там же оказались Рингейзен и Бюхнер. Доктор познакомил соседа со своим спутником и под благовидным предлогом удалился. Оставшись наедине с инженером, Роберт сказал ему прямо, без обиняков: «Статуя, которая лежит во дворе завода, — это памятник Ленину. Тот, кто осмелится поднять на него руку, будет строжайше наказан русскими. Предупреждаю, что вы как управляющий несете полную ответственность за все!» Эти слова произвели впечатление на Иенча, который, очевидно, уже разуверился в своем «фюрере» и в победе и боялся расплаты. Он, правда, не дал определенного ответа, но Роберт почувствовал, что этот человек не отправит памятник в плавильную печь. Уже вскоре рабочие сообщили, что технический директор Зоммер сказал им: «Пусть эта русская статуя полегит...» В последующее время стали регулярно поступать донесения, что со стороны руководящих чиновников явно ощущается желание не трогать памятник, не брать на себя ответственность за его дальнейшую судьбу. Об этом же сообщили через Валю Шестакову советские военнопленные. Очевидно, вечерняя встреча в сквере возымела свое действие.

13 апреля 1945 года Эйслебен был занят американцами. Им пришлось утвердить обер-бургомистром города Роберта Бюхнера, возглавлявшего недавно сформированный Антифашистский гражданский комитет (АГК). Уже на следующий день Бюхнер вызвал в ратушу Иенча и — теперь уже официально — возложил на него ответственность за дальнейшую сохранность памятника Ленину.

Антифашистский гражданский комитет намеревался провести 1 Мая вместе с советскими военнопленными массовый митинг и перед началом митинга установить на площади статую Ленина. Но американские оккупационные власти категорически запретили проведение майских торжеств.

В тревогах и заботах о памятнике прошел май, наступил июнь. Бюхнер, смещенный американцами с поста обер-бургомистра за «коммунистические интриги», обсуждал с друзьями возможность установить контакт с находящимися за Эльбой советскими войсками, чтобы передать им памятник Ленину. И вдруг радостная новость: в соответствии с Ялтинским соглашением Эйслебен отойдет к Советской зоне оккупации Германии! АГК принял решение достойно встретить Красную Армию и перед ее приходом установить памятник Ленину. Антифашисты развили бурную деятельность: шили красные флаги, писали приветственные лозунги и листовки, соорудили временный деревянный постамент, подготовили технические средства для перевозки и установки памятника. Все это делалось нелегально, под носом у американцев. Ничего не подозревал и их ставленник — новый обер-бургомистр д-р Гофман...

Наступило 2 июля 1945 года. Город преобразился. Он расцвел красными флагами, транспарантами и лозунгами в честь Советской Армии. На восточной окраине как из-под земли вырос памятник Ленину. АГК, взявший на себя функции городского парламента, предложил д-ру Гофману покинуть город и вновь назначил обер-бургомистром Бюхиера. С востока, из района Галле, уже уходили на запад, к новой демаркационной линии, «джипы» и грузовики американской полевой дивизии. Солдаты, еще недавно сражавшиеся плечом к

плечу с русскими против общего врага, с интересом осматривали памятник вождю их союзников, фотографировались возле него... На следующее утро, 3 июля, в город вступили передовые части Советской Армии.

Все это рассказал мне Бюхнер осенью 1945 года. А вскоре произошло еще одно знаменательное событие: когда стали известными подробности спасения памятника Ленину, Советское правительство передало его в дар городу Эйслебену — в знак благодарности за мужественную борьбу немецких антифашистов.¹ 1 мая 1948 года на торжественном митинге, посвященном передаче памятника, выступил Вальтер Ульбрихт. Он сказал:

«Похищение этого памятника было выражением империалистической агрессии и хищности гитлеровского режима, который провозгласил крестовый поход против марксизма-ленинизма. Но получилось так, что советский народ, вдохновляемый учением марксизма-ленинизма, победил, а фашизм был разбит. Страна социализма, Советский Союз, оказалась и в военном отношении, экономически и морально сильнее, чем фашистская немецкая военная машина и фашистская государственная власть... Как счастлив мог бы сегодня быть немецкий народ, как сильна могла бы быть Германия, если бы она в 1917 году приняла предложение Ленина о немедленном мире и свержении кайзеровского империалистического правительства. Ленин был истинным другом немецкого народа. Он... на основе своих глубоких теоретических знаний и огромного опыта русского и международного рабочего движения давал немецкому рабочему классу много ценных советов... Немецкий народ очень обязан советскому народу за то, что он ценой страшных жертв уничтожил фашистскую систему в Германии, благодаря чему стало возможным создание демократического немецкого государства... Передачу памятника мы рассматриваем одновременно как обязательство вести борьбу в духе Ленина за национальную самостоятельность, за создание миролюбивого демократического строя, против империалистической агрессии. История нас многому научила. Мы хотим жить в мире и дружбе с Советским Союзом и народно-демократическими странами, а также с демократическими силами всего мира».

Статуя Ленина в Эйслебене была не только первым памятником Ленину на немецкой земле, но и вообще первым памятником, установленным в Германии после второй мировой войны.

В 1958 году советский скульптор М. Г. Манизер, совершая поездку по ГДР, увидел в Эйслебене памятник Ленину и узнал в нем одну из своих работ. Вскоре на имя Бюхнера пришло письмо от скульптора. Он сердечно благодарил всех, кто участвовал в спасении статуи Ленина, и сообщил, что создал ее по наброскам, сделанным в Мавзолее, вскоре после кончины вождя. Памятник этот был установлен в городе Пушкине под Ленинградом. Именно оттуда гитлеровцы похитили его и вывезли в Эйслебен.

Эта новость всколыхнула горняков и металлургов Мансфельда. Они решили подарить городу Пушкину статую Эрнста Тельмана. Из меди, добытой и выплавленной ими в сверхурочные часы, дрезденский скульптор Арнольд создал памятник вождю германского пролетариата. Делегация мансфельдских рабочих доставила его в Пушкин, и в день 15-летия Победы над фашизмом он был торжественно открыт на том самом месте, где стоял памятник Ленину.

Летом 1966 года я встретился с Бюхнером в Москве. Он только что возвратился от Манизера и был радостно возбужден. Скульптор пригласил его к себе домой, показал свое ателье. Роберт увидел там много скульптурных портретов, эскизов и набросков, посвященных Ленину и членам его семьи. Между Манизером и его гостем завязалась дружеская беседа. Бюхнер рассказал, какое решающее влияние оказал и продолжает оказывать Ленин на судьбы немецкого рабочего класса, на его личную судьбу. Трагическая весть о кончине вождя мирового пролетариата глубоко потрясла его, 20-летнего немецкого комсомольца. Следуя примеру советских рабочих, вступавших по Ленинскому призыву в РКП(б), Роберт уже в 1924 году стал членом КПГ и ее активным функционером. Верность идеям Ленина помогла ему переносить все преследования полиции до и после прихода

Гитлера к власти, все тяготы подполья; с Лениным он как бы советовался в тюрьме. Ему всегда придавали силы слова, сказанные Лениным еще весной 1917 года:

«Немецкий пролетариат есть вернейший, надежнейший союзник русской и всемирной пролетарской революции».

— Смотри, что мне подарил на прощание профессор Манизер, — сказал Роберт и вынул из портфеля какой-то предмет... Это была точная копия памятника Ленину в Эйслебене. Трудно представить себе более драгоценный подарок!..

После войны я неоднократно бывал в Эйслебене и каждый раз приходил на знакомую площадь (теперь она носит имя Августа Бебеля), чтобы возложить цветы к гранитному пьедесталу памятника Ленину и постоять возле него в благоговейном молчании. Особо мне памятен последний приезд в Эйслебен.

В конце сентября 1969 года из Москвы в Берлин на празднование 20-летия ГДР отправился Поезд дружбы. В числе его пассажиров была и Валентина Шестакова-Минина — та самая, которая была связной между советскими военнопленными и немецкими антифашистами. Мы познакомились, разговорились, и я вновь — теперь уже от нее — услышал волнующие подробности спасения памятника. По удивительному стечению обстоятельств в одном купе с ней ехала Людмила Петрова из Воронежа. Во время войны она была медсестрой и первой оказала медицинскую помощь жене Эрнста Тельмана — Розе, освобожденной советскими войсками из концлагеря. Так случай свел в Поезде дружбы двух храбрых русских женщин, чьи судьбы связаны с именами великого вождя трудящихся всего мира и героического руководителя немецкого пролетариата.

В Берлине, на Восточном вокзале, к приходу поезда собрались тысячи людей. Валентину и меня встречали наши друзья — Роберт Бюхнер и его жена Людмила. Валя поехала дальше, в Эйслебен, а я остался в Берлине. Хотя программа пребывания в столице ГДР была очень напряженной и насыщенной и каждый день был заполнен до отказа торжественными собраниями, встречами и визитами, все же я на несколько часов вырвался в Эйслебен.

Вновь стоя у памятника на ярко освещенной и нарядно украшенной площади, глядя на толпы ликующих людей, празднующих 20-летие своей республики, я подумал: и наша великая победа в войне, и наши предыдущие и последующие мирные победы на Земле и в космосе, и огромные достижения братских народов, строящих социализм, и успехи рабочего движения в странах капитала — все это крупницы нерукотворного памятника Ленину, который воздвигается историей и будет жить в веках!

Александр Синельников, Валентин Томин

СОЛДАТЫ ОДНОГО ФРОНТА

Авторы выражают глубокую благодарность полковнику В. Н. Соловьеву, военному журналисту В. И. Илыку, кандидату исторических наук С. В. Щепрову, генерал-майору в отставке М. П. Еремину, подполковнику Альфреду Кёнену, С. Б. Гребовскому, сотрудникам посольства ГДР и другим товарищам, оказавшим помощь в сборе материалов для настоящего очерка.

ИЗ ЖУРНАЛА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯ РАЗВЕДОТДЕЛА ШТАБА ЗАПАДНОГО ФРОНТА

«Оперативная группа № 27

1. Беккер Макс Гансович, 1920 года рождения, немец, уроженец г. Хоф, Германия, место работы — ЦК МОПРа, призван ЦК МОПРа, командир.

2. Рёмлинг Курт Вальтерович, 1921 года рождения, немец, уроженец г. Брауншвейг, Германия, учился в Ростокинском учебном комбинате, призван ЦК МОПРа.

3. Стаффорд Альфред Генрихович, 1921 года рождения, немец, уроженец г. Мерзебург, Германия, место работы — ЗИС, призван ЦК МОПРа.

4. Стаффорд Виктор Генрихович, 1920 года рождения, немец, уроженец г. Мерзебург, Германия, место работы — ЗИС, призван ЦК МОПРа.

Стаффорд А. Г., Стаффорд В. Г., Рёмлинг К. В., Беккер М. Г., Германова Н. Г., Николаева Е., Павлова.

Посланы 20.08 1941 года. Маршрут: Назимово, Бубново, Староселье, Никиткино... Возвратились в сентябре. Задание выполнено».

Собирая материалы для своей новой книги, мы натолкнулись на эти скупые строки.

На ломких, пожелтевших страницах нет подробностей. Имена, даты, названия населенных пунктов — и неизменная фраза в конце каждого абзаца: «Задание выполнено».

Кто же они, эти люди, эти немцы, в тяжелый 1941 год выступившие с оружием в руках против гитлеровских захватчиков? Живы ли они? Как сложились их судьбы? Кто такие братья Стаффорд?

За долгие поиски, в которые были вовлечены и историки войны и наши коллеги-журналисты, нам удалось кое-что узнать. Но следов братьев Стаффорд нигде, кроме как в журнале боевых действий, не было. И, как часто бывает в таких безнадежных ситуациях, на помощь пришел случай.

В Москву в командировку из ГДР приехал наш немецкий друг Ойген Класе. Мы рассказали ему о наших поисках, о братьях Стаффорд...

— Стаффорд? — переспросил Ойген. — Кажется, я смогу вам помочь.

— Каким образом?

— Я знаю одного Стаффорда. Это мой друг. Он военный, служит в Берлине. Только он был Стаффордом тогда, когда жил в СССР. Его настоящая фамилия — Кёнен. Альфред Кёнен. Он, кстати, работал в Москве, в посольстве ГДР. А его отец был видным деятелем КПГ. Альфред рассказывал мне, что в эмиграции, в СССР, отец жил под именем Генриха Стаффорда...

— Ойген! У нас к тебе огромная просьба. Приедешь в Берлин, попроси Альфреда Кёнена связаться с нами...

И вот в сентябре 1969 года подполковник Национальной Народной Армии ГДР Альфред Кёнен сидит перед нами и рассказывает о своем отце, о себе, о брате.

1918 год. Германская Ноябрьская революция в разгаре. В стране, сбросившей оковы монархии, идут собрания, митинги. И на трибунах, в первых рядах демонстрантов — Бернард Кёнен. Он выступает перед горняками, химиками, строителями Средней Германии, руководит крупнейшим химическим предприятием «Лойна», брошенным владельцами, налаживает производство. Но буржуазия, пришедшая к власти после Ноябрьской революции, жестоко подавляла революционную стихию. В районы, где рабочие были наиболее активны, вводились полицейские части.

В марте 1921 года сотни тысяч рабочих Средней Германии объявили забастовку. Против бастующих были брошены войска, и забастовка переросла в восстание. Первыми взяли за оружие 20 тысяч рабочих «Лойны». Более недели продолжалось сопротивление, и только когда войска пустили в ход артиллерию, полицейским удалось ворваться на территорию завода.

В июне 1921 года Бернард Кёнен в составе делегации Коммунистической партии Германии был в Москве, на III конгрессе Коммунистического Интернационала.

А потом начались годы напряженнейшей партийной работы.

То время в Германии было окрашено в коричневые цвета. Пропаганда расовой исключительности, проповедь примитивного национализма, посулы и произвол сделали

десятки миллионов простых немцев добычей нацистов. И лишь те, кто олицетворял лучшие черты немецкой нации, смогли противостоять потоку лжи и лести.

Первый бой дали гитлеровцам германские коммунисты. Они увидели в германском фашизме угрозу всему миру, всему человечеству и не колеблясь вступили в борьбу.

12 февраля 1933 года в Эйслебене проходила окружная конференция КПГ. Председательствовал секретарь окружного комитета Бернард Кёнен. Заседание уже закончилось, и делегаты стали расходиться.

Внезапно здание, где проходила конференция, было окружено нацистскими штурмовиками. 700 отъявленных головорезов против 40 коммунистов! Бой продолжался недолго. Когда к месту схватки подоспели рабочие, все было уже кончено. На полу, в лужах крови, среди обломков мебели лежали убитые и раненые. Среди них был и «красный советник» — Бернард Кёнен. Штурмовики пробили ему голову, выбили глаз, сломали несколько ребер. Но Бернард Кёнен был жив.

Л через несколько дней в больницу явилась полиция и арестовала израненного коммуниста за «нарушение общественного порядка»...

Вскоре он был выпущен из тюрьмы. Но оставаться дальше в Германии было невозможно. И партия нелегально переправила Бернарда Кёнена и его семью в Советский Союз.

ИЗ АВТОБИОГРАФИИ ВИКТОРА КЁНЕНА.

«...15 июля 1933 года мы приехали в Москву. После некоторого отдыха в 1-м интернациональном детдоме МОПРа я начал учиться в школе имени К. Либкнехта (немецкая). Отец мой поступил на политическую работу в ЦК МОПРа, а мать моя начала учиться в Коммунистическом университете национальных меньшинств Запада и позднее, после его ликвидации, стала работать на 1-м ГПЗ. В 1935 году я перешел из немецкой школы в русскую... Тут я с хорошими отметками окончил седьмой класс.

В октябре 1936 года я поступил в ФЗУ при ЗИС, а в марте 1938 года перешел в инструментальный цех автозавода, где и до сих пор работаю.

Москва. 17.6.41 г.»

Эта автобиография была написана Виктором за пять дней до начала Великой Отечественной войны.

— В тот день утром, — рассказывает Альфред Кёнен, — я пошел в парикмахерскую и там услышал по радио о начале войны. Я позвонил домой и сообщил матери, что иду на завод, чтобы записаться добровольцем в Красную Армию.

Было воскресенье, но в ворота Московского автозавода, где работал Альфред, непрерывным потоком вливались рабочие, инженеры, служащие. Перед дверьми парткома, завкома и комитета комсомола уже стояли длинные очереди — там шла запись добровольцев.

Люди были серьезны и суровы — начинались испытания, равных которым еще не было в истории страны. Никто не представлял, сколько времени продлится война, но каждый будущий солдат ощущал в себе готовность разделить судьбу Родины.

Альфред встал в одну из очередей. И тут неожиданно увидел Виктора, который пришел на завод немногим раньше.

— Я говорил с отцом, — сказал Виктор. — Он с нами согласен...

У них не было сомнений, не существовало выбора.

— Фамилия?

— Альфред Стаффорд.

— Стаффорд?! — Человек, сидевший за столом, недоверчиво посмотрел на Альфреда.

— Я немец.

— Как же вы, немец, будете воевать против немцев?

«Как ему объяснить?..»

Кровь рабочих на мостовых... Шутовские судебные процессы над убийцами, уверенными в том, что их оправдают... Искалеченный нацистскими штурмовиками отец... Тайные переезды с квартиры на квартиру... Разгул узаконенного садизма. Жестокость, возведенная в государственный принцип...

И рядом с этим — «Союз юных спартаковцев», подпольная пионерская газета, песни Эрнста Буша, кулаки, поднятые к вискам в антифашистском приветствии...

— Я немец, политэмигрант. Я хочу драться не с немцами, а с немецкими фашистами. Драться с оружием в руках.

Через два дня Альфреда и Виктора вызвали на специальную комиссию, в которую входили сотрудники Коминтерна, МОПРа, Главного политуправления Красной Армии.

— И вот через эту комиссию мы прошли, — рассказывает Альфред Кёнен и с гордостью добавляет: — Мы были одними из первых немцев-эмигрантов, принятых в ряды Красной Армии.

Они были направлены в специальную школу Красной Армии, находившуюся под Москвой. С первых же дней молодые антифашисты поняли, что их готовят к работе в тылу гитлеровских войск: стрельба из всех видов пехотного оружия, умение ориентироваться по карте и компасу, минирование, прыжки с парашютом. А затем будущие разведчики оказались в особой воинской части при разведотделе штаба Западного фронта.

Рядом с ними, в одном подразделении, находились люди, чьи имена впоследствии прославили нашу Отчизну и вошли в историю Великой Отечественной войны: Зоя Космодемьянская, Вера Волошина, Константин Заслонов, Борис Крайнов.

Первый бой отца с фашизмом стоял перед глазами сыновей.

Теперь пришла их очередь сражаться.

ПИСЬМО АЛЬФРЕДА И ВИКТОРА К РОДНЫМ.

«Дорогие мама и папа! Мы чувствуем себя отлично. Можете за нас не беспокоиться. Уезжаем на фронт. Скоро вы о нас услышите.

Рот фронт! Альфред, Виктор».

— Узнаёте? — Альфред Кёнен кладет перед нами небольшую фотографию. Мы склоняемся над нею. — Снимок сделан осенью 1941 года. Это группа разведчиков 16-й армии Западного фронта.- А вот здесь мы с братом. В первом ряду слева — Виктор, справа — я.

Только после этих слов мы узнаем в худощавом, застенчивом двадцатилетнем паренёке сидящего перед нами пожилого подполковника.

— Да... — Альфред качает головой. — Почти тридцать лет... Уже даже и не помню, как кого зовут...

Мы вглядываемся в открытые мальчишеские лица, и не верится, что именно эти ребята, вчерашние школьники, в самом трудном сорок первом переходили линию фронта, пробирались во вражеские тылы, участвовали в диверсиях и рискованных разведках.

Фронт приближался к Москве. Разведчики Западного фронта постоянно были в действии. Задания следовали одно за другим, и немецкие антифашисты были здесь незаменимы. И если вдруг в деятельности их группы наступал недолгий перерыв и все разведчики радовались неожиданному отдыху, Альфред и Виктор просили командира части подключить их к другой группе, той, которая шла на новое задание.

Об одном из первых своих заданий Альфред Кёнен вспоминает:

— Нам поручили разведать прифронтовую полосу. Наши части тогда с боями отступали. Всюду было много беженцев, красноармейцев, оказавшихся в окружении, мирных жителей, оставшихся без крова. Фашисты, упоенные победами, были в то время

довольно беспечны. Они представить себе не могли, что в их тылах действуют организованные группы советских разведчиков; ведь Москва была совсем близко, и война, по расчетам гитлеровцев, должна была закончиться через 2 — 3 недели. Мы были в гражданской, весьма потрепанной одежде и должны были выдавать себя за дезертиров. И вот мы идем днем, не прячась, в полный рост. Проходим мимо первых траншей. Видим: там стоят пулеметы, кое-где — орудия, танки. Подходим к мосту. Перед ним стоит танк, а рядом — солдаты. Мы направляемся прямо к ним. Солдаты стали требовать, чтобы мы сняли сапоги. Они говорили по-немецки, а мы должны были притворяться, что ничего не понимаем. До того было больно в груди, что и сказать трудно. Нам хотелось тогда схватить фашистов за горло, а вместо этого мы должны были стоять перед ними и делать вид, что ничего не понимаем. Вдруг один из них говорит: «Проваливайте!» Я хочу повернуться и уйти. В последний момент чувствую, что Виктор вцепился рукой в полу моего пиджака. И тут я осознаю, что могло произойти. Хорошо, солдаты ничего не заметили и толкают нас — идите, мол...

Вспоминая свои первые шаги на поприще фронтового разведчика, Альфред посмеивается, и в его рассказе все пережитое кажется нестрашным, а порой даже смешным.

— ...Видим, из домика на окраине выходит мальчик в немецкой военной форме и несет воду. Мы остановили его, по-русски попросили напиться. Он ответил нам по-немецки. Тогда мы тоже заговорили с ним по-немецки. Он очень удивился, а мы объяснили ему, что мы немецкие разведчики, возвращаемся из тыла русских к своим. Мальчик обрадовался, говорит: «Вот мой папа будет рад, когда вы вернетесь». Мы отвечаем, что уже доложили о своем возвращении другому начальнику. «А кто, — спрашиваем, — твой папа?» «Командир батальона». «А где он находится?» «На том краю деревни его штаб...» Мы прощаемся и идем дальше...

Судьба военных разведчиков переменчива. Братьям Альфреду и Виктору Стаффорд недолго пришлось быть вместе. Из разведотдела 16-й армии Виктор был отозван в штаб Западного фронта, а Альфреда направили в отряд особого назначения под командованием майора В. В. Жабо. Это было в начале декабря 1941 года.

К тому времени Красная Армия остановила наступление гитлеровских войск под Москвой, а 6 декабря началось контрнаступление советских войск.

Во время своего пребывания в Москве Альфред познакомил нас с бывшим командиром разведки и комсоргом отряда, ныне кандидатом исторических наук Сергеем Васильевичем Щепровым. И вот что он нам рассказал:

«В дни наступления отряд особого назначения действовал в ближайших тылах отступающих и обороняющихся гитлеровских войск. Нападал на отдельные гарнизоны, нарушал линии связи, захватывал штабные документы и пленных, сеял панику среди оккупантов.

Но в отряде не было никого, кто бы хорошо знал немецкий язык. А для неожиданных диверсий и налетов на врага, для подробного допроса пленного человека с языком был необходим. И вот наш командир, майор Жабо, кстати сказать, человек удивительно твердый и храбрый, попросил в штабе Западного фронта переводчика. Так Альфред попал к нам. Он показался мне молчаливым, застенчивым, мало говорил о себе, держался очень скромно, замкнуто.

В первый же день майор Жабо вызвал Альфреда к себе. Я присутствовал при разговоре.

— Как твое имя? — спросил майор.

— Альфред Стаффорд.

— Стаффорд?

— Да. Я немец. Политэмигрант.

— Ну вот что, Альфред Стаффорд. Довольно тебе быть Альфредом. Будешь Юрой. Так удобнее. И тебе и нам. Так вот, ЮраАльфред стал Юрой. Под этим именем и знали его наши бойцы.

Не все поначалу относились к Альфреду с полным доверием. Все-таки немец... Но потом, когда отряд начал боевые действия, все бойцы поняли, что за человек наш разведчик «Юра». И не знаю, как бы сложилась судьба отряда, если бы с нами тогда не было Альфреда...»

Это произошло 2 февраля 1942 года. Стоял тридцатиградусный мороз. Отряд особого назначения готовился к очередному переходу линии фронта с тем, чтобы выйти в тыл гитлеровских войск в районе Вязьмы. Но обстоятельства сложились таким образом, что гитлеровцы отсекали советские войска, двинувшиеся в наступление, и под угрозой захвата оказались штабы и тылы войск Красной Армии, расположенных юго-западнее Москвы, в районе Юхнова.

Единственной реальной силой, которая могла бы задержать врага до подхода частей из резерва, был отряд майора Жабо. Отряд немедленно выдвинулся на позицию — в ложину между холмами на берегу замерзшей реки Воря.

Было тихо. Только поскрипывали на ветру промерзшие деревья да слышалось резкое дыхание бойцов, спешно отрывающих в снегу окопы.

Прошло уже несколько часов, но обстановка не прояснилась.

Вдруг из леса перед фронтом отряда показалась колонна людей, одетых в маскировочные халаты.

Кто это? Фашисты? Прорвавшиеся из окружения наши части? Может быть, гвардейцы, которые должны сменить отряд? Но если подмога, то почему оттуда?

Колонна приближалась. Люди в масках шли по несколько в ряд, и, как выяснили наблюдатели с холмов, их было не меньше полка.

Разведчики, а среди них Альфред, выдвинулись чуть вперед.

Колонна находилась уже метрах в 100 от позиции отряда. Впереди шел знаменосец с развернутым красным знаменем!..

Свои? Но наши не ходят в походной колонне с развернутым знаменем. И вроде бы эти переговариваются по-немецки. Нет, такой «парад» неспроста...

Альфред решил рискнуть.

— Стой! Какая часть?! — крикнул он по-немецки. Колонна остановилась.

— А вы кто такие?! — раздалось на чистейшем саксонском диалекте.

Оказалось, гитлеровцы.

Автоматные и пулеметные очереди отбросили фашистов к лесу, заставили их залечь. И начался бой, самый жестокий и кровопролитный, который когда-либо вели бойцы отряда особого назначения.

Атаки следовали одна за другой. Против 300 красноармейцев был брошен еще один полк, танки, артиллерия. На высотках и деревьях на противоположном берегу реки засели вражеские снайперы, над позициями отряда кружились гитлеровские штурмовики. Но полузамерзшие, израненные бойцы стояли насмерть.

Бой длился восемнадцать часов. И только на рассвете, когда за спиной были оборудованы новые позиции и свежие части заняли оборону, отряд смог отойти. В последней группе отходивших, среди 25 человек, находились командир отряда майор Жабо и боец-переводчик Альфред Стаффорд. В предрассветной тьме группа наткнулась на вражеский патруль.

— Стой! Кто идет?

Альфреду суждено было еще раз спасти отряд.

— Ты что, с ума сошел? — крикнул он солдату. — Не видишь? Кто ж тут может быть, кроме своих?

15 февраля 1942 года Альфреду было присвоено звание лейтенанта, а 23 февраля, в день годовщины Красной Армии, ему была вручена медаль «За боевые заслуги».

В апреле 1942 года отряд, в котором находился Альфред, был направлен в тыл противника, в брянские леса, для организации и ведения партизанской борьбы.

Линию фронта перешли благополучно, но на рассвете, на марше, отряд заметили фашистские самолеты. И когда утомленные ночным переходом бойцы расположились на отдых в деревне Дубровке, гитлеровцы обрушили на них удары с воздуха. Бойцы спешно были выведены в лес. В деревне остались лишь разведчики и медсанчасть.

— Я вышел со старшиной Коханчуком на улицу, — вспоминает Сергей Васильевич, — и вдруг вижу: соседний дом исчез. На его месте — беспорядочная груда развалин. Но вот рядом с нами взрывается бомба. Гриша Коханчук ранен. Я перевязал его. Подбегаю к развалинам. Оттуда послышался стон. Я подозвал командира роты капитана Кретьова, и мы стали растаскивать бревна и доски.

Первой извлекли из-под обломков медсестру Нату Мирошниченко. Затем вытащили Альфреда. Он был без сознания. Осколки впились ему в лицо. Альфреда положили на снег, и им занялась пришедшая в сознание Ната...

Ближайшая больница размещалась в 25 верстах, в поселке Бытошь. Что делать? Хоть и не ясна обстановка в немецком тылу, но надо спасать товарищей...

Жители Дубровки устроили раненых в сани, обложили их сеном, дали лошадь, и Щепров, захватив с собой автомат, запасные диски, гранаты, тронулся по неизведанному пути в Бытошь.

Летом 1942 года обстановка в Дятьковском районе, где действовал отряд, осложнилась. Гитлеровцы предприняли несколько карательных операций против партизан. Были усилены гарнизоны в населенных пунктах, невероятной жестокости достиг фашистский террор против местных жителей, помогавших партизанам. Отряд постоянно находился в движении, уходя от преследований, путая след. Начался голод. И хоть Альфред стойко переносил лишения партизанской жизни, тяжелое ранение начало сказываться. Он стал слепнуть. И командование отряда, вызвав самолет, отправило разведчика «Юру» вместе с другими ранеными на Большую землю.

После нескольких недель, проведенных в госпиталях, Альфред Кёнен был признан негодным к строевой службе.

Когда сыновья уходили па фронт, Бернард Кёнен обнял их- и сказал: «Мальчики! Среди Кёненов никогда не было трусов. И, надеюсь, не будет. Молодые должны драться. А мы уже старики. Да и калеки. Но мы тоже кое на что еще способны».

После разгрома немецко-фашистских войск на Волге и под Курском банкротство гитлеровской клики стало очевидным. Среди немецких солдат и офицеров усилились антифашистские настроения.

12 — 13 июля 1943 года на учредительной конференции в Красногорске, под Москвой, был создан Национальный комитет «Свободная Германия» (НКСГ).

В его состав вошли как немцы-антифашисты, жившие в СССР, так и военнопленные немецкие солдаты и офицеры из рабочих и крестьян, люди самых различных слоев населения Германии, самых разных политических взглядов. Президентом НКСГ был избран антифашист, известный писатель Эрих Вайнерт.

НКСГ обратился к немецкому народу и германской армии с манифестом, в котором говорилось:

«...Гитлер ведет Германию к гибели... Немецкий народ нуждается в мире, и притом безотлагательно...»

В лагерях немецких военнопленных развернулись острые дискуссии. Здесь тоже был передний край — передний край борьбы за людей, обманутых, духовно искалеченных нацизмом. И старый интернационалист Бернард Кёнен с присущей ему страстностью и самоотдачей включился в эту борьбу. Он выступал перед немецкими военнопленными, создавал в лагерях антифашистские школы, спланировал антифашистский актив. Рядом с ним была его жена Фрида.

В одной из таких школ стал работать и Альфред.

Отец и сын были солдатами одного фронта.

В период, когда Альфред находился на излечении, а затем в антифашистской школе, он начал искать следы своего брата Виктора, с которым расстался в декабре 1941 года. Альфред выяснил, что в начале 1942 года Виктор в составе разведывательно-диверсионной группы был заброшен в глубокий тыл гитлеровцев. С задания не вернулся ни один из разведчиков. В штабе Западного фронта их считали пропавшими без вести и предполагали, что, вероятнее всего, группа погибла...

ИЗ ПОКАЗАНИЙ ПОДСУДИМОГО ЭККАРИУСА, КОМЕНДАНТА КАРЦЕРА КОНЦЛАГЕРЯ ЗАКСЕНХАУЗЕН.

«...2 февраля 1945 года была расстреляна группа в количестве 180 человек. Среди них находился один норвежец, двадцать люксембуржцев, много советских пленных и немецкий коммунист Кёнен, который в 1933 году эмигрировал из Германии».

Здесь следует хотя бы вкратце рассказать о брате Бернарда — Вильгельме. Депутат рейхстага от коммунистов, в 1933 году он вынужден был эмигрировать в Чехословакию, а затем в Англию. Его сын, Генрих Кёнен, уехал в Советский Союз.

Во время Великой Отечественной войны Генрих Кёнен, как и его двоюродные братья, выполнял ответственное задание в тылу врага. И так же, как Виктор, пропал без вести.

Кто же из братьев погиб в Заксенхаузене? — Трудно сказать точно, — говорит Альфред Кёнен. — Виктор еще не был членом КПГ, а в показаниях Эккариуса сказано, что Кёнен, расстрелянный эсэсовцами, — коммунист. Хотя Виктор вполне мог назваться коммунистом. Он имел на это право...

Вероятнее всего, Виктор погиб. Но, может быть, кто-нибудь знает, куда он был заброшен? Может быть, кто-нибудь из бывших разведчиков Западного фронта помнит его, Виктора Стаффорда?

Окончилась вторая мировая война. Земля, жаждавшая мира, наконец обрела его. Чтобы приблизить эту минуту, отдали свои жизни миллионы советских людей, погибли десятки тысяч немецких антифашистов. День победы над гитлеровской Германией стал днем освобождения немцев от нацизма, днем возрождения страны.

Бернард Кёнен, его жена Фрида и сын Альфред вернулись на родину.

В 1961 году майор Национальной Народной Армии, помощник военного атташе при посольстве ГДР в Москве, Альфред Кёнен встретился с генерал-майором в отставке Михаилом Петровичем Ереминым.

— Я слышал, ваш отец был делегатом III конгресса Коминтерна?

— Был.

— Взгляните на эту фотографию. Нас интересует вот этот человек... Спросите, пожалуйста, отца.

Альфред волновался. Если бы этот человек, действительно похожий на отца, оказался Бернардом Кёненом... И, наконец, пришел ответ:

«...Твое письмо мы получили перед рождеством и были поражены, увидев эти редкие фотографии... Сердечное спасибо за все, в том числе за интересное сообщение о товарище Еремине, который так упорно разыскивает фотографии нашего великого Владимира Ильича Ленина и при розысках натолкнулся на эти снимки...»

Теперь несколько слов о фотографиях: на большом снимке правильно указано на меня: я сижу в конце президиума...»

*

Братья Альфред и Виктор Кёнен среди разведчиков Западного фронта. Осень 1941 года.

Бернард Кёнен в президиуме III конгресса Коминтерна. 5 июля 1921 года.

Перед нами две фотографии, запечатлевшие основные этапы жизни немецких коммунистов Кёненов.

Члена ЦК СЕПГ Бернарда Кёнена нет в живых, но сын Альфред продолжает дело своего отца — дело строителя и защитника новой, социалистической Германии.

ПУБЛИЦИСТИКИ

Виктор Липатов

СЕКРЕТАРЬ ГОРКОМА

В дни работы XVI съезда ВЛКСМ не раз, очевидно, прозвучат с трибуны слова об облике комсомольского вожака, о месте его в жизни организации.

Сегодня мы публикуем рассказ о двух комсомольских секретарях — двух из многотысячной армии руководителей и застрельщиков молодежи. Они — эти двое — ровесники. У них общие интересы, четкое осознание своего долга. Пришли они в Красногорский горком комсомола Московской области разными путями, и в появлении там того и другого — определенная закономерность.

1. романников

Зал большой, шторы раздвинуты. В зале шум, гам. Собрался городской комсомольский актив. Романников сидел тут же, не торопился открывать собрание, осматривался. Президиум стали избирать стихийно, предлагали кандидатуры, а кто-то крикнул горласто, звонко: «Секретаря горкома Романникова не изберем, он и так, когда надо и не надо, — в президиуме, за красным сукном!..»

Волна покатила — собрание зашумело и вроде бы одобрительно.

Сердце у Романникова екнуло. Обухом по темени тот выкрик, вот те и на: дожили до анархии. Поднялась обида: за что? Обида заставила побежать на сцену, попросить слова, а дали, стал он отчитываться: как работал, как ошибался и почему. Речь понравилась, кто-то снова горласто: «Ясно! Всю жизнь парень отдал комсомолу и себя без него не представляет».

Маслом по сердцу, но Романников уперся. «Обращаюсь, — сказал он, — к членам горкома, прошу освободить от работы, прошу голосовать».

Руки то ли поднялись, то ли нет, но в каждой увидел Романников странное, непонятное, не знал, что, но понял: его судьба — и... проснулся.

Этот сон еще долгое утреннее время жил в нем, толчками гнал кровь по артериям и венам. Вспоминались всякие нюансы сна. А если действительно не изберут, думал Романников, я ведь действительно обижусь, больше того, страдать буду.

Что греха таить, он привык открывать пленумы и собрания, привык хозяйски садиться за стол, покрытый то красным, то зеленым, то бордовым сукном, привык смотреть в зал и на трибуну, слушая очередного докладчика, — все это стало частью его жизни, необходимым атрибутом.

Но суть, разумеется, не в атрибутах, не в привычке; весь прошлый, почти тридцатилетний, жизненный опыт подсказывал Романникову, что кроется за ними другое, самое главное — отношение людей к тебе, к твоим действиям.

И если бы мы попытались расшифровать ту самую речь, с которой во сне Романников обращался к активу, она обернулась бы исповедью о его праве на секретарскую должность, а значит, в какой-то мере и о праве быть самим собой.

Романников как будто родился с задатками организатора; неизвестно, как проявлялись они в яслях или в детском садике, но во дворе он уже верховодил, и тому способствовали физическая сила, спокойствие и языкастость.

Сформировал его, впрочем, комсомольский оперативный отряд, где обнаружилось еще одно качество — смелость, а окончательно — завод, комсомольско-молодежная бригада, коллектив коммунистического труда, чьи заповеди блюли строго: отлично работали, на собраниях спрашивали друг с друга, в кино, на танцы — вместе, уходил кто в армию — посылки слали.

У Таисова, бригадира, Романников научился многому. Был Таисов суров, требователен, но и справедлив, перед начальством шапку не ломал, говорил, что думает, учил свою «зелень» тайнам мастерства, не в пример другим опытным модельщикам. За это его уважали, любили, ходили в гости — приглашал к себе в общежитие, там вся «начальственность» побоку, шел на кухню, жарил картошку с бараниной — бригада пировала...

В сферу же дел общественных втянул Романникова Анатолий Баранов, в прошлом секретарь комитета комсомола Павшинского завода цементного машиностроения, которому Романников верил, «как богу», скажи Баранов: прыгай в огонь — прыгнул бы. В президиумах комсомольских собраний они сидели рядышком, слушали и хвалу и критику, подчас резко-обличительную, — Романников, тогда еще «необстрелянный», вспыхивал, лез на трибуну, чтобы ответить ударом на удар. Баранов его осаживал, учил простой, житейской мудрости — не отвечать бранью на брань, не заботиться только о своей чести, помнить, что секретарю негоже пускаться в пререкания на трибуне.

«Несправедливое отбрось, — говаривал он, — а справедливое прими». Слова эти Романников запомнил и впоследствии только замечал: эта горбушка в мой адрес.

Слушая Баранова, он сделал себе зарубку: вот я, просто Романников, — это одно, а я, Романников, лицо общественное, — другое. И, когда его самого избрали секретарем, утвердился в том.

Романников положил много сил, пролил много пота, но стал признанным мастером массовых мероприятий и после череды «призывающих» и «понукающих» предшественников стал для заводских комсомольцев тем секретарем, который что-то давал. Каждое мероприятие, это стало законом, приносило конкретный результат. Тогда в Романникове выработалось убеждение: главное — первый шаг, личный пример, какое ни на есть, но действие, и кем-то сказанное слово «трудяга» было для него высшей оценкой.

В заводском альбоме сохранились фотографии: Романников на воскреснике, в пионерлагере, на слете прожектористов, он же, выпятив грудь, печатает шаг в шеренге допризывников...

С завода, от станка принес он в комсомольский комитет прямоту и простоту, которые не позволили ему превратиться в «диктующего» и «указывающего», что свойственно людям, жизнью не закаленным, не «мятым», быстро застывающим в монументальной величавости.

Но все трудные годы «секретарства» Романникову не хватало кругозора, а порой и просто образованности. То, к чему другие приходили легко, у него рождалось в муках, ошибках, повторениях. Готовил ли он теоретическую часть своего доклада, встречался ли с более эрудированными активистами, выступал ли на областном семинаре, читал ли в газетах статьи о самом передовом опыте, — смутное недовольство собой все чаще тревожило его. Жизнь теперь, казалось ему (а так было и на самом деле), выдвигала все более сложные и заковыристые требования. Потому, став секретарем горкома, он вместо технического вуза, куда раньше стремился, подал документы в педагогический, на истфак, считая: для общественного работника необходимо гуманитарное образование. Здоровье позволило ему выдержать жесткий график: в двенадцать — отбой, в пять — подъем. Утром и вечером — учеба, днем — работа.

Начальные дни в горкоме жил он напряженно, боялся «дров наломать», держался замкнуто, даже нелюдимо, а если и улыбался, то, как говорили, непонятно.

Но «дрова ломать» пришлось. От желания поскорее самоутвердиться Романников старому и опытному работнику — заводу Крючкову, неизменно подчеркивавшему: «Один я работаю, как лось...» — бросил в лицо: «Лучше бы ты убирался отсюда». Затем они помирились, но власть уже «шибанула» в голову, и ту же фразу, только в другой интерпретации и другим людям, Романников повторил еще дважды.

Его обуревало чертовское самолюбие, за все он хватался сам, пытался сконцентрировать на себе и переварить всю массу поступавшей информации.

Только в конце года он остановился, как после бешеной скачки, взмыленный и несколько растерянный, провел рукой по потному лбу и спросил себя: «Ну и что?»

Это была, считает Романников, его первая победа. Ибо тогда он устроил над собой небольшой суд, где были отброшены командирская резкость и страсть к переоценке собственных сил.

Потом началась вторая стадия его деятельности, которая сейчас, как он считает, достигла «восковой спелости». Он научился организовывать работу других и все чаще и чаще размышлять.

Однажды ночью схватился с постели, зажег свет, стал рисовать кружочки, чертить графики — проходил азы комсомольского НОТа.

Весь многолетний опыт подсказывал Романникову: комсомольский задор и огонек — прекрасно, но все же недостаточно; каждое действие должно быть обосновано, перспективно осмыслено.

И все же больше отличает Романникова реакция на быстротекущую окружающую жизнь; суть для него злободневна, насущный воздух и хлеб — дела, которые следует решать, решать и решать.

Как в детстве, когда он бросился в реку и спас своего друга, как в армии, где он однажды ворвался первым в горящую каптерку, как уже в заводских секретарях, когда с трибуны отчетно-выборной конференции он обличал секретаря горкома за барство, — так и сейчас Романников старается принять решение быстро, чтобы оно тут же обрастало «мясом».

...На бюро — отчет о воспитательной работе в профтехучилище механического завода: комсомольского влияния в училище, по существу, нет! Сразу же после бюро Романников идет на завод, собирает комсоргов цехов и устраивает «допрос с пристрастием»: как цехи шефствуют над пэтэушниками? Подтверждаются самые худшие предположения. Романников ведет комсоргов в училище и чуть не за руку разводит по группам...

... Заходя в комитет комсомола Павшинского завода, Романников останавливается в дверном проеме, ухватившись за косяки, окидывает всех присутствующих внимательным и лукавым взглядом, затем громко произносит: «Здравствуйте, товарищи!» Подходит к каждому, тяжело жмет руку, словом, чувствует себя, как дома.

Но следом за ним — дверь нараспашку. Входит парень, бросает на стол «бегунок» и с надрывом: «Подпиши, секретарь!»

— Почему уходишь? — интересуется Романников.

— Мое дело, хочю — ухожу, — получает в ответ.

— Я секретарь горкома, — настаивает Романников.

— Может, взносы проверишь? На! Гляди! — И парень рванул из кармана комсомольский билет. — Ты бы вот встал за мой станок. Он на несколько десятков лет старше меня! Заработал бы детишкам на молочишко...

Романников хотел резко заметить парню, что у станка он стоял, когда тот еще под стол пешком ходил, да сдержался, вспомнил: на комсомольском собрании Митинского механического завода молодые рабочие говорили о том же. Романников собирает актив, ставит конкретную задачу. Проверка показала, что на Павшинском заводе квалификационная комиссия не собиралась годами, а мастера халатно и без внимания

относились к новичкам. Кроме того, бюро горкома решает — провести анкетный опрос и самофотографию дня молодых рабочих, а затем по материалам опроса Романников выступил на пленуме, убедительно доказав, что должные условия труда и повседневная забота могут повысить производительность труда. Ударный месячник после пленума показал реальность этого заявления...

Вдруг оборвется нить суеты, текучки, и покажется Романникову: нечем заняться, руки по инерции ухватят какой-то старый план, трижды читанный и исчерканный, и станут его листать...

Романников думает в такие минуты: все, что он сделал и что сделать предстоит, бесследно исчезает в бездонной пропасти, отчаяние неопределенности охватывает его. «Все, — говорит он, приходя домой, — завтра подаю заявление об уходе».

И это даже не усталость, скопившаяся и двинувшаяся в атаку, это случается, когда живая романниковская забота сталкивается с тем, что мы зовем житейской необходимостью.

За годы секретарства Романников научился признавать ее власть, научился быть дисциплинированным и исполнительным, что и дало свои результаты: грамотами его награждали неоднократно. И потому секретарь он «счастливый» — наказать за что-либо секретаря горкома сущие пустяки, настолько широк диапазон его ответственности.

Житейской необходимостью я называю ситуации, когда Романников действует не так, как ему хотелось бы, а так, как, он считает, — необходимо по тем или иным причинам.

На бюро обсуждался вопрос — в кратчайшие сроки охватить всех до единого учебой. Романников полагал: «Дело благородное. Невозможное, но в принципе одобренное вышестоящей организацией. Чего копыя ломать? Примем и мы решение, а там — как кривая вывезет». И, когда Пономарев, секретарь комитета комсомола Павшинского машзавода, указал ему на бессмысленность затеи, Романников «обрезал»: «Ты выступил не по делу».

Пономарев же рассуждал, как ему казалось, как раз «по делу», которое, если сейчас замолчать, обернется суматохой и скоропалительностью, да к тому же и оскорбил: «Значит, и выступить уже нельзя?.. Хорошо, я буду молчать и со всем соглашаться».

Романников неправоту своей категоричности признал, ибо при всем том его неотъемлемое качество — прямота и честность, как сказал бывший парторг Павшинского механического завода Дементьев: «Я вот в любых ситуациях шкуру не меняю, и он такой».

Действительно, шкуру Романников менять не станет, но... Бывали случаи, когда он поднимал руку «за», а в душе был против (сомневался в том, имеет ли он, секретарь горкома, право будоражить людей своими домыслами и впечатлениями). Бывали случаи, когда он, следуя принципу: «Нет личного контакта — поддержки не получишь», — сознательно считался с болезненным самолюбием некоторых заводских секретарей и первый шел на поклон. Он заходил к ним в кабинеты, закрывал дверь на ключ и говорил: «Ну, выкладывай, на что обижаешься, где я над тобой начальником выставился?.. » Хотя, может быть, и следовало откровенно выложить свое мнение, о данном человеке сложившееся.

Романниковские сомнения проистекают из разных причин, они появляются тогда, когда он не может быть самим собой, а учится умению «показать себя на людях», в чем, как отмечали, и достиг некоторого успеха. Впрочем, сомнениям, чувству неуверенности Романников развиваться не дает, старается никому своих тревог не показывать, наоборот, в такие минуты он разжигает в себе азартную злость, какое-то самоподзуживание, лихость и «бесшабашность».

— Как это не сделать? — вопрошает он себя и отвечает. — А вот и сделаем!

Я обратил внимание на романниковскую манеру поручать: он улыбается, как бы полуизвиняясь за то, что вот приходится ему, а не кому другому, тревожить, давать задания, посылать людей на дело трудное, самому подчас до конца неясное. В этот момент проступает на его лице какая-то незащищенность, даже наивность — и именно она, пожалуй, трогает и убеждает.

Потому атмосфера вокруг Романникова раскованная. Чтобы убедиться в этом, достаточно хоть один денек посидеть в горкоме, отношения там сердечные и простые. Идет обсуждение проступка — резюме Романникова: «А давайте вообще не будем наказывать, человек все правдиво рассказал». В редкие дни конфликтов Пахарев, второй секретарь горкома, удивляется: «Как будто что-то назревает-назревает, пройдет некоторое время, и пик напряжения срезан».

Все это нравится разным людям, собравшимся в горкоме: и инструктору Сереже Зотову, который втайне пописывает стихи, и заворгу Игорю Маркову, которого Романников в свое время в комсомол принимал, и шоферу Толе Софронову, с которым Романников легко вытаскивает из грязи старенький «Москвич».

Фундамент, на котором держится романниковский организаторский талант, — доброта. Убери се и талант рухнет, превратится в прах.

Я не представляю себе Романникова вне действия, вне отношений с другими людьми. Оборви все связи — и он «голый король», человек без особенностей, без неожиданностей, обыкновенный хороший парень.

А горком комсомола один из лучших в области. И авторитет у Романникова крепкий, никто не задумывается, скажем, над вопросом: идти или не идти к нему советоваться? К нему идут. Он — работник, «трудыга». Я представил себе Романникова в ситуациях рискованных, обнажающих: будь наводнение, он первым вскочил бы в лодку и поехал бы снимать людей с крыши, пожар — наверняка полез бы в горящий дом. Словом, везде, в трудном деле, где обнаруживалось место первого, по-моему разумению, — он мог бы его занять, стать на лыжи и протапывать лыжню, не печалась, что по ней пройдут более сильные мастера...

К ним у него зависти нет, просто он трезво оценивает свои возможности, свои недостатки. Если к нему придет человек, как некогда на заводе коммунист Серафима Гавриловна Шалдина, и скажет: «Все плохое у тебя вылетело, а вот... нехорошее кое-что осталось» — он не обидится. Более того, такого человека он всегда ждет.

2. ПАХАРЕВ

Если раньше Романников мог обойтись без Пахарева, то сейчас Пахарев — лицо в горкоме комсомола необходимое. Он — комсомольский руководитель, качества которого отвечают дню сегодняшнему.

Забегая вперед, скажу, что Романников, в чем его несомненная заслуга и достоинство, понял это. И хотя рекомендовал он Пахарева в секретари больше чутьем, по интуиции, хотя у Пахарева была нелестная устная характеристика, данная ему бывшим начальником на производстве: мол, любит в бумажках копаться, — все же, полагаю, за «чутьем» у Романникова крылось осознание возросшего уровня комсомольской работы, требовавшего широкого политического кругозора, умения мыслить и анализировать, задумываться и обобщать. За «чутьем» крылся беспощадный анализ злобы дня и задач перспективных. И оно не подвело, ибо там, где Романников «прихрамывал», Пахарев проходил «беглым шагом».

Если Романников с юных лет как-то органично, в силу внутренней энергии занялся общественной деятельностью, то в «крещении» Пахарева был и элемент случайности и элемент необходимости.

Элемент случайности, по его мнению, — многолетнее участие в агитбригаде МВТУ, где он учился (привела его в агитбригаду давняя страсть — любил играть на трубе). Когда он пришел на завод инженером, об этом узнали и через Пахарева несколько раз приглашали агитбригаду в Красногорск. Концерты прошли хорошо, а комитетчики усмотрели в Пахареве дар организатора: «Голковый культработник!» И Пахарев стал комсоргом отдела, а затем был избран и в комитет комсомола завода.

Элемент же необходимости был определен Пахаревым теоретически. Он рассуждал так: вокруг меня все время сплывается какая-то компания людей интересных, значит, я с людьми работать могу. А раз так — почему же я буду только для компании, пусть я буду полезен и более обширному коллективу. То есть стремление к общественной деятельности у него было осознанным.

«Чутье» Романникова имело под собой реальную базу. У него на глазах в горкомах и обкомах в свое время появились люди, умевшие мыслить и обобщать, писать умные доклады и всевозможные записки по самым разным проблемам; были эти люди своеобразными «медиумами», общавшимися с той стороной общественной жизни, которая работнику — практику, организатору была неведома. Значились они на вторых ролях, — секретарь обычно вызывал такого человека и говорил: завтра мне выступать — напиши. Или: на бюро будет обсуждаться такая-то проблема — подготовь свои соображения и т. д. «Медиум» обкладывался томами, сидел, потел, соображал и назавтра радостно приносил плоды «сидения» секретарю, а тот, не давая себе подчас труда самому подраскинуть мозгами, брал записку, вычеркивал то, что ему казалось ненужным и лишним, выбирал рациональные зерна. Уже само по себе наличие в горкомах таких штатных мыслителей было явлением положительным, ибо они часто наталкивали практиков на мысли, для тех неожиданные, заставляли взглянуть на опыт как бы с высоты и тем самым подчас вносили в деятельность организации свежую струю. Но для дня сегодняшнего «медиум» — пройденный этап, паллиатив. Не широко распахнутые ворота, а щель в заборе, сквозь которую протискиваешься с трудом, роняя то очки, то кепку.

Романников понял, что «такой человек» не нужен, склад характера не позволял ему подобного «мыслителя» иметь, он привык все делать сам. Для него находкой был бы человек иной, действующий на равных. Когда Пахарев впервые пришел «для разговора» в своем сером модном костюмчике с отлетающей несколько назад полый пиджака, весь словно отутюженный, робкий, и заговорил тихо, но с явно проступающим чувством собственного достоинства, Романников насторожился.

Уже тогда различил Романников в Пахареве черту, ему симпатичную: желание иметь по всему свое доказательное суждение, выводить его из той груды наблюдений, эрудиции и жизненного опыта, которые имелись у Пахарева в данный момент. Романников уловил в нем и стремление к излишнему самоанализу. Все это его слегка смутило, но понравилось. И вопрос о втором секретаре горкома был решен. Впоследствии, вспоминая первое впечатление, Романников иной раз и клял себя, ибо Пахарев доставил ему, кроме радостных, и неприятные минуты, всегда сомневаясь, всегда выдвигая на первый план беспощадное жало анализа. Когда Романников говорил: «Надо», — Пахарев задумчиво качал головой, нервно барабанил пальцами по столу и тихо замечал: «А вот...»

А чаще просто ходил по горкому, опустив голову, и тяжело молчал. Молчание это угнетало Романникова, и, понимая, что человека что-то мучает, он не выдерживал, спрашивал, укоризненно глядя на седые пахаревские виски: «Ну что? В чем дело?»

И тогда Пахарев, знавший, что Романников отнюдь не считает себя тем единственным, который изрекает истины, начинал изливаться: я считаю, что ты поступил неверно, что вот эту мысль ты выразил не так.

Возьмите месячник общественного порядка, придуманный Романниковым. Месяц все комсомольцы города были поставлены «под ружье», комсомольские патрули обходили дворы и чердаки, взяли на учет всех «сомнительных» подростков, только Романников с сорока ребятами побеседовал... Результат это дало, но, конечно, временный. Пахарев же не сторонник мгновенных операций, дай ему волю — он этот месячник растянул бы на долгое время.

Пахаревские «почему» касались самого разного — от проблем глобальных до мелочей. «Как с ростом рядов?» — звонят из обкома... «Давай нажмем», — говорит Романников. Но Пахарев упорно и настойчиво ему противодействовал, доказывая: только

качественный подход поможет освободиться от балласта в будущем. Нельзя спешить — нужно лучше готовить...

— А почему, собственно говоря, мы без разбору проводим субботники, — «цепляясь» он в другой раз к Романникову, — мы же за хозяйственников хвосты подметаем. Давай вот диспут проведем с ребятами и решим: стоит или нет. «Ага, — думал Романников, — разведем турысы на колесах — и вообще никто на субботники не придет, все дискутировать будут».

Или другое: как подводить итоги соревнования среди комсомольских организаций? Романников: раз в месяц, это будет подстегивать; Пахарев: раз в квартал, чтобы качественнее проанализировать, чтобы без липы... . >

Скажем, оба они, и Романников и Пахарев, пекутся о роли комсомольской группы — той главной ячейки, где все, собственно, и начинается, и считают: именно о ней должна пойти речь на XVI съезде...

Если Романников формулирует свою мысль применительно к сегодняшнему дню и предлагает продолжить Ленинский зачет и после съезда, чтобы в группе он проходил постоянно, то Пахарев, заглядывая в день завтрашний, предлагает дать группе права первичной организации, тем самым резко повысив ее роль...

Всегда у них завязывалась длинная беседа о стиле и методах работы, кончавшаяся или полубовным соглашением, или прежним упорствованием Пахарева.

— Нет, не убедил, — краснея, говорил он в таких случаях. — Ты мне лучше прикажи.

Готовых рецептов не было ни у того, ни у другого, но Романников знал, как в данном случае поступали другие, и, поскольку время не терпело, приказывал.

Пахарев же добросовестно выполнял. Когда, посомневавшись и добротнo взвесив все «за» и «против», Пахарев брался за дело, в нем проявлялась другая черта, другая крайность — некоторая фанатичность, готовность идти до конца хоть с завязанными глазами, фанатичность бескорыстная и жертвенная. Потому долгое время его любимыми героями были Лопаткин, дудинцевский изобретатель, и художник Винсент Ван-Гог, письма которого он читал с упоением.

Мы попытались вместе с заворгом Игорем Марковым, в прошлом известным в Красногорске вратарем, представить себе роли Романникова и Пахарева в футбольной команде. Романникова Игорь, не задумываясь, назначил центральным нападающим, «как Стрельцова, чтобы голы забивал», ну и, само собой разумеется, капитаном команды'. Пахареву же' досталось «проклятое место» полузащитника, которому необходимы прежде всего трудолюбие и трезвое мышление для того, чтобы питать «центра» мячами.

Работник Пахарев старательный и самый пунктуальный в горкоме. Рабочий день сжат у него тисками расписания. Все действия и наблюдения фиксируются в записной книжке. Некоторые за это его недолюбливают: сделает замечание — и записывает, потом проверяет — и снова записывает. Повышенная требовательность сочетается у Пахарева с жестким самоконтролем: внутри у него живет этакий инспектор, после рабочего дня твердой рукой ставящий оценки за слова и поступки. Инспектор этот знает все пахаревские слабости и особенно строго осуждает за одну — тому случается «психануть». И, когда уже, казалось бы, нечего себя больше бичевать, он ставит последний, но, пожалуй, самый главный вопрос: что сегодня ты дал людям?

Отдача собственного ума, сердца и нервов — для Пахарева, как, впрочем, и для Романникова, — высший долг, вернее, простая жизненная потребность. Если наступит такой момент, когда он вдруг почувствует: больше сказать нечего, дать нечего, — он уйдет с этой работы, что, впрочем, может быть, будет крахом его самых светлых надежд и чаяний.

Когда однажды пришел в горком встрепанный человек, принес свой комсомольский билет и стал отдавать его за ненадобностью, Пахарев около часа читал ему лекцию о комсомоле, затем еще столько же, не уговаривая, но разъясняя и нападая. Человек ушел и не только унес билет с собой, но, по мнению Пахарева, немножечко в чем-то изменился. «Я его убедил», — говорил гордый Пахарев.

Вместе с тем Пахарев — человек настроения, живет страстями, но не бурно, а тихо, внутри себя. Ребята замечали за ним: иногда в компании он весел, оживлен, говорлив, поет, танцует — словом, широкая натура, да и только В другой раз, как мышь, забьется в кресло и, как в рот воды набрал, молчит, «теоретизирует». Хотя назвать Пахарева теоретиком невозможно, потому что это значило бы сразу же отбросить его к клану людей, несколько далеких от жизни осязаемой, в мир формул, постулатов, аксиом и прогнозов. А Пахарев все же работник практический, только имеющий к области теории ярко выраженное тяготение. Оно выражается прежде всего в том, что он постоянно заботится о пополнении кладовой своих знаний, о расширении кругозора.

Перед активом, где впервые должны были говорить о Ленинском зачете, Пахарев перерыл груды литературы, внимательно читал Ленина, исчеркал красным карандашом статью в «Молодом коммунисте», искал наиболее «рациональный вариант». И когда увидел, что слушают его с вниманием и даже старательно записывают, убедился: вариант найден.

Это пример давний. Но вот перед III съездом колхозников в колхозе «Ленинский луч» состоялось комсомольское собрание: «Только в труде вместе с рабочими и крестьянами можно стать настоящими коммунистами». Своеобразный ленинский урок. «Задачи союзов молодежи» были досконально изучены ребятами. Пахарев сидел с многими, думал над докладом, настаивал на сравнении задач, вытекающих из ленинской речи, в годы организации колхоза — тридцатые и в нынешние; помогал формулировать постановление, где было все нацелено на одно — как повысить авторитет колхозной комсомольской организации.

И сейчас Пахарев бегаёт, как курица с яйцом, дрожит над этим колхозом, чтобы посеянное дало ростки, чтобы конкретные меры, которые там уже осуществляют, не пресеклись на полпути. А мечтает он уже о другом — о постоянных ленинских уроках в каждом сельском молодежном коллективе. А итог, он зафиксирован в плане, — районное комсомольское собрание в ноябре — «Ленин о задачах союзов молодежи» (50-летие III съезда РКСМ).

Однажды Пахарев сидел с однокашниками и участвовал в застольной беседе, границы которой простирались от рассуждений об общественных фондах до культа личности. Причем многое, о чем говорилось, было Пахареву неведомо, и он взял себе на заметку — почитать, просветиться. Вот эта категория молодых людей с ромбиками на лацканах привлекла его пристальное внимание. Впрочем, не исключено, что были тут и «свои» интересы. Пахарев сам еще инженер далеко не старый. Его огорчает несовершенство структуры продвижения инженеров по службе. Пахарев твердо убежден, что, говоря о больших проблемах гражданственности инженера и его общественной активности, одновременно следует разобраться в делах житейских: работе по специальности, перспективе роста, повышении квалификации, обеспеченности жильем. Как только бюро ЦК ВЛКСМ одобрило деятельность комсомольцев одного из московских институтов, Пахарев с группой актива отправился в столицу, в этот институт, сидел там в комитете комсомола, рылся в бумагах, выспрашивал долго и дотошно. А затем у него в кабинете собрались «знатоки», с которыми Пахарев воевал, настаивая на том, чтобы советы молодых специалистов решали вопросы по-деловому. Обсуждали они предложения для совета молодых специалистов, подготовленные Пахаревым.

Забота не простая: в год сто молодых инженеров приходит, сто уходит. Пахаревские предложения привлекали трезвым подходом. «Молодые специалисты — люди, определившие твердо профессию, стоящие на пороге создания семьи, зарабатывающие 100 — 150 рублей, с довольно широким кругозором, стремлением иметь свою точку зрения и не всегда активно участвующие в общественной жизни» и т. д.

В предложениях, в частности, задается непривычный вопрос: официально «молодым» специалист считается три года — правильно ли это? И рекомендуется: считать его таковым

по производственной деятельности — до получения звания старшего инженера; по жилью — до обеспечения жильем; по участию во всевозможных конкурсах — до 35 лет...

— Хочу осознать роль городского комитета комсомола, — говорит Пахарев.

Слова не пустые и не громкие.

Начиная от структуры (несоответствие горкомовских секторов решаемым проблемам смущает Пахарева) и подбора комсомольских руководителей (подбираем секретарей на глазок, а куда девался школьник актив?) до НОТ — нормальной, как говорят в Красногорске, организации труда. Может показаться: один Пахарев думает об этом и осуществляет, тогда как Романников занимается только общеконандирской координацией действий. Это не так, ибо Романников также весь в тех же хлопотах, а разница у них в том, что, допустим, Романников, внедряя перспективное планирование, пишет в плане: «четыре пленума», — а Пахарев, поднимая обе руки «за», тут же ввертывает вопрос: «А почему именно четыре, а не пять?»

Вот он, коронный пахаревский вопрос, который мысленно или вслух он постоянно задает себе и другим: объяснить причину каждого явления.

Поскольку Пахарев — второй секретарь, он отвечает за школы. Именно со школьными комсомольцами он провел свой первый неудавшийся эксперимент — поручил готовить пленум горкома о школе самим школьникам. А поскольку они были людьми неискушенными и не слишком приученными к самостоятельности, материал, собранный ими, был розовым и сладким до липкости... И тем не менее Пахарев не огорчился, он чему-то научился, а по характеру ему свойственно искать и находить то неожиданное, что дает толчок мысли.

То и дело на свет появляется его знаменитая записная книжка...

В ней имена, случаи, события, наблюдения. Недавно в эту книжку попал и Цыцаркин. На школьном диспуте, где обсуждался дремучий вопрос: что лучше — красота внутренняя или внешняя, — Цыцаркин, значившийся в школе «неблагополучным», отвечал: «Внешняя», — чем потряс ведущего, покорно ждавшего напрашивавшийся ответ: «Внутренняя».

Ведущий спросил: почему же?

— Внутренняя, — сказал Цыцаркин, — служит узкому кругу людей, компании, родственникам, а внешняя — она же для всех.

— Неужели ты, — коварно продолжал ведущий, — увлекся бы пустой, но красивой девушкой?

— Обязательно, — ответил Цыцаркин, — но я ей отдал бы половину своего содержания.

Школьник, пользуясь приемами схоластической логики, посмеялся над схоластикой диспута. Пахарев порадовался этому, — Цыцаркин попал в поле его зрения, как человек способный, хотя в это же время некий ответственный товарищ торопливо шептал Пахареву на ухо: боже, что они говорят, вы выступите, обязательно выступите...

Что есть арка? Арка не что иное, как сила, вызванная двумя слабостями. Это блистательное определение Леонардо да Винчи характеризует отношения Романникова и Пахарева. Что есть у первого, нет у второго, и наоборот: процесс взаимопроникновения неизбежен.

Романников преподавал Пахареву краткий курс организаторских наук, отсекая педантичность, граничившую с занудливостью, склонность к чрезмерной строгости и деспотичности — научил «прощать по мелочам». В свою очередь, Пахарев привил Романникову привычку к тому, что Александр Грин называл остановкой внутри себя, — привычку к размышлению и постоянному анализу.

Но в общем-то все это «прокладки» между ними. Остались они все же разными, непохожими, и вот эта непохожесть была сбалансирована в одну силу.

Содружество сложилось, но каковы его деловые результаты? — спросит читатель и будет прав.

Вот несколько строк из последних отчетов Красногорского горкома комсомола:

«Фундамент городской организации — молодые рабочие. Раньше вся забота об этой категории сводилась к ритуалам посвящения в рабочий класс. Сейчас постоянно изучаются интересы и запросы, условия труда и быта рабочей молодежи. Анализируется их участие в управлении производством. Комсомольские группы по-деловому решают вопросы повышения мастерства каждого. Под контролем взаимоотношения молодых с администрацией. Организуются конкурсы на лучшего по профессии, смотрят рабочего места.

Не забыты и другие категории молодежи. Молодые специалисты, ранее находившиеся вне комсомольского воздействия, теперь постоянно ощущают внимание горкома.

Утвердились многие формы общественного влияния. Здесь и совет молодых учителей, и клуб вожатых, и ОКБ, и шефство комсомольских коллективов над подростками в микрорайонах, и штаб походов по местам боевой славы, и советы молодых специалистов, и отряды Комсомольского прожектора и технического творчества. Соревнования между комсомольскими коллективами стали проводиться более обоснованно...

Главным средоточием комсомольской жизни стала группа. А об успехах общих красноречиво свидетельствуют цифры приема в комсомол. Городская организация неуклонно растет в год на 300 человек. Увеличивается и количество учащихся в школах рабочей молодежи, вечерних техникумах и вузах, число слушателей в политекружках...

В честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина свыше 6 000 комсомольцев и молодежи приняли и успешно выполнили личные производственные обязательства. Каждый комсомолец получил общественную аттестацию.

Ленинский зачет стал рычагом повышения общественной активности в молодежных коллективах...»

Все это и выдвинуло Красногорский горком на одно из первых мест в области.

Чем знаменит секретарь: делами, поведением, яркой речью? Что остается в памяти?

Мне рассказывал один каширский активист о давнем секретаре обкома: однажды в обкоме, слышу, здороваются со мной сверху, со второго этажа, оглянуться не успел, он по перилам — вжик, — как мальчишка, съехал ко мне вниз.

— Ну и что, — скажет читатель, — эка важность! И дурак съедет.

Так-то оно так, но теперь я порой смотрю на иного секретаря и думаю: а ты съедешь или побоишься?

Для одного пребывание в секретарском «кресле» — случайный штрих в биографии, для другого — явление закономерное, событие, проявляющее человека, как лицо значительное, индивидуальное, яркое. Случилось мне беседовать с одним комсомольским секретарем, беседовать скучно и нудно, никак не мог я вырваться из заколдованного круга цифр и перечня мероприятий, которым он искусно меня оплел. «Сухарь, — подумал я, — случайный человек», — и с радостью предвкушал минуту, когда переступлю на обратном пути порог его кабинета. Но вот мы заговорили о его увлечениях — и человек расцвел, речь стала емкой и красочной — о том, как он руководит дворовым кружком по выжиганию на дереве, это была его страсть, его истинное общественное и личное призвание...

Я привел эти примеры, чтобы сказать: было время, когда два качества: простота (читай — «свой парень») и врожденный организаторский талант (читай — «было бы желание») — в общем-то были, достаточными для молодежного руководителя.

— Не знаешь, — говорили ему, — научим, только «гори».

И они «горели», везли на себе нелегкий воз комсомольской работы, и порой получалось так, что воз убегал вперед, а они уже плелись позади.

И к руководству организацией приходили люди, не только обладающие простотой, человечностью, чуткостью, природным талантом, но и размышляющие в унисон с запросами и потребностями времени, теоретики от практики, знающие работники. Бывали случаи,

когда они конфликтовали, не находя должного применения своим силам и способностям. Но, замечу, в целом основы для конфликта нет.

*

Пока писал очерк, в Красногорском горкоме произошли перемены: Романникова перевели в обком, Пахарева избрали первым секретарем...

Романников зашел ко мне, я спросил:

— Ну как там, у Пахарева? Он рассказал и обронил реплику:

— Когда его избрали вторым, я сразу же в дело сунул, а у него — второй секретарь неделю сидит, бумажки читает, готовится... Пахарев у него еще и экзамен принимать будет, молодец...

Красногорск. Московской области.

почта «ЮНОСТИ»

ЕЩЕ РАЗ О «ВОСЬМИ ПИСЬМАХ»

«Юность», здравствуй! Мне восемнадцать лет, в прошлом году я окончила школу и вот уже второй год работаю на заводе. Сегодня стала просматривать «Юность» № 9 за 1969 год, увидела статью «Восемь писем». Прочитала не отрываясь, и вот сразу же пишу тебе. Пишу потому, что этот вопрос очень болезненный, и пишу для вас, девчонки!

Вот первое письмо из восьми. Девочки, его написавшие, не верят, что есть девушки, которых не волнует проблема замужества, которые не боятся остаться одинокими. А что в вашем представлении — одиночество?.. Есть разное одиночество. Вы уверены, что, если вы выйдете замуж, будете иметь семью, страх одиночества оставит вас? Возможно, что для вас это будет и так, но я не верю, что весь смысл жизни заключается в том, чтобы выйти замуж! Знаете ли вы, что можно иметь семью, мужа и быть все же одинокой? Знаете ли вы, что можно прожить ради других и это одиночество почитать за счастье? Знаете ли вы, задумывались ли вы о том, что это «одиночество», какое вы сейчас имеете в кругу друзей, радости, познания, спортивного азарта, прелести студенческой жизни, — будет для вас одним из светлейших воспоминаний, вызывающих грусть о невозвратимом? А вы пишете: «...а годы проходят, все лучшие годы...»

ВТОРОЕ ПИСЬМО. Марина... «Неужели все девочки такие?.. Пусть хоть кто-нибудь ответит мне!» Я не осуждаю тебя за то, что было у тебя с твоим парнем, с которым у тебя «до некоторого времени было все хорошо, а потом...», да и можно ли осуждать за веру, веру в чистоту отношений? Все может быть прекрасным, но особенно, на мой взгляд, должна быть прекрасной близость с любимым человеком. Ведь это не животное влечение самца и самки, а чувство, на которое способен только человек... Животному миру это влечение дано природой и свойственно ему, в человеческом же мире оно недопустимо! И я не верю, чтобы человек мог привыкнуть к этому, как пишешь ты. Эту отговорку придумали для себя люди, пытающиеся прикрыть словами скотское отношение друг к другу в физической близости. Можно ли подвергнуть себя такой нравственной и физической травме? Можно ли к этому привыкнуть?.. Беги от тех, кто говорит, что в этом ничего нет страшного] Не верь пошленьким словам, что время такое и все такие. Нет, нет и нет!!! Слышишь? Тебе нет семнадцати, ты ждешь ребенка. Это самое главное сейчас. У тебя все впереди. Верь мне, что ты встретишь человека, который сможет понять тебя, но понять тебя не такую, как ты сейчас, а такую, какая ты будешь... если переменишься.

Три письма средних мало меня задело. А вот ПИСЬМО ШЕСТОЕ: «...Как избавиться от малыша?.. Я не могу жить на смеху!.. Помогите, мне хочется жить...» Я не знаю, как зовут девушку, написавшую эти строки. Но у меня нет слов утешения для нее. Боязнь жить

«на смеху» для нее — самое страшное! А отнять жизнь у ребенка, от которого ты хочешь избавиться, забыть о нем, как о нелепой ошибке, — это не страшно?! Извини, но в двадцать один год нужно иметь силу отвечать и платить за свои ошибки. Люди смогут это понять. Как и у Марины — это в твоих руках!

Поистине глубочайшую симпатию вызывает автор СЕДЬМОГО письма. Вот он, ответ на все письма! Чудо как хороша эта мамочка! Я не знаю, как зовут тебя, ты только на год старше меня, но я хочу сказать тебе: хорошая моя! Не горюй, что у сына нет отца... Тяжело ошибаться в людях, но твой Алешка... никогда не осудит тебя за то, что у него нет отца, потому что, я знаю, ты найдешь слова, чтобы он понял это.

Ирина Р.

г. Пермь.

ОБЯЗАННОСТЬ ДУШИ

Однажды ночью я проснулась от криков во дворе. Кричало несколько голосов, и разобрать можно было только одно слово: «...телефон!..» Я высунулась из окна. «У кого есть телефон? — кричали со двора. — Позвоните на «Скорую»... Человек ранен...» Я бросилась к телефону. «Кто говорит? — спросил меня спокойный голос. — Фамилия пострадавшего? Что произошло?»

Я не знала ни фамилии, ни возраста, ни даже пола пострадавшего, я могла только назвать свою фамилию и заверить, что во дворе нашего дома лежит раненый человек... «Мы не можем ездить на такие вызовы, — сказал голос. — Нас часто обманывают. Забавляются...» Пока я бегала вниз, узнавала фамилию и все остальное, пока снова дозванивалась, прошло время. «Скорая помощь» приехала — человек не умер, но остался инвалидом, а мог бы выздороветь совсем, если бы не потерянные минуты.

Думаю, что врач не имеет права задерживать помощь на том основании, что вчера какой-то негодяй обманул его. Но я сейчас не о враче. О тех, которые забавляются вызовом «Скорой помощи» к несуществующим больным. Шутят — спьяна или от нечего делать. И о последствиях не задумываются...

Люди, пишущие письма в газеты и журналы, иногда находятся в трагическом, кризисном положении — в этом случае в редакции начинается общая тревога, шум, телефонные звонки: вызывают корреспондентов, заказывают билет, оформляют командировку — срочно, немедленно, скорей, скорей...

Но большинство писем просто нуждается в спокойном, неторопливом ответе; люди пишут в редакцию в поисках слушателя или советчика, который им остро необходим, — сотрудники отдела писем садятся за стол и отвечают: советуют, сообщают, куда обратиться, что предпринять.

На статью «Восемь писем»_пришло две тысячи читательских откликов Только одно письмо мы помещением здесь, на остальные ответили их авторам лично, но хотелось бы о них поговорить.

«Дорогая редакция! Мне шестнадцать лет, и я дружу с мальчиком. Но мама не разрешает мне с ним дружить ...»

«Здравствуй, Галка Галкина! Я дружу с мальчиком, а мама...»

«Дорогая «Юность», здравствуй! Я учусь в восьмом классе, а он учится в девятом...»

Таких писем — сотни. Схема их абсолютно одинакова; я учусь в школе и дружу с мальчиком (из моего класса, из другого класса, из другой школы, из нашего двора, из школы рабочей молодежи). Он хороший (мы с ним ходим в кино, он помогает мне делать уроки, он при мне никогда не ругается матом). А мама не позволяет мне с ним дружить (приходить домой после десяти часов, бывать в кино по будним дням, стоять у подъезда, ходить на танцы). Напечатайте мое письмо, пусть маме будет стыдно.

Пусть не обижаются на меня девочки, написавшие эти письма, но, на мой взгляд, их вполне можно сравнить с вызовом «Скорой помощи» к человеку, которого слегка поцарапал котенок. Или вообще никто не царапал — так, показалось...

Почему? Ведь все это написано искренне. Девочка действительно очень хочет встречаться с мальчиком и очень сердится на маму, которая это запрещает. Девочке на самом деле обидно... Какое право я имею так сурово осуждать ее?

Попробую объяснить. Среди восьми писем, напечатанных в журнале «Юность», было одно — от девятиклассницы Кати — вот на эту самую тему: учусь в школе, дружу с мальчиком, мама не позволяет... И в конце письма было написано: «Напечатайте, пожалуйста, мое письмо в журнале — пусть маме будет стыдно...»

Не могу сказать, чтобы меня привела в восторг эта Катина фраза, но я сочла ее случайной, неловко, неудачно сказанной и не стала придираться, ответила на письмо по существу. И вот теперь, прочитав мой ответ, сотни девочек торопятся задать редакции, Галке Галкиной и мне, автору статьи, тот же самый вопрос и к тому же повторяют Катини слова, а они, многократно повторенные, приобретают какой-то кошунственный смысл: «пусть — маме — будет стыдно...»

За что? Читаешь эти письма и спрашиваешь себя: в самом ли деле их авторам пятнадцать, шестнадцать лет? А может, прикидываются? Может, им десять? В самом ли деле они доросли до того возраста, когда человек способен на дружбу, не говоря уж о любви? И, наконец, умеют ли они читать? Если да, то почему повторяют Катини вопросы и какого ответа ждут — ведь все уже сказано! Если нет, то о чем с ними, полуграмотными, говорят их мальчики?

Из письма такой девочки на нас смотрит существо легкомысленное, безответственное. Можно доверить этому существу его собственную жизнь? Нет, к сожалению, еще нельзя. Мама знает свою дочь лучше, чем мы, читавшие одно ее письмо. Она тоже не считает свою девочку взрослой, и, видимо, она права, оберегая ее от ее собственного легкомыслия. Выходит, маме нечего стыдиться!

Но, предположим, в каком-то случае мама в самом деле не права. От любви, от заботы, от извечного материнского страха за свое дитя мать может и чересчур ограждать и опекать...

Я могу представить себе даже материнскую несправедливость — и знаю и помню по себе, по своим подругам, как это ранит, как внутренне бунтуешь; как злишься на родителей...

Но... речь идет о твоей матери. Как бы ни была ты обижена ею или обременена ее любовью — что это такое: написать в редакцию, чтобы письмо напечатали, чтобы публично пристыдили, чтобы прочли все знакомые, сослуживцы, соседи, «чтобы ей стало стыдно»? Еще раз спрашиваю — ЗА ЧТО? За то, что она тебя любит? Беспокоится о тебе? И что она тебе сделала? Не пустила вечером в кино?

Человек, вызывающий «Скорую помощь», когда никто не болен, думает, что он просто шутит, или — и это, может, еще хуже — вообще не думает. Так, от скуки... Девчонка, пишущая письмо в редакцию только для того, чтобы по пустякам пожаловаться на мать, тоже ничего не думает. Да ей и в голову не приходило, что маме в самом деле может быть неприятно, если письмо напечатают... Да она просто так написала... Конечно, просто так. Не привыкла она задумываться. Не умеет... А человеку, не умеющему думать, безусловно, рано вступать в любые отношения с другими людьми. Рано, сколько бы ему ни исполнилось лет.

Все подлинно человеческие отношения и все чувства — это прежде всего ответственность, которую один человек испытывает за другого человека. А ты не умеешь нести ответственность даже за себя. Не умеешь хранить самые естественные человеческие отношения — с матерью. Почему же ты убеждена, что сумеешь построить гораздо более сложные отношения — с мальчиком, юношей? Откуда ты взяла, что дружить (гулять, встречаться, любить) — такое легкое дело?

Злосчастная эта легкость огорчает — и оскорбляет — во многих девичьих письмах. Встречалась с одним парнем, перестала, получила письмо от другого, ответила признанием — мельком подумала: «Конечно, быть может, это нехорошо?» — и сразу же отпустила себе этот грех. А когда оба, оказавшиеся товарищами, перестали отвечать на ее письма, она недоумевает: «Не знаю, что и подумать. Как быть? Ведь я не виновата...»

А кто виноват? Вот где самый главный вопрос и самая главная беда: почему чуть ли не в каждом девичьем письме эта уверенность в своей невинности, это всепрощение — себе все можно списать, а остальные всегда виноваты, даже мама.

Не буду больше возвращаться к письмам. Подумаем о другом. Все вы читали «Войну и мир». Знаете о прекрасной, идеальной любви Наташи Ростовской и Андрея Болконского. А ведь Наташа чуть не сбежала с Анатолом — с пустым, низким, подлым красавцем Анатолом. И тем не менее ее любовь к Андрею прекрасна, возвышенна и чиста!

Великая литература дает нам множество примеров того, как непросто и нелегко складываются большие чувства. Ромео до встречи с Джульеттой думал, что влюблен в Розалину, он и не знал, как это бывает по-настоящему. Онегин не мог, не умел полюбить Татьяну, а когда полюбил — было поздно, она ему не поверила... Пьер, чувствуя, что поступает неверно и непоправимо, женился на Элен... Почему же в таком случае десятикласснице Светлане не метаться от одного парнишки к другому?

Потому что все герои, которых я перечислила, думали, страдали, терзались. Человеку не всегда удается победить самого себя, в человеке иногда побеждает дурное, инстинктивное, животное — и он неизбежно бывает наказан за это, несчастлив от этого. Развитие человеческой души может идти трудным, запутанным путем, но человеку при этом и должно быть трудно, а не легко, он обязан сомневаться, искать истину, испытывать угрызения совести, чувствовать себя виноватым, а не искать виновных.

Наташа Ростова была в ужасе от того, что между нею и Анатолом не возникает никаких моральных преград; ей было шестнадцать лет, как вам, и никакого у нее не было жизненного опыта, но чувством она понимала, что нельзя любить Анатоля, — и не умела справиться с собой. От ошибок не гарантирован никто, но никто не имеет права жить, не задумываясь.

«Я ни о чем плохом не думала...» — так оправдывают себя многие девушки. А это Не оправдание. Если ты считаешь себя настолько взрослой, что ищешь и ждешь любви, то уж, пожалуйста, думай. Не обязательно о «плохом» — вообще думай: о себе, о нем, о своей ответственности за ваши отношения. О том, к чему они тебя приведут...

Инстинктивное стремление вить гнездо свойственно и птицам, не только человеку. Нет ничего худого в том, что девушке хочется выйти замуж, любить и быть любимой, заботиться о семье. Но вот в чем дело — птице этого достаточно для того, чтобы жить полной жизнью. Человеку нужно еще многое.

Меня всегда не только огорчают, но как-то оскорбительно изумляют быстрые разводы молодых людей. Кажется, вчера только стояли на коврике во Дворце бракосочетаний, взволнованные, с блаженными улыбками... А прошел год, полтора — ребенок брошен на бабушку, вчерашние молодожены мрачно стоят перед судьей. Что произошло? Они ли это?

Они самые. Ничего не произошло, потому что ничего и не было. Бездумно и бездуховно выбрали друг друга, понятия не имея, что такое настоящая-то любовь. А главное — и не задумываясь об этом.

Вот об этом, наверное, и важно подумать, пока' ты молод. О своем, личном понимании счастья.

Молодости не свойственно жалеть о прожитых днях: впереди еще так много всего!

Грустное слово «никогда» не приходит в голову молодому человеку, хотя оно уже существует в его жизни. Восьмиклассник не станет жалеть о том, что никогда не войдет в школу в первый раз, ему не до этого, у него еще так много будет впервые...

С годами начинаешь чувствовать тяжелое давление слова никогда — вдруг видишь, что оно уже охватывает огромную часть твоей жизни. Никогда не будет первой любви, и первого поцелуя, и первого ребенка, никогда не войдешь учителем в свой первый класс, не будет первой статьи и первой книги; не будет многих комнат, где ты жила, и вещей, которыми пользовалась; никогда не прочтешь впервые «Войну и мир», не увидишь «Блудного сына» Рембрандта, не услышишь Девятую Бетховена — все это уже было. Грустное утешение доставляет мысль, что и многие горести уже были: смерть близкого человека, и потеря любимого, и тяжелые болезни, и обман, и клевета — но все это ранит во второй и в пятый раз не меньше, чем в первый. Горе повторяется, а счастье?..

И вот оказывается, что есть еще слово всегда — и оно тоже охватывает огромную часть твоей жизни. Солнце и небо действительно будут всегда, и всегда будут книги, картины, музыка, останутся мысли, останется любовь. Я всегда буду любить своего отца, которого нет в живых уже двадцать лет, и своих друзей Фриду Вигдорову, З. А. Сажина, Марьяну Чумандрину, которые умерли, и всегда буду любить своих друзей, которые живы, и детей — своих и чужих, волноваться, и радоваться, и огорчаться за них. Всегда буду думать, сомневаться, буду стараться еще что-то понять и узнать о жизни и людях, быть им нужной...

Думая над словами всегда и никогда, я заметила вот что: многое безвозвратно уходит в прошлое, но жизнь души остается. Чувства и мысли оказываются более долговечными, чем самые реальные, практические вещи, которыми мы живем: снашивается одежда, ломается телевизор, дом становится на капитальный ремонт, лицо стареет, волосы седеют, люди меняются или уходят из жизни, а то духовное здание, которое мы выстроили в себе, остается: его помнят, оно продолжает жить для людей, которые тебя любили.

Вот почему так важно его строить: оно нетлётно. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» — в идеале каждый человек должен иметь право сказать так о себе: памятник — от слова память!

Какое все это имеет отношение к девчонкам, пишущим письма в редакцию? Может быть, самое прямое. Мы говорили о понимании счастья и о том, к чему стремиться.

В молодости ответ кажется однозначным: конечно, хочу жить для людей, быть им полезным, душу свою отдать... А есть ли что отдавать — об этом неплохо подумать! И копить свое душевное богатство смолоду. Думать, думать, учиться.

Когда начинается «взрослая» жизнь, к которой так все стремятся подростками, оказывается, что думать-то, пожалуй, уже некогда. Надо бежать на работу, отводить детей в ясли, покупать продукты, готовить обед, стирать и штопать — еле голову доносишь до подушки. А потом, когда станешь старше, когда дети твои выросли и ты относительно свободен, — уже быстрее устаешь, хочется больше всего покоя...

«Не позволяй душе лениться» — это строчка замечательного поэта Николая Заболоцкого. Для меня она очень важна, в ней, по-моему, — ключ к пониманию настоящего счастья.

Не позволяй душе лениться: заставь ее работать. Думай!

В детстве у всех бывают такие минуты и такие часы, когда мы не знаем, что с собой делать, куда себя девать. «Мама, мне скучно!», «Папа, чегр бы мне поделать?» Мой отец всегда отвечал на это: «Подумай!» — и я очень обижалась. Теперь-то я знаю, что его ответ был точен и мудр. Подумай. Не бойся побыть наедине с собой. Не бойся заглянуть в свою душу: а что там такое делается? Вспомни свои поступки — все ли было правильно?!

Мы убегаем от самих себя в кино, на танцы, в театры и концертные залы. Даже в пустой комнате, в одиночестве, мы убегаем от самих себя к телевизору, приемнику, магнитофону. Только бы не остаться наедине со своей душой...

А если все-таки остаться? Тогда, может быть, многое поймешь сама, многому научишься, — и не надо будет садиться за стол, писать в редакцию письмо, подобное вызову «Скорой помощи» к несуществующему больному. Тогда, может быть, у тебя возникнут

вопросы в самом деле важные, — о них напиши нам, и в редакции начнется тревога: человеку нужно ответить, срочно, немедленно, скорей, скорей...

Н. ДОЛИНИНА

СРЕДИ КНИГ

*

Случается, военная повесть или роман только что прочитаны, а лица персонажей уже потускнели, расплылись. Близкое знакомство с действующими лицами повествования, увы, не состоялось, мы остаемся равнодушными к их судьбе.

И как радуется читатель, когда может зачислить героев прочитанной книги в круг своих близких знакомых, когда читателя и героя объединяет волшебная сила сопереживания, соучастия. И пусть ты успел прочитать потом несколько других книг, а все остаешься мыслями и чувствами в роте, батальоне или в полку, куда привел тебя автор той, первой книги.

Так я подружился, никогда во фронтовые времена не будучи там, с дружной и храброй семьей однополчан, населяющих книгу Натальи Кравцовой «От заката до рассвета».

Самолеты ПО-2 называли по-разному: со снисходительной, доброй усмешкой «король воздуха», «примус», «огородник» или высокопарно, грозно «ночной бомбардировщик ближнего действия».

«Бомбардировщик» — это верно. А ночной-то он не потому, что как-то оборудован для полетов ночью, совсем нет. Никакого специального оборудования на самолете не установлено. Ночной он потому, что за линию фронта он может летать, пожалуй, только в темноте: днем его сразу собьют... Но мы любим наш «ночной бомбардировщик», хотя он прост и непритязателен. Это смелый самолет и большой труженик: всю ночь, от заката до зари, он без усталости работает...»

Нагружали слабенький, маломощный ПО-2 бомбами так, что не оставляли места для парашютов, и экипажи долго, рискованно летали без них.

Читатель оказался не в приблизительной боевой обстановке, его обступают недавно примелькавшиеся детали, автором ничего не взято напрокат из вторых рук. Мало того, что автор был участником, очевидцем описываемых им боевых эпизодов, — ему не изменила правда памяти.

В кругу наших знакомых оказывается отныне и пытливая, вдумчивая, хотя на первый взгляд не очень-то расторопная Женя Руднева, прославленный штурман; храбрая, но с мягким характером, прекрасная летчица, но не слишком везучая и оттого готовая потерять веру в себя Ирина Себрова; отчаянная, бесшабашно смелая Юлия Пашкова не боялась ничего: ни немецких зениток, ни грозы, ни выговора за лихачество, жизнерадостная, веселая Юлька, она так и не вернулась в свою родную кубанскую станицу, ее смертельно ранило...

Люди полка разнохарактерны, разнолики, так что подчас сетуешь на автора за неоправданные скороговорки; следовало чаще показывать своих подруг в столкновении характеров, автору по плечу более сложные психологические задачи.

Для Натальи Кравцовой война измеряется маршрутом Поволжье — предгорья Кавказа — Берлин. Но в еще большей степени фронтовая трасса измеряется 980 боевыми вылетами, совершенными ею за годы войны. Боязнь громких слов, целомудренная скромность автора заставляют нас проникнуться еще большим уважением к «небесным созданиям» из прославленного полка Бершанской. Фашисты называли их «ночными ведьмами», они нанесли огромный урон противнику и завершили свой победный путь под Берлином.

«От заката до рассвета» читаешь в убеждении, что Наталья Кравцова еще одарит нас многими полноценными страницами.

Евгений ВОРОБЬЕВ

*

Вас волнует проблема транспорта? На этот вопрос ответят положительно все: и студенты, на подножке добирающиеся до институтов, и пенсионеры, и домохозяйки. О транспорте говорят и пишут журналисты, ученые, работники горисполкомов. Дискуссии по этому вопросу разгораются и на запланированных совещаниях и в автобусах в часы «пик». В этих разговорах участвуют и дети. Правда, в большинстве случаев молчаливыми свидетелями. А наедине с собой они много говорят о транспорте, играют в «пассажиров и водителей», борются за право быть шофером, и редко кто из них спокойно соглашается быть «пешеходом». В этих играх отражается мир взрослых, увиденный глазами ребенка. Знают же малыши пока еще мало. Мамы и папы не всегда могут ответить на вопрос, чаще у них просто не хватает времени. Любознательному малышу протягивает руку помощи детский писатель Владимир Маразмин.

О пешеходах и водителях, о гражданах и товарищах, об истории метро, трамвая, автобуса, о том, как конка превратилась в электричку, развозящую горожан по городу, рассказывает его книга, которая так и называется: «Кто развозит горожан» (изд. «Детская литература»).

Это будто бы две книги в одной. Первая — серьезная, полная множества интересных фактов.

Что такое город? Кого можно назвать пешеходом? Кто и когда придумал автобус? Как сменился лихач извозчик шофером современного такси? Кто создал метро? Какой вид транспорта самый удобный? На все эти вопросы отвечает первая книга. А в нее естественно и ненавязчиво вкрапливается вторая: небольшие рассказы: шуточные — о происшествиях с пассажирами на транспорте, серьезные — почему Петя Пантелеев выбрал профессию водителя, интересные — кто и когда убирает и ремонтирует метро, как прокладывают трамвайные рельсы, какие бывают лифты. Если первая дает больше практических знаний, то, читая вторую, мы невольно чаще станем оглядываться на свои поступки: а не похожи ли мы на того невежливого мужчину, не уступившего места старушке, а не сами ли мы виноваты в грубости кондуктора? Почитаешь книгу — и задашь себе вопрос: а не лучше ли, разрешая и разбирая «трамвайные» конфликты, чаще призывать в судьи чувство юмора? Книга учит маленького собеседника (и взрослого читателя) не спешить с выводами, не портить настроение соседу, если нужно просто более чутко отнестись к его желаниям.

Кроме пассажиров и водителей, кроме горожан, есть в книге еще один персонаж. Это Ленинград, живущий своей неповторимой жизнью, ибо города, как и люди, всегда имеют свой особенный облик и характер.

Т. ЛЕВАНЬШИНА

*

Я познакомился с ним у Назыма Хинмета. Это был сутулый юноша с крупными чертами лица, немного хмурый и какой-то весь «в себе». Держался он вежливо, но с достоинством. Чувствовалось, что признание для него — пока не главное. Главное — научиться хорошо писать, стать мастеровитым. Слова Назыма слушал он внимательно, но сидя все время в одной и той же позе.

— Вот у вас тут парашюты раскрываются над морем, «как цветы», — говорил Назым. — Со временем вы сами поймете, что надо избегать таких красотостей.

С тех пор я потерял Анара из виду. Вспомнил о нем только недавно, когда имя его стало мелькать то тут, то там и появился фильм по его рассказу «Я, ты, он и телефон».

Переводчик Игорь Печенев заново познакомил меня с ним. Он остался точно таким же, как был у Назыма, говорил мало. Я пытался его расшевелить, но напрасно. Он ушел, оставив свою тонкую книжицу «Юбилей Данте», изданную «Молодой гвардией».

Я прочел ее, и она меня взволновала.

Особенно повесть, название которой носит вся книга.

Это грустная история старого актера-неудачника. Это печальная повесть о зазнавшихся и чванливых людях, которые давно потеряли чувство сострадания, забыли о совести и чести. Грусть и печаль Анара активны и потому гневны.

Человек, назвавшийся мне несколько холодноватым, оказался бурно чувствующим, искренне взволнованным всем, что происходит вокруг него. Да, именно таков Анар. Его гражданственность — не трескучая и риторическая, а подлинная — не может не взволновать читателя.

За строками Анара ощущается большой оптимизм, вера в правду и справедливость, в чуткость не показную, а истинную. И — знание жизни.

Он требует любви свободной и чистой, непринужденной, нескованной нежности. Полет его писательской фантазии поэтичен и высок. Прекрасны в этом смысле его рассказы «Грузинская фамилия», «Рассказ гардеробщицы» и принесший ему известность «Я, ты, он и телефон».

Будучи молодым, он понимает, что такое старость, и вступает за нее не только в «Юбилее Данте», но и в «Последней ночи уходящего года».

А. ТВЕРСКОЙ

*

Из школы должны выходить... да, да! Я это готов твердить без конца — личности! А когда всех под одну гребенку... Это, если хотите, преступление перед нацией, перед государством, перед нашей революцией!» — говорит Валерий Изотов, главный герой повести Игоря Минутко «Характеристика» (сборник «Очень длинный день». Приокское книжное издательство). Утверждает он это в споре с одним из коллег.

Педагогический процесс изображается Игорем Минутко как столкновение человеческих индивидуальностей и жизненных обстоятельств. Сталкиваются характеры учителей и их воспитанников. Сталкиваются между собой характеры самих детей. И характеры преподавателей. Да, цели школы, несомненно, общи для всех. Но мало единства целей, мировоззрения. Жизнь вносит свои коррективы в любую отрасль человеческой деятельности. Она ставит требования, на которые люди реагируют каждый по-своему, в соответствии со своим характером.

За короткое время пребывания в школе рабочего поселка Валерий, несмотря на свои ошибки, сумел сделать много полезного.

За то же время Изотов сумел нашить себе немало врагов. В глазах кое-кого из коллег безнадежно испортил свою репутацию.

Если бы Валерий был более опытным борцом, не так-то легко было бы его противникам все хорошее, что он сделал или предлагал, изобразить как плохое, вредное. Вместо того, чтобы обрести себе союзников в добром деле, он оказался один. И, как это нередко случается, достаточно оказалось первого попавшегося повода, чтобы озлобленные недоброжелатели разделались с ним.

Изотов полюбил свою ученицу, одиннадцати-классницу. И она полюбила его.

Проблема в самом деле сложная. С одной стороны, любовь преподавателя к ученице одиозна. С другой — что запретного в любви восемнадцатилетней девушки и двадцатилетнего мужчины? Ответ не может быть однозначным.

Большинство преподавателей на педсовете подняло руку за то, чтобы освободить Изотова от работы в школе. Но магнитное поле активной честности, смелости, распространяемое такими, как Валерий и Соня, воздействует на окружающих по-разному. Одних раздражает. Других возвышает, делает мужественнее.

Умение Игоря Минутко поставить перед читателем сложные вопросы жизни, проявившееся еще в повести «Двенадцатый двор», сказывается не только в «Характеристике», но и в других произведениях, напечатанных в сборнике.

С. НОРИЛЬСКИЙ

*

Издательство «Искусство» выпустило книгу статей Н. Я. Берновского «Литература и театр».

Взаимоотношение литературы и театра как двух видов искусства, пьеса в собственно литературном прочтении и роман в театральной постановке — об этом авторские раздумья. Но главное в книге все-таки другое. Главное — это Театр. Театр как живой посредник между литературой и действительностью, театр как «дыхание возле дыхания» — основа для прекрасного единения людей через искусство.

При реющей серьезности и беспристрастности исследования Берковскому чужд какой-либо холодный академизм, он с иронией пишет о восторге перед классиками, заранее предусмотренном авторитетами. Для него нет Шекспира, Чехова, Достоевского «вообще», вне времени, как неких окаменелых памятников «с густым слоем славы на них». Для него неувядаемость классиков в их неисчерпаемости, способности жить по-новому в каждую новую эпоху. Берковскому дорога мысль о человеческом общении через искусство и об исторической перспективе этого общения. Вообще, ход времени и преемственность явлений ощутимо присутствуют в этой по-своему итоговой книге Н. Берновского.

Настоящее обращено в будущее, но оно же всегда и часть прошлого, прошедшего, формировавшего его. В связи с этим большой интерес вызывает статья, посвященная одному из замечательных деятелей советского театра — Александру Яковлевичу Таирову. Благородная сущность и плодотворность его поисков в области художественной формы, вдохновенная борьба за новое искусство дают возможность Берковскому с полным правом сказать, что и «в наши дни Камерный театр, а вместе с ним и его создатель Таиров живут косвенной, но очень широкой жизнью...».

В книге «Литература и театр» привлекает бережное обращение с тканью художественного произведения, глубина и тонкость социологического анализа, широта охвата области исследования. В сборник входят статьи о Шекспире, Софокле, Достоевском, Чехове, Мольере, Островском, Шеридане, Гете. Берковский говорит и о писательской эстетике, и о теоретиках театра, и о зарубежных гастролерах, и об актерской технике. Перед нами прекрасный образец критической прозы, способной доставить истинное удовольствие самому широкому читателю.

Элеонора ПАНКРАТОВА

НАУКА И ТЕХНИКА

Вадим Белоцерковский

КРЫЛЬЯ — КАК СЧАСТЬЕ...

Подняться в небо, преодолеть земное тяготение люди мечтали с незапамятных времен. Мечтали и пытались взлететь — с поразительной настойчивостью, рискуя жизнью, отдавая жизнь, разбиваясь, сжигая крылья, — не под солнцем, так на кострах инквизиторов.

Было тут и «простое» дерзание разума и желание утвердиться полным властелином природы не только на земле и на воде, но и в воздухе, но было еще, видимо, и нечто другое, без чего трудно объяснить и понять эту удивительную самоотверженность и настойчивость.

Небо всегда представлялось человеку свободной стихией, немислимой как предмет алчности, купли и продажи. И не случайно, что среди изобретателей крыльев было много простолюдинов и «холопов». В их попытках оторваться от земли видится прежде всего затаенная жажда свободы. Не случайна и жестокость, с которой хозяева земли и человеческих душ расправлялись с «летающими холопами».

Можно смело утверждать, что мечта обрести крылья была самой страстной мечтой людей после мечты об общей социальной свободе и справедливости. Крылья снились людям, как счастье.

Создав скоростной самолет, человек преодолел силу тяжести и, что важнее, победил пространство — получил мощное средство ускорения темпов жизни.

Но, победив земное тяготение, человек попал во власть машины, сложнейшей из сложных, от капризов которой зависит его жизнь; попал во власть скорости, которая требует строгой регламентации полета: во избежание столкновений пилот не имеет права по собственной воле отклоняться в сторону от назначенного ему с земли пути. По воздушному коридору, как по рельсам, должен он вести машину.

А пассажиры? Они втиснуты в тесные соты кресел, почти отрезаны от внешнего мира. Такой полет, в сущности, всего лишь воздушная транспортировка.

Путешествие на любом виде транспорта всегда обогащает: мы видим новые места, новые города, сближаемся, знакомимся в пути с новыми людьми. Происходит ли это на самолете?

Правда, имеются и маленькие самолеты на одного или нескольких человек, наконец, вертолеты. Но будущее их в качестве массового индивидуального транспорта весьма сомнительно, даже если предположить, что они станут когда-либо доступны по стоимости для всех. Сложность в управлении и в уходе затрудняет их массовое применение. Уже сейчас в США, например, сравнительно немногочисленная частная авиация значительно опережает все и вся по числу катастроф и доставляет массу хлопот службе безопасности на аэродромах.

А вертолеты (при особой их дороговизне и неэкономичности — в шесть раз по сравнению с самолетами) обладают к тому же малым радиусом действия, сильно зависят от капризов погоды и, видимо, так и не смогут избавиться от малопривлекательной и малополезной для здоровья вибрации.

Конечно, я веду речь отнюдь не к тому, чтобы отказаться от самолетов и вертолетов. Самолеты еще долго будут необходимы нам. Но надо думать не только о сегодняшнем дне, если мы хотим, чтобы поскорее наступил завтрашний. А завтра, я убежден, самолеты и ракетопланы будут служить в основном только для специальных целей (срочные грузы, межпланетные сообщения) и для очень торопящихся людей, которых, между прочим, в будущем наверняка будет значительно меньше, чем в нашем нынешнем, трижды спешащем мире.

Однажды мне выпало счастье лететь на воздушном шаре, и я хочу рассказать здесь о своих впечатлениях.

Уже когда я подходил к летному полю и увидел огромный, в несколько этажей, серо-голубой шар аэростата, величаво и спокойно, без надрывного воя моторов висевший в воздухе, я почувствовал странное, необычное волнение. Было в этом гигантском шаре что-то сказочное — в его спокойствии, в его неподчинении всемогущей силе тяжести, — что-то неземное. Он был словно пришельцем из другого мира. В нем не было ничего лихорадочного, что всегда ощущается в самолете, когда, словно возбуждая себя, он бешено взывает своими моторами, дрожит, ярится, а потом отчаянно срывается в разбег, попадая с той секунды во власть угнетающей несвободы: остановишься — погибнешь!

А как сказочен был подъем! Маленьким совочком пилот сбросил за борт несколько пригоршней песка, и земля, дома, люди, деревья стали плавно уходить вниз, уменьшаться, и мы в квадратной корзине из ивовых прутьев поплыли над миром в мягкой и прозрачной тишине.

Под нами — мы летели на высоте 4 тысяч метров — проходили леса, поля, города, прошла широкая голубая лента Волги.

На прикрепленную к борту корзины дощечку-стол я положил свой блокнот и инстинктивно прижал его рукой, чтобы блокнот не унесло ветром за борт. Но пилот, заметив

это, улыбнулся и сказал мне, чтобы я не боялся и отпустил блокнот. И он действительно никуда не улетел: ведь мы «плыли» вместе с ветром. И хотя мы были игрушкой этого ветра, чувствовали мы себя удивительно свободными.

Через несколько часов полета, когда было выполнено задание, пилот потянул за клапанную веревку, и земля стала плавно приближаться к нам.

После этого полета я сделался горячим патриотом аппаратов «легче воздуха» — аэростатов и дирижаблей. Они ведь, в сущности, — первое приближение к антигравитолетам. К абсолютному средству покорения околоземного пространства, сказочным «коврам-самолетам», на которых человек будет уже независим от капризов машины.

Но настоящие антигравитолеты, видимо, дело еще далекого будущего. А до той поры мы можем и должны, очевидно, думать о создании каких-то «переходных» видов воздушного транспорта, более близких к ним, нежели самолеты и вертолеты.

Одним из таких средств транспорта, как я уже говорил, видятся дирижабли, обладающие многими свойствами антигравитолетов. Я, разумеется, имею в виду дирижабли, построенные с использованием современных достижений науки и техники: с ободочками из новых прочнейших материалов, с механизмами автоматической швартовки и безбалластного подъема и, главное, наполненные невоспламеняющимся гелием вместо взрывоопасного водорода. Гелиевые дирижабли уже летают и практически не терпят аварий в самых тяжелых погодных условиях. Из трехсот гелиевых дирижаблей США за 25 лет непрерывной эксплуатации только три потерпели аварию (две из которых приходится на время войны), а ведь эти дирижабли еще далеки от возможного сегодня совершенства.

Напомню, какие удобства и удовольствия предоставляет людям путешествие на дирижабле. Еще в 30-х годах (!) на дирижабле «Гинденбург» в распоряжении пассажиров (100 человек) был ресторан, 100-метровая застекленная прогулочная палуба (под килем дирижабля), спальные каюты и ваннные комнаты с горячей и холодной водой!

Дирижабли, особенно для грузовых перевозок, весьма необходимы именно в нашей стране с ее огромными и труднопроходимыми пространствами, и потому нам, видимо, предстоит быть пионерами широкого применения дирижаблей, что, к сожалению, весьма смущает иных людей, не привыкших к новшествам.

Но дирижабли также не могут быть универсальным и индивидуальным видом воздушного транспорта (на одного или нескольких человек) — небольшие дирижабли слишком неустойчивы при порывах ветра: мала их масса по отношению к размерам.

И тут наш взгляд вновь обращается к птицам, к мечтам о создании летательного аппарата с машущими крыльями.

Машущий полет — это чудесное изобретение природы — обладает удивительными свойствами, делающими его принципиально пригодным для создания надежного и маневренного индивидуального летательного аппарата.

Прежде всего это высокая экономичность. Самолет на одну лошадиную силу мощности мотора поднимает от 10 до 12 килограммов. Вертолет — от 4 до 5 килограммов.

А птица до 140! В десять с лишним раз больше самолета! Следовательно, возникает принципиальная возможность создать маленькие и даже портативные летательные аппараты с миниатюрными моторами мощностью в 2 — 3 лошадиных силы.

Предвижу вопрос-возражение: но ведь судьба людей на этих аппаратах тоже будет зависеть от мотора?

Да, будет зависеть, но, очевидно, в значительно меньшей степени, чем на самолете. Для машущего полета не нужны сложные двигатели, развивающие большое число оборотов и большую скорость, что всегда связано с повышенным риском аварий. Для махолета пригоден простейший... паровой двигатель на жидком топливе! А ведь паровой двигатель практически безотказен и не требует тщательного ухода; надо только не забывать иногда подкручивать гайки.

Паровой двигатель махолета будет иметь всего лишь около трех десятков деталей против нескольких тысяч у самолетного мотора. Бак с керосином (расход горючего очень небольшой), форсунка для сжигания топлива, змеевик, в котором будет циркулировать пар, и два цилиндра со штоками, шарнирно прикрепленными к крыльям. Вот в основном и все, что нужно для машущего полета. Расширение пара в цилиндрах — взмах крыльев. И почти бесшумная работа.

Тем, кто считает паровые двигатели чем-то примитивным и архаичным, могу напомнить, что многие автомобилестроительные фирмы проектируют замену бензиновых двигателей паровыми (турбинными). Прогресс техники сделал возможным создание новых паровых двигателей. — негромоздких и мощных.

Возможно в будущем применение на махолетах и электрических двигателей (опять же очень простых и надежных) с емкими и малогабаритными аккумуляторами, над созданием которых, как известно, успешно работают сейчас в той же автомобильной промышленности.

Ну, а если все-таки мотор остановится? Ничего страшного не произойдет: махолет станет планером. Имея меньший, чем у самолета, вес при той же площади крыльев, махолет сможет легко и надежно планировать.

Здесь необходимо заметить, что тяжелые махолеты с большой грузоподъемностью вряд ли возможны, несмотря на экономичность машущего полета. Расчеты показывают, что с увеличением веса непропорционально должен возрастать размер крыльев. Не годится машущий полет и для высоких скоростей (более 300 — 400 километров в час).

Ускорения, космические «выходы» человека, переброска тяжелых грузов — дело авиации, ракетопланов, дирижаблей. Махолеты же (или орнитоптеры) могут стать воздушными мотоциклами, максимум — легковыми авиавтомобилями. С их помощью человек обретет наконец крылья и свободу птицы.

Но возможны ли они?

У скептиков есть такой аргумент. Сотни лет уже пытаются энтузиасты построить махолет, и ничего у них не получается. Следовательно, задача эта принципиально неразрешима. Самолеты же почти сразу начали летать!

Но в подобных рассуждениях не учитывается важное обстоятельство: принцип действия самолета значительно примитивнее машущего полета.

Задача скопировать природные модели всегда чрезвычайно сложна. Ее успешное решение возможно лишь на базе высокоразвитой науки и техники и на основе глубокого изучения этих моделей в природе. Это задача бионики, которая не случайно только теперь, когда наука и техника достигли сравнительно высокого развития, делает свои первые шаги.

И задача эта не только очень интересная, но и насущная. Прогресс науки, техники и потребности народного хозяйства в одной области за другой приводят нас к необходимости учиться у природы, воспроизводить ее мудрые «решения» и тонкие, надежные «методы». Без этого нам становится все труднее двигаться вперед и решать многие важные проблемы, будь то проблема защиты урожая от вредителей или конструирование маневренных и безопасных летательных аппаратов. «Природу побеждает тот, кто ей следует!» — эта провозглашенная еще древними истина сейчас вновь завоевывает признание.

Что же самое сложное в создании махолета и, соответственно, что требует самого углубленного изучения в «устройстве» птицы?

Таким «узлом», безусловно, является крыло. Крылья птиц и насекомых — сложнейшие творения природы. И даже если предположить, что людям не удастся создать махолеты, то и ради одного раскрытия тайн крыла стоит ломать копыя.

В 80-х годах прошлого столетия врач, Николай Аренд (внук медика, пытавшегося спасти смертельно раненного Пушкина), мечтая построить махолет, замораживал птиц в жидком воздухе и продувал их «чучела» в самодельной аэродинамической трубе. И пришел в конце концов к парадоксальному выводу: «Аппарат с аэродинамическими свойствами птичьих крыльев никогда не поднимется над землей».

Трудно судить, были ли безошибочными его расчеты, но безусловно, что аэродинамика птичьего полета имеет свои чрезвычайно сложные законы, эффекты и принципы.

Член-корреспондент Академии наук В. В. Голубев и профессор В. П. Ветчинкин, опираясь на работы С. А. Чаплыгина, выдвинули еще в 30-е годы так называемую вихревую теорию машущего полета. Многие специалисты считают, что крыло птицы создает завихрения воздуха с помощью мельчайших бороздок на перьях и как бы отталкивается от этих «плотных» завихрений.

После войны в Институте морфологии животных Академии наук СССР группа ученых под руководством доктора биологических наук Г. С. Шестаковой провела интересные опыты. Крылья птиц покрывались тонким слоем лака, и «лакированные» птицы не в состоянии были взлететь в воздух! Видимо, лак закрывал бороздки на перьях. Более того, достаточно было отлакировать (или удалить) 5 — 6 крайних маховых перьев крыла, и птицы также теряли способность летать.

В то же время лакировка (или удаление) остальных перьев (крайние не трогались) не мешала птицам летать, хотя и ухудшалось качество полета.

Был открыт и ряд других удивительных эффектов. Один из них — электризация крыла от трения о воздух. Она особенно значительна у насекомых, например, у мух. О том, какое значение может иметь эта электризация, говорят известные опыты американца Северского, который заставлял специальным образом наэлектризованный ящик подниматься над землей — отталкиваться от электромагнитного поля земли. Теперь, как известно, над изучением этого явления работают солидные институты, намереваясь создать «электрические» летательные аппараты.

Напомню еще об одном и, пожалуй, самом поразительном свойстве крыла — некоторые называют его самомашущим эффектом.

Многие ученые и знатоки природы издавна обращали внимание на удивительную способность птиц перелетать без пищи и отдыха расстояния в несколько тысяч километров. Этому феномену природы долго не удавалось найти какого-либо удовлетворительного объяснения. Но в последнее время многие ученые пришли к убеждению, что под напором ветра крылья птиц могут работать без значительных мускульных усилий! Птице надо лишь менять направление, «угол атаки» определенных перьев крыла (тех самых, которые можно лакировать или удалять без нарушения «взлетной» способности), и большую часть остальной работы будет делать ветер, как бы помогая поднимать и опускать крылья. Установлено, что птицы даже спят в полете, механически шевеля своими перьявыми «элэронами»!

Мудрейшее изобретение природы — крылья, ничего не скажешь! Становятся понятны неудачи многочисленных энтузиастов, которые наивно полагали, что крыло — это очень простая штука: достаточно натянуть ткань на раму, помахать посильнее, и дело будет сделано. Специалисты убеждены, что далеко еще не все секреты крыльев раскрыты, а те, что уже известны, требуют дальнейшего углубленного изучения.

И в высшей степени не мудро было бы пренебрегать этим замечательным наглядным уроком природы. А такое пренебрежение, увы, есть у нас. Точнее — появилось в последние десятилетия и привело к тому, что активная работа (даже на общественных началах) по изучению и воспроизведению машущего полета весьма замедлилась. И как раз в тот момент, когда в результате всех проведенных ранее исследований и общего подъема науки и техники появилась надежда решить задачу.

Тысячи активистов насчитывает Комитет машущего полета, в одной только Москве — 500 членов, среди которых 6 докторов наук, около 40 кандидатов, 300 инженеров, 100 летчиков. И, однако, они сплошь и рядом не имеют возможности публиковать научные работы, проводить летные испытания, готовить кадры. Ликвидирована группа машущего полета в Московском авиационном институте, закрыта единственная лаборатория машущего

крыла при Центральном аэроклубе в Тушине. Группа в Институте морфологии животных, изучавшая полет птиц, еще функционирует, но она перегружена другими заданиями.

Существует объяснение, что сейчас не до крыльев, что перед нами стоит множество других, более насущных технико-экономических проблем. И это, конечно, верно, но ведь речь идет не о том, чтобы немедленно создавать промышленность для массового производства махолетов. Речь идет всего лишь о необходимости серьезного изучения (на что не требуется больших средств — циклотроны для этого строить не надо) и о создании опытных образцов крылатых машин. Не следует забывать и о том, что махолеты могут принести большую пользу во многих областях народного хозяйства нашей страны, например, в работе геологов, лесоустроителей, врачей, пожарников, почтальонов, для наблюдения над линиями связи, нефтегазопроводами, в строительстве, в сельском хозяйстве. Вертолеты для этих целей, как мы уже знаем, применять очень накладно, не говоря уже об их небезопасности и сложности в управлении. Пилотирование же махолета будет доступно любому здоровому человеку, и обучение будет занимать значительно меньше времени.

Вообще аргументы типа «рано» и «не по карману» обычны при рождении почти любого новшества. Эти аргументы были в свое время в ходу и по отношению к тем же вертолетам, ракетам и многим другим изобретениям, без которых мы, однако, сегодня не мыслим своего существования. За подобными аргументами часто стоит простой страх перед новыми заботами. Но страхов вообще можно навидумывать много.

А если говорить серьезно и смотреть шире, то замораживание научных работ по теории и практике машущего полета (равно как и по аппаратам «легче воздуха») является характерным примером утилитарной тенденции, существующей еще в некоторых областях нашей науки и техники.

На заре авиации, в годы становления нашего государства, проблемами машущего полета (как и воздухоплавательными аппаратами) активно занимались крупнейшие авиаспециалисты: С. А. Чаплыгин, Н. Е. Жуковский, К. Э. Циолковский, А. А. Митурич, В. П. Ветчинкин и многие другие. В 1913 году под личным наблюдением Жуковского была даже построена оригинальная модель махолета.

В 30-е годы махолетами занимались уже упоминавшийся нами член-корреспондент Академии наук СССР В. В. Голубев, изобретатели Б. И. Черановский, И. Н. Виноградов, А. В. Шиуков, Д. В. Ильин, С. А. Топтыгин, доктора биологических наук Н. А. Гладков и Г. С. Шестакова, доктор технических наук В. С. Пышнов и еще многие другие. Ставились опыты, издавались многочисленные труды, был создан Всесоюзный комитет машущего полета.

А сейчас, когда мы стали намного богаче, когда неизмеримо выросли наши научные и технические возможности и, главное, когда появилась потребность в новых видах воздушного транспорта, правомерно ли сужение фронта наших поисков? Правы ли те, кто все надежды возлагает на самолеты и вертолеты?

Целенаправленная организация работ в современной науке и технике, разумеется, необходима, но она должна (и может) оставлять простор для инициативы и поиска новых путей.

Без этого не может быть настоящего — устойчивого и равномерного — прогресса.

ДЕБЮТЫ.

Виктор Чистяков:

«Жанр пародии веду от скоморохов»

Артист Ленинградского драматического театра имени Комиссаржевской Виктор Чистяков добился признания, пародируя на эстраде популярных исполнителей: от Клавдии Шульженко до Муслима Магомаева.

— Как это вы так искусно «крадете» чужие голоса? — спрашиваю Виктора.

— Почему вы выбрали именно это слово? Какое совпадение! Нет, это, конечно, случайно. Тогда я должен вам рассказать о роли, которую хотел бы сыграть в кино. Фильм я бы назвал: «Похититель голосов». Мой герой вдруг открывает в себе сверхъестественную способность красть чужие голоса. Он приходит на концерт и в момент выступления известного певца отнимает у него голос, после всеобщего замешательства на сцену выходит другой певец и тоже лишается голоса. Наслаждаясь своей властью, мой герой может, впрочем, вернуть ему голос. Так безнаказанно он продолжает присваивать самые различные голоса и обретает, пользуясь этими голосами, чужую славу. Здесь уже начинается детектив, правда, скорее иронический. И в результате похитителя голосов постигает самая страшная кара: он теряет собственный голос, иными словами, личность. Такой фильм еще не снимается. Я пересказывал лишь сценарий, который пишу сейчас вместе с двумя друзьями.

— Признаюсь, Виктор, я представлял вас иначе. Мне казалось, вы безмерно упиваетесь своим успехом, уже выходя на эстраду, а спев, допустим, под Зыкину и принимая бешеные аплодисменты, вы совсем уже смотрите эдаким счастливчиком...

— Нет, это не совсем так. Тем неповторимым ощущением признания, той легкостью, которую в этот миг испытываешь, я действительно упиваюсь... Вы знаете, я глубоко убежден, что ничего не происходит случайно. Вот мы с вами сейчас разговариваем, значит, мы не могли не встретиться в этот день, в этот час. И наш разговор я воспринимаю сейчас как самое главное в моей жизни. Ведь я сознаю, что наш разговор вскоре закончится, и каждый из нас займется чем-то иным... Так и на сцене в момент самого бурного эмоционального взлета я сознаю, что все это сейчас пройдет и что-то другое будет уже казаться самым главным. Вот потому-то я так и ценю эти минуты легкости.

На два дня приехав в Москву, Виктор выступал в этот вечер в Центральном доме работников искусств. Мы присели около зеркала в углу актерской комнаты — в зеркале видны многоопытные обезьянки, которых готовят к выходу, — и этот неожиданно откровенный разговор все более меня занимает.

— Жанр пародии я веду от скоморохов, — продолжает Виктор. — Меня вообще увлекает образ скомороха, шута. Я мечтал бы сыграть в театре шекспировского шута, за внешней эксцентричностью которого проглядывает человек со своим независимым взглядом на мир и преждевременной мудростью.

— А если бы вам посулили в театре эту роль, но при условии: не работать на эстраде со своими пародиями...

— Допустим, полгода. Да?

— Нет, безо всяких компромиссов: или — или.

— Я бы выбрал театр.

Виктор рассказывает, что он занимался и в хореографическом училище и в музыкальном, прежде чем, и уже совершенно сознательно, сделал окончательный выбор, поступив в Ленинградский театральный институт. А в институте им овладела эта идея: расширить амплитуду своего голоса. Хотя он и утверждает, что при желании это доступно каждому, но надо иметь, естественно, не только желание, но, к примеру, и совершенный слух, чтобы столь успешно расширять данную амплитуду.

— Три года тому назад наш театр праздновал свое двадцатипятилетие, и на юбилейном вечере я впервые исполнил «Радиоконцерт по заявкам». Выступал в гриме и в костюмах: и во фраке и в женском платье, наклеивал баки... Выступая же впоследствии на эстраде, я от этого отказался, стремясь прежде всего достичь внутреннего перевоплощения. И намеком: пластика, мимика, голос. Мне очень важно также, что прием радиоконцерта позволяет мне быть и диктором, ведущим эту передачу — «Для тех, кто спит». Мои маски — лишь дружеский шарж, а вот диктор — это пародия. Текст, который во многом определяет мой успех, пишут артисты нашего театра Илья Резник и Станислав Ландграф. С ними я работаю и над киносценарием, о котором рассказывал.

— Однако успех вы снискали прежде всего исполнением дружеских шаржей. Скоморохи же, коих вы помянули, высмеивали беспощадно. Не так ли?

— Но то, что я сейчас делаю. — лишь заявка, лишь проба сил. В дальнейшем мне бы хотелось петь на эстраде и своим голосом.

— А у вас есть своя песня?

— Нет. Очень трудно найти свою песню. Найти своего поэта, своего композитора... Но я мечтаю о песне, хотя бы самой бесхитростной, которую спою собственным голосом. Думаю и о большей пародийности своих номеров. Готовлю сейчас пародию на оперетту. Хочу представить также лектора-музыковеда, который насилует всех исчерпывающими пояснениями: «В этом месте композитор отчетливо рисует нам образ крестьянки в красном платке, которая идет по росистому лугу, оставляя за собой след, который впоследствии окажется ее лейтмотивом, проходящим через вторую и третью части данного произведения...» Меня бесят такие лекции. И этот «след на росистом лугу» может преследовать годами — каждый раз, когда слушаешь эту поясненную музыку. Мой музыковед в конечном счете обезумевает от своего всевластия и над музыкой и над слушателями. Хотите покажу, как это будет выглядеть?..

Уже на улице, укутав только что горло, Виктор вдруг закричал:

— Танец! Танец!! Танец!!! Нет, я не могу смотреть целый вечер даже самый лучший эстрадный танцевальный ансамбль. Я — за синтетический театр с пародийным уклоном, который совместил бы в себе пластику, слово, музыку, живопись... Вот где мечтал бы работать.

Беседу вел Ю. ЗЕРЧАНИНОВ

спорт

Яков Шаус,
мастер спорта

СЧАСТЛИВЧИК АНДРИС

Я люблю шашки. Но с детских лет меня преследует упрек: «Ну почему ты не занялся шахматами? Все-таки это серьезнее».

Шашки и шахматы сравнивать правомерно, но отнюдь не для того, чтобы выявить: какая игра лучше? Это как в «Кондуите» Л. Кассиля: «Если слон и вдруг на кита налезет, кто кого соборет?»

Игра — всегда имитация определенных жизненных ситуаций. Так вот, исходя из этого, любопытно разобраться: в чем различие между философией шахмат и философией шашек, какой тип человека склонен к игре в шахматы, а какой — к игре в шашки? <

Лично меня восхищает в шашках логика. Я считаю, что шахматы (при своей специфической и глубокой логике) более иррациональны. Шашки ходят только вперед, и бой является обязательным. Это делает игру строгой и заранее обусловленной. На каждый ход ложится большая ответственность: отступить уже нельзя, и все последствия неотвратимы. Можно допустить один промах, и уже суровый расчет вариантов абсолютно точно и безжалостно показывает, что спасения нет.

Вот эта абсолютность, категоричность суждений в шашечной игре и привлекла меня в детстве, когда человеку так важно получить окончательный универсально верный ответ на каждый вопрос.

Я ищу в жизни ясности и определенности и больше всего ценю простоту, как форму существования сложности. Может быть, поэтому и сейчас, уже перешагнув за двадцать, я продолжаю восхищаться строгостью, логической законченностью, обманчивой простотой шашечной мысли.

Вроде бы ничего сложного. Количество вариантов ограничено. Надо рассчитать все дальше противника — и выиграешь. Но бывает и так. Все рассчитано, все сходится. Кажется, что и черные и белые шашки уже движутся по твоей воле к ясной тебе цели. И

вдруг взрыв! Противник жертвует сразу три шашки! Потом еще две, еще, еще... А затем механизм начинает работать в обратном направлении. Одна из немногих уцелевших шашек колесит, по доске, снимает шесть шашек, проходит в дамки и отрезает путь к спасению остальным твоим шашкам.

Это шашечная комбинация. Она делает игру оптимистичной. В отличие от шахмат, где комбинация обычно логически вытекает из позиционного преимущества, в шашках можно иметь уже совершенно безнадежную позицию и в последний момент взорвать комбинационную мину.

И еще. Атаку Таля поймут и оценят не все, кто знает ходы шахматных фигур. Но каждый, кто знает шашечные правила, испытает восторг, увидев, как понятные ему ходы рождают непонятно красивый шашечный фейерверк.

Я люблю шашки за то, что в них даже доведенная до предела логика не способна обуздать фантазию.

И при этом такая простота! И люди, играющие в шашки, как-то проще загадочно-мудрых шахматистов. Их игра не кажется таинством. Они стесняются писать много и красиво о своих сражениях, о своих героях. Они рациональны, как шашечная игра, и считают, что не к чему лишние слова, когда главное — это радость логического поединка, красота шашечных комбинаций, насыщенный интеллектуальный отдых.

И никто не знает о них.

Но я люблю шашки и считаю такое положение вещей несправедливым. И хочу рассказать о нашем чемпионе мира Андрисе Андрейко. Я знаю его уже десять лет, встречаюсь с ним за шашечной доской и вне турниров. Помню его худеньким мальчиком с робким лицом и горящими от азарта глазами и помню усталый взгляд из-за строгих очков после победного матча с Куперманом в прошлом году.

Он второй год чемпион мира, и ему сейчас 27 лет.

Все считают его счастливым, баловнем судьбы.

В 16 лет он впервые попал в финал первенства СССР и сразу заставил принять себя как равного. Он разделил тогда 4 — 5-е места и проиграл всего одну партию.

Его противники — лучшие шашкисты страны — долго и напряженно размышляли в поисках лучших ходов, попадали в цейтноты. А худенький мальчик быстро, казалось, совсем не думая, передвигал шашки, получал отличные позиции, выигрывал! Это не укладывалось в сознании. Как это можно, не думая, выигрывать? Тогда и родилась легенда о таинственной интуиции Андриса Андрейко.

Через два года Андрис был уже чемпионом СССР. Он играл по-прежнему легко, времени на обдумывание ходов тратил немного, при этом шел на самые рискованные, запутанные позиции. «Поборники справедливости» пытались подсчитать, сколько раз он мог проиграть при этом.

И забывали, что шашки — это спорт. И последняя инстанция шашечной истины — победа.

«Выигрыш» у противников Андрейко обычно оказывался в цейтноте. В головоломных осложнениях, на каждом шагу обходя замаскированные ловушки, его соперник тратил почти весь запас времени, уставал и в решающий момент уже не мог и не успевал разобраться во всех нюансах.

Не сразу поняли, что Андрейко — глубочайший психолог.

Вот он получает худшую позицию. Даже в защите Андрис всегда агрессивен. Изобретательно обороняясь, он уравнивает шансы и расставляет коварные ловушки. В этот момент он предлагает противнику ничью! Под впечатлением уже исчезнувшего преимущества тот азартно отклоняет предложение, считая, что от хорошей жизни Андрейко ничью не предложит. Лихорадочно отыскивая несуществующий выигрыш, противник забывает об опасности, грозящей ему самому... Сколько таких побед одержал Андрейко!

И все-таки про него писали, что с такой игрой он не добьется стабильных успехов; указывали, что надо играть солидней. Солидней? Пожалуйста! Андрис выигрывает партии в самой строгой, «академичной» позиционной манере.

Но в рамках этого стиля ему тесно. Он азартен и, как настоящий боец, любит бросать вызов судьбе. И поэтому он наряду с «классическими» играет такие партии, где надо балансировать между победой и поражением. Иногда кажется, что ему доставляет удовольствие испытывать свое счастье, снова и снова убеждаться в нем. Погружаясь в комбинации, идя на жертвы, допуская шашечные парадоксы, он не знает себе равных. А об интуиции хочется сказать отдельно.

Разумеется, тут нет никакой мистики. В основе его интуиции лежат огромный игровой опыт и глубочайшее понимание позиции, позволяющее мгновенно оценивать ситуацию на доске. И молниеносный расчет. Риск, фантазия, артистизм уживаются у Андриса с рационализмом и даже практицизмом. Сравнение может показаться неожиданным, но мне лично его игра напоминает экономичную манеру Эдуарда Стрельцова.

Обладая сверхдалеким расчетом, Андрейко не всегда пользуется им. В первой половине партии он обычно играет быстро, почти небрежно (кстати сказать, это сильно действует на впечатлительных соперников). Но вот он почувствовал (все-таки интуиция!): в позиции что-то есть! На лице сосредоточенность. Глаза его становятся невидящими: они далеко, они всматриваются в позиции, возникающие через 15 — 20 ходов.

Иногда риск заканчивается для Андрейко печально. И тут мне хочется отметить его черту, свойственную далеко не всем мастерам. Это спортивная гордость. Он не прощает побед над собой. Те, кто выигрывает у Андрейко, знают, что теперь он с ним будет играть тяжело, как никогда. Он мстителен и не успокаивается, пока не возвращает долг с «процентами».

И поэтому самое интересное — это его борьба с Куперманом. Шашист огромной воли, глубочайший стратег, Куперман был единственным, на кого не действовал гипноз Андрейко.

Красивые, но рискованные и не всегда корректные атаки Андрейко рушились, разбиваясь о железную логику планомерного, глубоко обоснованного, неумолимого наступления Купермана.

Они играли много раз, Андрейко часто оказывался выше в турнирной таблице, но победить Купермана не мог. А три раза проигрывал ему. В единоборстве с Куперманом стал тверже его характер, углубилось понимание законов игры, выкристаллизовался стиль.

В 1966 году Андрейко победил в турнире претендентов. Через полтора года он играл с Куперманом матч из 20 партий.

Казалось, что Андрейко подготовился к матчу безупречно. В первых же партиях, играя, как всегда, оригинально и смело, он удивил неожиданной мощностью, которой раньше не хватало его атакам. Трижды он получал совершенно выигранные позиции. Но что это? В решающий момент, когда надо было собрать трофеи, всегда уверенный в себе Андрейко терялся, начинал нервничать. Победы ускользали. Нервозность постепенно ухудшала его игру. А Куперман, чутко уловив момент, когда моральное состояние и игра противника достигали низшей точки, и резко перейдя в наступление, нанес удар.

Получив перевес в очко, он ушел в глухую защиту. Размены, спокойная маневренная игра — и никаких возможностей для Андрейко завязать острую игру.

А когда, не выдержав, Андрейко пошел ва-банк, последовал еще один, последний удар. Андрейко проиграл. 9:11. Счет его результативных встреч с Куперманом стал 0 : 5.

В шашках в отличие от шахмат раз в четыре года чемпион мира обязан защищать свое звание в Олимпийском турнире.

Всего через полгода после поражения Андрейко блестяще выигрывает Олимпийский турнир в Больцано, опережает Купермана, Щеголева, талантливого голландца Сейбрандса и становится чемпионом мира.

Но за Куперманом оставалось право на матч-реванш. И мало кто верил в успех Андрейко. Как пошутил кто-то, «в турнире Андрейко может занять первое место, выигрывая у более слабых, а в матче он должен играть с двадцатью Куперманами!».

Перед вторым матчем был еще чемпионат СССР. Андрейко шел впереди. Все ждали его встречи с Куперманом.

Это был захватывающий поединок. Андрейко провел очень тонкий стратегический план, добился преимущества. Затем последовала неожиданная жертва шашки, и Куперман сдался. «Комплекс неполноценности» исчез. Андрейко в четвертый раз стал чемпионом СССР и начал готовиться к матч-реваншу на звание чемпиона мира.

Когда уже в первой партии матча, энергично разменивая шашки, Андрейко предложил ничью чуть ли не в дебюте, не все сразу поняли, в чем дело. Но Андрейко и дальше пресекал все попытки Купермана завязать борьбу. Он в каждой партии предлагал ничью, а если противник не соглашался, затяжной серией разменов Андрейко принуждал его к этому.

Болельщики Андрейко были потрясены. А Куперман, наверно, вспомнил их первый матч, когда он сам пользовался тем, что в шашках не дают предупреждение за пассивное ведение борьбы. Теперь Андрейко, которого в матче устраивала ничья, «сквитался». Он штамповал ничью за ничьей. И Куперман поверил, что Андрейко боится обострять игру! Он был загипнотизирован казавшейся уже бесконечной вереницей монотонных, однообразных пичьих. И тут Андрейко пошел в атаку.

Когда в восьмой партии его шашки уже в дебюте вторглись на территорию противника, Куперман, раньше желавший, а теперь уже не ждавший этого, растерялся от неожиданности. Когда он опомнился, Андрейко уже захватил важные стратегические пункты. Куперман с опозданием обостряет — теперь уже в поисках спасения — позицию, расставляет комбинационные угрозы. Но это стихия чемпиона. Блеснув далеким расчетом, он позволяет Куперману провести комбинацию, после которой тот получает проигранный эндшпиль. И тут происходит нечто странное.

Куперман в жестоком цейтноте. Флажок на его часах чудом не падает. У Андрейко несложный выигрыш. И вдруг он делает ход, сразу упускающий победу! Ничья? Увы, оставшиеся шесть ходов Куперман сделать не может. От первого же прикосновения к часам флажок падает. В такой ответственный момент поиграть с судьбой, решиться на подобный психологический эксперимент мог только Андрис Андрейко, верящий в свое счастье.

После этого Андрейко раскрывает карты. Он переходит в наступление и демонстрирует, что больше ни в чем не уступает Куперману!

Особенно показательной в этом отношении была тринадцатая партия. Андрейко уже в дебюте получил преимущество, а затем на протяжении пятидесяти ходов не выпускал противника из тисков.

Он выиграл матч — 11,5:8,5. Счет личных встреч стал 4 : 5.

Всего через месяц после этого матча в Амстердаме состоялся рождественский турнир. Андрейко и Куперман встретились уже в первых турах.

Повторился дебют пятой партии матча. Андрейко получил перевес и начал медленное наступление. Куперман подолгу задумывается. Наконец, он находит план защиты, связанной с жертвой шашки. Но времени затрачено слишком много. Поднимающийся на часах флажок предупреждает, что равновесие неустойчиво. В цейтнотной горячке Куперман допускает решающую ошибку. Андрейко выигрывает и ставит в их споре последнюю точку над «и».

Но этот турнир выдвинул перед Андрисом новые проблемы. Он занял только третье место. А первое-второе разделили юные голландцы Тони Сейбрандс и Харм Вирсма. Одному 20 лет, другому 16. Сейбрандс уже двукратный чемпион Европы, а Вирсма почти не уступает ему.

Я спрашиваю Андриса об их возможностях, и он говорит, что через год, наверно, придется играть матч с Сейбрандсом.

— Поиграем, — смеется он.

Сейбрандса считают блестящим «техником»: получив малейшее преимущество, он уже не упускает его, используя все ошибки противника, создает свои излюбленные ударные колонны в центре, и мало кто может устоять под его напором.

Но Андрис верит в себя.

— Поиграем, — смеется он.

заметки и корреспонденции

ХАРЬКОВСКИЕ ДЕВЧОНКИ

В Харьковском музее, в зале, посвященном Великой Отчезства венной войне, я увидел под стеклом выцветшие пионерские галстуки, снимок трех задорных девчонок и фотографию маленького Володи Ульянова.

Им было по одиннадцати лет в ту страшную осень сорок первого года, когда, глядя на фотографию Володи Ульянова, они поклялись не снимать с себя алых галстуков. Лил нещадный дождь. А они в дальней пустой аллее зоосада, распахнув пальтишки и платица, стягивали под рубашонками эти самые галстуки: обе Овчаренко — Света и Лиля — однофамилицы, Валя Яшина, Вера Безродная, а Галя Шереметьева стояла перед ними, держа фотографию Володи Ульянова, как знамя...

Света, Валя и Галя и сегодня живут в Харькове. Только Овчаренко носит фамилию Романенко, Яшина — Лихно. Лишь кандидат химических наук Галина Шереметьева сохранила свою девичью фамилию. Они собрались у Романенко. Пришли с мужьями и дочерьми, которые нынче почти в том возрасте, в каком они были в ту осень сорок первого.

— Мы тогда жили все в одном доме, — сказала Валентина Максимовна, — учились в одном классе...

— Дом за университетом, — продолжила Галина Ивановна, — № 2 по нашей улице...

. — Имени VIII съезда Советов, — продолжила Светлана Федоровна, хозяйка квартиры. — Однажды мы собрались у Гали, чтоб взять почитать книги, которых было у нее великое множество Библиотеки-то фашисты прикрыли.

— И мама в то утро нашла книгу, — сказала Галина дочь Зина. — В ней говорилось о мальчике Луиджи из Падуи, который организовал группу юных мстителей за отцов...

— Они были рабочими, их арестовали фашисты, — подхватила Светланина Лариса.

— Вот наши мамы и подумали, — продолжила Валина дочь Лена, — чем же они хуже?

Взрослые слушали молча, а Валентина Максимовна даже побледнела, целиком отдавшись прошлому, Дочери совсем недавно узнали историю своих матерей. Были со школьной экскурсией в музее. «Ах, как хочется быть похожей на тебя, мам!» — так или похоже говорили дома и Зина, и Лариса, и Лена.

...Они выпускали стенгазету «ТОВАРИЩ». Оно было очень дорого и должно было жить — это слово. Расклеивали газету на стенах ближайших домов. В одной из стенгазет писали: «Завтра еще одна годовщина Великого Октября. Нам не позволяют ее праздновать. А мы будем — пускай злятся немецкие псы».

В этот день, как и в другие советские праздники, они сходились в пустом зоосаду. Кто-нибудь выступал с маленькой речью, потом тихо, совсем тихо пели «Интернационал».

Они рискнули в открытой немцами школе вывесить карикатуру на учительницу, наказывавшую за каждое по-русски произнесенное слово, и ниже изобразили немецкого солдата с топором у занявшейся огнем хаты. Карикатура наделала переполох. В школе началось следствие, но о них не узнали. Им очень везло на хороших людей. На одной из газет кто-то написал: «Не попадайтесь!»

Не раз, не два резали они телефонные провода штаба воинской части. Прокалывали шилом шины гитлеровских автомашин. Разбрасывали гвозди. И все вблизи своего дома. Что понимали они о конспирации? Ухаживали за могилами в парке, приносили цветы. Галю

Шереметьеву застал за этим немецкий унтер. Бил долго по № цу. А однажды попали в облаву. В Светиной корзинке под хламьем лежал свежий номер стеной газеты. Счастье, что в полицейском участке не полезли в корзинку.

У Веры в доме некоторое время прятался бежавший с работ пленный, у . Вали — двое раненых. Девочки делились с ними скудным пайком. Вера специально для них обменяла пальтишко на картошку. Приводили соседку-врача.

Когда же город освободили, они вышли на улицу встречать своих. В пионерских галстуках.

Вот, собственно, и все. Все делали по своей инициативе. Не выполняли даже самых скромных поручений подполья, с которым мечтали связаться, но так и не смогли. И тем не менее были настоящими маленькими героинями.

Олег МОИСЕЕВ

Н. АЛЯБЬЕВ

НАСТОЯЩЕЕ ПРОШЛОЕ

Война — жесточе нету слова,
Война — печальней нету слова,
Война — святее нету слова
В тоске и славе этих лет.
А. ТВАРДОВСКИЙ.

В один из зимних дней в редакцию «Юности» нагрянуло столько молодых людей, что когда все они решили сфотографироваться перед редакцией, ее не стало видно.

Что же это за люди? Откуда они? Что привело их в канун праздника Советской Армии в «Юность»?

Мы тоже были маленькими — октябрятами, а потом пионерами. И нам давали поручения, а мы их выполняли...

Однажды восьмиклассникам двадцатой школы города Казани учительница поручила собрать материал о Великой Отечественной войне для уголка боевой славы. Роздали по классам анкету, в которой среди других стоял вопрос: кем был твой отец на войне? Анкеты собрали, и тут выяснилось, что отцы двух ребят воевали в одном соединении — 146-й Островской Краснознаменной ордена Суворова II степени стрелковой дивизии.

Случайно ли это совпадение? — задумались в школе. И знают ли сами отцы, что они однополчане и что их дети учатся сегодня в одном классе? Или не знают — ни разу не пришлось встретиться даже на родительском собрании? Тогда обязательно нужно, чтобы они встретились. Это же интересно — встреча двадцать лет спустя!

Прошло четыре года. И вот нынешней зимой студенты Казанского театрального училища и авиационного института (их отряд возглавил бывший ученик двадцатой школы Ринат Мингалеев), а также студенты Казанского университета берут лыжи, набивают огромные рюкзаки, надевают штормовки и отправляются в путь. Теперь маршрут хорошо известен ребятам. С того дня, как в Двадцатой школе была проведена анкета, они успели выяснить, что 146-я дивизия сформировалась в Казани, в основном из татар, под Москвой получила боевое крещение, затем была переброшена в город Невель, Псковской области, откуда и продолжался ее боевой путь до Берлина.

Ребята разбились на две группы. От Невеля отправился отряд университета. Навстречу ему из Риги пошли «снежные десантники» из КТУ и КАИ. В назначенный день оба отряда должны были встретиться в городе Острове, который как раз и освобождала 146-я стрелковая.

...Жалко, что я прошел с ребятами не весь путь. Только неподалеку от границы Эстонии с Россией примкнул к меньшему отряду (театрального и авиационного), доведя его

численность до тринадцати человек. Я свалился на десантников как истый десантник, чудом застав их в городе Печоры (через три часа ребят там уже не было бы). Но и за два дня, которые с ними пробыл, я многое увидел, многое передумал и порядком устал. А ведь не тащил огромного рюкзака (так, только иногда чей-нибудь подтаскивал). И не было позади меня стольких километров похода. И не забирался ко мне за воротник мороз тридцати пяти градусов (Люба Вишневская: «В Саласпилсе, под Ригой, мороз был 34 — 35 градусов. Мы до чертиков замерзли, я не завидовала Алику и Володке с фото- и кинокамерами, которые снимали по колено в сугробе, с нешевелившимися пальцами на руках. Говорят, что такого мороза в Риге не было с 1944 года»). Но то, что я ощутил за два дня сам, я помножил на пять и вполне согласен со словами, записанными в походном дневнике Володей Жилиным: «Хотя я немного устал, но общее впечатление о походе хорошее. Ребята сдружились, с такими — хоть в бой».

Отряд сложился так. Хочешь быть «снежным десанником»? Хорошо. Но сначала пройди испытательный срок — надо посмотреть, что ты за парень. Потому и остались в отряде деятельные, выдержанные, знающие ребята, для которых поход не просто прогулка, а большое, важное дело. Р. Хайруллин, начальник штаба «снежного десанта»: «Ровно год назад наш отряд отправился в поход по калужской земле по следам 146-й дивизии. Прошел только год. Но каким насыщенным он был! И как повзрослели за этот год сами десантники! Теперь мы твердо можем сказать, что в университете сложился коллектив, имеющий интересные традиции, способный решать трудные задачи. Самостоятельный коллектив со своим уставом, гимном, знаменем, формой, единой целью и едиными интересами».

И как в подтверждение слов Хайруллина — короткая дневниковая запись одного из участников похода: «Когда мы уже были на подступах к Острову, пожилая попутчица спросила нас: — Зачем прошлое-то ворошить? Что было, то прошло...»

Ребята возражали: — Без прошлого нет настоящего...»

Мне, тринадцатому члену отряда, тоже кажется, что «прошлое ворошить» нужно. Только как?

Мальчишки играют в войну. Они с наслаждением слушают рассказы о боях. С блаженными лицами примеряют погоны. Считают за счастье подержать в руках настоящий пистолет.

Казанские отряды называют себя «снежным десантом». Десант так десант! Они проходят десятки километров на лыжах, внезапно появляясь в населенных пунктах. Им не дорог комфорт: в промерзшей комнатухе разбираются двенадцать спальных мешков — вот и ночлег. У них есть штаб и командиры. Они ходят строем и соблюдают воинскую дисциплину. Но от простой игры в войну их игра отличается самым существенным образом.

После первого перехода по маршрутам каждый из ребят записал в коллективном дневнике свое главное впечатление. Мне бросилась в глаза фраза «хочу понять», подчеркнутая дважды.

Написана эта фраза о Москве. Человек полон впечатлений от столицы. Он пытается осмыслить ее огромность, темп ее жизни. Но мне кажется, что фраза «Хочу понять» верна и для всего похода казанского «снежного десанта». В разговорах с ветеранами дивизии, с очевидцами боев, при встрече с той землей, которая стонала под взрывами бомб и снарядов двадцать пять лет назад, ребята не могли не задуматься над прошлым.

Многое было увидено, услышано, сделано и передумано «десантниками». Алик Баянов по дороге почти ничего не записал в дневник. Всего не опишешь, да и просто некогда: «Все очень здорово! Приеду домой — расскажу». За дни похода собран новый материал о дивизии, завязаны знакомства с хорошими и интересными людьми, прочитаны лекции, даны концерты. Ребята обнаружили занесенное снегом место бывшего концентрационного лагеря, открыли новые имена. Эти имена погибших бойцов 146-й дивизии «десантники» привезут в Казань. А чего стоят увиденные своими глазами в Печорском военкомате маленькие учетные карточки, составленные по похоронкам! Их

толстые пачки — «погибшие под населенным пунктом Лавры», — и каждая означает самое большое: «Их судьбы — как истории планет...»

На встрече с «десантниками» В. И. Иванов, секретарь горкома партии Острова, говорил:

— Была война, гибли тысячи людей... С тех пор прошло двадцать пять лет. и взгляд на историю стал более пристальным. Понятно: чтобы увидеть гору, нужно отойти подальше.

Что же это за гора?

Чтобы понять, в полной мере оценить значение нашей победы, понять характер советского человека, надо понять, из кого составлялись дивизии и армии, громившие врага.

Мы говорили с ребятами о том, что понять именно этого человека — такого же, как ты, но на войне — значит понять историю, настоящее прошлое.

А мы идем искать ровесников следы.

Тех самых, что на двадцать пять моложе нас...

Недаром в песне-гимне «снежного десанта» эти слова...

Когда у «десантников» из университета кончилась «железнодорожная полоса» похода и началась «лыжная», ребята задумались: «Что ждет нас впереди? Каждый думает и предполагает по-своему. Какие дороги приведут нас к Острову? А пока мы в Великих Луках, полные ожидания, предчувствия чего-то большого, тревожного и необходимого нам».

На дороге — снег, ветер в лицо — так же, как тому бойцу. Так же далек дом — маленькая Татария. И ребята, ровесники того бойца, идут с ним как бы рядом.

...Мы, тринадцать, приехали в Остров в одиннадцать вечера назначенного дня и, разумеется, тут же пошли к университетцам, которые, наверное, уже махнули рукой на наш своевременный приезд. И состоялась долгожданная встреча! Стали обниматься, рассказывать без конца, что видели и слышали, и было очень здорово.

Наутро оба отряда пришли на главную площадь Острова и возложили венок на могилу героя и любимца 146-й дивизии Тараса Рымаря. (Фоторепортер просил их повторить возложение для нового кадра. Они, вообще-то корректные люди, тут наотрез отказались: ведь все настоящее невозможно повторить.)

Рымарь... Он поднял бойцов в ту решающую атаку, и наши взяли укрепленный Остров. За эту операцию дивизии и было присвоено звание Островской. Этот освобожденный город, в котором, говорят, Тарас Рымарь влюбился в девчонку-островчанку, зна-'чил для него очень много. Выступая на городской площади, он просил: если не доживет до победы, погибнет, — похоронить его именно здесь. Он погиб через два месяца в Прибалтике. Его просьбу не забыли. Он лежит в «сердце» Острова. Ему был двадцать один год.

...На встрече в редакции «Юности» ребята рассказывали о своем походе и о себе. Комиссар университетского отряда Валерий Соловьев сказал:

— Хотя говорится: «Никто не забыт и ничто не забыто», девиз нашего отряда — «Никто не должен быть забыт, ничто не должно быть забыто». Мы убедились, что из минувшего многое все-таки изрядно забыто. И при этом видели, что местные жители с интересом относятся к нашему делу, разделяют наше стремление найти как можно больше. Так что дело нужно продолжать.

Театральные выступления были, конечно, не главным у ребят в походе. Но они говорили о самом важном — о мыслях, которые владели «десантниками» в пути.

Театральная композиция, которую подготовили «десантники», состояла из двух равных по значению частей: «Фашизм» и «Война».

Как показывали композицию? Обычно так. С автобуса — и прямо в школу, там, не успев снять штормовки, — сразу в актовЫй зал, и уже Ринат коротко и просто рассказывает о походе, потом Шамиль — о Казани, о Татарии. Как их встречали! В Тарту это были «коллеги» — восьмиклассники 6-й тартуской школы, которые тоже занимаются историей

146-й дивизии. На подходе к Острову им навстречу вышли ребяга-островичи, чтобы проложить лыжню.

Мне это очень понравилось — как в затерянное, но, безусловно, существующее на свете местечко вдруг приезжает «десант» из какого-то другого конкретного места, рассказывает о себе, слушает тебя. Получается, что земля хоть и велика, но все равно все — близкие. И могут просто вот так говорить, будто давным-давно знакомы.

На днях получил письмо из Казани. Люся Вершинина, «десантница», пишет: «Скоро к нам прибудет пополнение: с первого курса КТУ будет в нашем отряде парнишка. И еще будут ребята из КАИ. Тоже с младших курсов. Мы ведь на будущий год кончаем, а кто-то должен идти дальше (до Берлина!)»...

СВОЙ ТАНК

Они шутили: — А хорошо, наверное, иметь свой танк?.. Вот отстреляет он свое, отпилим мы ему пушку и будем на нем по Москве ездить — по редакциям, в магазины, купаться за город...

А был апрель 1942-го. Немцы бомбили Москву, и конец войны еще не угадывался. Четыре писателя — Самуил Маршак, Сергей Михалков, Николай Тихонов, Виктор Гусев — и художники Кукрыниксы — Михаил Куприянов, Порфирий Крылов и Николай Соколов — решили отдать премии, которые они получили за свои произведения, на строительство танка.

— Мы все жили в одном доме с Маршаком, — вспоминает Николай Александрович Соколов. — А мы с Крыловым — даже в одной квартире. И Куприянов переехал к нам — так работать было легче. Превратили квартиру в мастерскую, делали там «Окна ТАСС» и часто бегали к Маршаку на два этажа выше за стихотворными подписями. Вот у него в кабинете и родилась идея насчет танка. Из осажденного Ленинграда подал свой голос Тихонов, что он тоже входит в долю на танк.

И когда определилась сумма, сколоченная семерыми, стали думать: а хватит? Сколько стоит танк — никто не знал. Пошли в Управление бронетанковых войск к генералу Николаю Ивановичу Бирюкову и рассказали ему о своем намерении. Кто-то из начальства сказал, что неудобно, мол, получается — одной рукой государство дает людям премии, а другой вроде бы отнимает, как бы не истолковали это превратно...

— Тогда мы предложили не публиковать информацию о строительстве нашего танка, чтобы никто ничего не подумал, — рассказывает Порфирий Никитич Крылов. — Реклама нас не волновала, нас волновало тогда только одно — хватит ли наших денег на по-стройку тяжелого танка «КВ».

— Не волнуйтесь, — ответил им Бирюков, — не хватит — добавим, останется — сдачу битыми фрицами дадим.

И танк построили. Назвали «Беспощадный». И началась боевая история танка.

«Комсомольская правда», 3 сентября 1942 года:

«...В это время вышли вперед 28 танков врага. Комсомольцы «Беспощадного» смело преградили путь этой колонне. Подбили один танк, за ним второй. Немцы почувствовали опасного противника и двадцатью шестью машинами атаковали «Беспощадный». Комсомольцы подбили еще три танка, и тогда произошло нечто невероятное — 23 немецких танка повернулись и обратились в бегство от одной советской машины...»

После этого боя экипаж писал в Москву «родителям танка».

— В письме надо написать, — сказал тогда раненый старший механик-водитель Егор Царапин, — что они сейчас не узнают «Беспощадного». Танк стал черным. На его теле 29 вмятин, 2 пробоины, и 3 снаряда застряли в корпусе брони. И обязательно сообщить, что немцы своим снарядом угодили в рисунок и оторвали ногу Гитлеру.

Дело в том, что на танке, как только его построили, Кукрыниксы нарисовали Гитлера, трясущегося и распадающегося на части от натиска «Беспощадного».

Однажды на квартире Кукрыниксов раздался звонок:

— Здравствуйте! Хорошилов говорит. Только что с фронта. Коробка скоростей у нас испортилась, новую приехал выбивать. Помогите, чтоб поскорей...

— Опять звонили Бирюкову, — говорят Кукрыниксы. — Коробку немедленно дали, и наш Паша Хорошилов был счастлив, что может снова уехать на фронт.

...Командир танка «Беспощадный» старший лейтенант Павел Хорошилов пал смертью храбрых 1 марта 1943 года...

А тогда, в 1942-м, Паша сидел с квартире Кукрыниксов и угощал хозяев фронтowymi концентратами в агитупаковках, на которых были написаны лихие стихи Маршака: «Хорошенько пообедай, наш товарищ дорогой. Бей фашистов и с победой возвращайся в дом родной», — и напечатан рисунок тех, кто в тот момент, дуя на ложки и обжигаясь, уписывал аппетитнейшую солдатскую еду.

Кукрыниксы продолжают рассказ о тех днях:

— Мы тогда закончили картину «Таня» — казнь Зои Космодемьянской — к Всесоюзной выставке, первой с начала войны. Надо везти картину в Третьяковку, а машины нет. И вот Паша решает по пути на фронт подбросить нас. Грузим картину в кузов хорошиловского военного грузовика, где уже лежит новенькая коробка скоростей «Беспощадного», и через всю Москву едем на выставку. Когда принесли в зал и сняли упадовку, чтобы наши друзья взглянули на картину, шофер Хорошилова сказал: «А как же вас немцы не тронули, когда вы рисовали? Или вы с самолета...». Не мог представить, что мы картину не с натуры рисовали...

Сейчас в мастерской у Кукрыниксов стоит модель «Беспощадного», подаренная им молодыми бойцами части, к которой во время войны был приписан танк. Таким образом, сбылась мечта художников — через 25 лет после Победы их танк с ними. Правда, по Москве они ездят не на нем, а так же, как другие москвичи, — в троллейбусах, автобусах, на такси... Но это даже удобнее.

М. ПРОБОРОВ

ЗЕЛЕНЬИЙ ПОРТФЕЛЬ

Арк. Арканов

ПЕРЕД ВТОРЖЕНИЕМ С НЕПТУНА

ФАНТАСТИКО-ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ

Из цикла

«Утрёпинские будни»

Старожилы Утрёпинска наверняка помнят то невероятно жаркое и потное дето, когда в течение июля весь город был буквально перевернут вверх дном и само его благополучное существование едва не было поставлено под сомнение. В начале июля по утрёпинским тротуарам, магазинам, столовым, парикмахерским и квартирам начали расплзаться слухи о предстоящем вторжении с Нептуна. Сталкиваясь друг с другом в разных общественных местах, жители вполголоса сообщали эту невеселую новость своим знакомым, а знакомые, оказывалось, уже слышали о ней от кого-то...

Назывались даже сроки вторжения: 18 — 20 июля.

Четвертого числа часов около семнадцати по Гринвичу, в маленьком продовольственном магазинчике Утрёпищеторга появился некий Сермяжский — длинный, вышедший на пенсию школьный преподаватель черчения. В одной руке у него была рейшина, с которой Сермяжский никогда не расставался на случай, если вдруг кто-нибудь

обратится с просьбой помочь разобраться в эпюрах. В другой руке у Сермяжского была клетчатая хозяйственная сумка.

Бегло обменявшись с покупателями свежими новостями о предстоящем вторжении, Сермяжский купил 12 килограммов соли.

— Есть мнение, — сказал он, — и лично я с этим мнением склонен согласиться, что нептунцы питаются исключительно солью. Поэтому имеет смысл сделать кое-какие запасы. Одновременно с этим, скупив всю соль, мы тем самым заведомо обрекаем варваров на голодную смерть...

— Вот сволочи, вот гады, — заметил кто-то из покупателей и купил 16 килограммов соли.

— Мне-то лично ее и даром не надо, — добавила продавщица. — У меня почки.

И сама отложила 18 килограммов соли под прилавок...

В течение последующих пяти минут вся соль в маленьком продовольственном магазине Утрёпищеторга была раскуплена.

Утром следующего дня у всех продовольственных магазинов города выстроились огромные очереди. Добровольцы-переписчики химическими карандашами ставили номера на левых ладонях утрёпинцев.

Неразрешимой стала проблема распределения соли.

— Больше двухсот граммов в одни руки не давать, — возбужденно предлагали одни.

Другие не соглашались:

— По количеству членов семьи! Так будет по справедливости!

— Неправильно это! — кричала секретарша из горздрава. — Тогда я мать из деревни выпишу и у себя пропишу!

— Разумеется, — поддержал ее известный в Утрёпинске писатель-фантаст Лобастов, — а если у меня нет матери? Чем хуже человек, у которого нет матери, человека, у которого есть мать?

Так или иначе, к исходу дня с солью в Утрёпинске было покончено.

В этот день газета «Вечерний Утрёпинск» вышла на два часа раньше обычного.

В передовой статье опровергались слухи о вторжении с Нептуна и предлагалось «выявлять паникеров в своей же среде». На последней странице было опубликовано выступление академика Леворьверло — «Почему нет жизни на Нептуне». Академик доказывал, что на Нептуне, где средняя температура равна — 200°C, никакая мало-мальски органическая жизнь невозможна. Публикация сопровождалась схемой строения солнечной системы.

Это окончательно убедило утрёпинцев в истинности слухов о вторжении.

— Нет дыма без огня, — переговаривались они между собой. — Значит, точно будет вторжение или еще что-нибудь.

Поздно вечером появились первые спекулянты. К заведующему утрёпинской библиотекой около полуночи явился незнакомец и потребовал за стакан соли полное собрание сочинений Рэя Бредбери. Завбцбиблиотекой согласился.

Каждый наживался как мог...

Ночь прошла в волнениях и пересудах.

Утром сторож Дворца бракосочетаний рассказывал обступившей его толпе жителей о странном ночном разговоре, который он подслушал в скверике напротив Дворца. Сторож был разгорячен и взволнован.

— И вдруг чувствую, — говорил он, — будто шорох в кустах... Я ружье зарядил и к кустам. И тут вдруг слышу два голоса. Один явно мужской, а другой явно женский... И он, мужской голос, говорит ей, женскому голосу, что вот, мол, дорогая, жизни нашей осталось вроде как три недели и что какой, стало быть, резон беречься... Что давай, мол, вроде займемся получением от жизни всяческих удовольствий... А женский голос в ответ засомневался и говорит, а что если вроде бы нептунцы никакие на землю не явятся... Но он

ей мужским голосом прямо божиться стал, что непременно нептунцы явятся и что он умоляет ее заняться получением от жизни всяческих удовольствий, и немедленно...

Жители тут же обсуждали услышанное и интересовались у сторожа, не опознал ли он по голосу, кто бы это мог быть. Но сторож категорически заявил, что по голосу различить, кто это, у него не было никакой возможности, но поскольку светает нынче рано, то он ясно видел, что это был чертежник Сермяжский и артистка, которая в Новый год играла по телевизору Снегурочку.

Многие, прослушав эту странную историю, не пошли на работу и остались тут же решать, как быть дальше.

У входа в местное общество «Знание» председатель общества давал разъяснения группе осаждавших его любознательных утрёпинцев:

— Товарищи! Друзья! — умолял он. — Да поймите вы! Я диалектик. Вероятность высадки нептунцев равна практически нулю. Но даже если бы угроза вторжения с этой удаленной от нас безжизненной планеты существовала реально, то полностью абсурдными являются слухи о том, что нептунцы питаются солью!.. На Нептуне вечный мороз и мерзлота... Среднегодовая температура — 200°! А соль, как известно, вызывает таяние льда. Недаром зимой солью посыпают мостовые... Что же, нептунцы — полные идиоты, чтобы питаться тем, что их же будет оттаивать?.. Тем более, что я уже говорил, что никакой жизни на Нептуне нет, а стало быть, нет никакой угрозы вторжения!..

— А почему же тогда баня не работает? — крикнул кто-то. — У нее выходной день в понедельник, а сегодня вторник, а?

Председатель общества «Знание» побледнел и со словами: «Это меняет дело» — бросился в дом...

Паника нарастала.

К середине дня стало известно, что минувшей ночью странным образом исчез муж секретарши горздрава. Легли спать вместе как ни в чем не бывало. А утром вместо мужа на подушке лежала записка: «Прости. Так получилось».

Секретарша билась головой о стенку и уверяла, что его похитили нептунцы. Это выглядело убедительным.

Следующей ночью все жены Утрёпинска не сомкнули глаз, предварительно прикрутив своих мужей ремнями к постелям.

Но стоило супруге председателя общества «Знание» отлучиться по естественным надобностям, как ее муж исчез вместе с постелью.

Супруге председателя общества «Знание», этой самоуверенной пифии, никто, разумеется, не посочувствовал, но сам факт выглядел мрачным и угрожающим.

Кто-то высказал мнение, что это не что иное, как инопланетная диверсия с целью подрыва воспроизводства потомства.

За пять дней до ожидаемого вторжения на центральном рынке были задержаны два нептунца. Они переоделись приезжими с юга и бесплатно продавали мандарины. Это уже само по себе показалось подозрительным. При последующей проверке задержанные оказались действительно приехавшими с юга. Они в тот день действительно продавали мандарины. Но не бесплатно...

За два дня до вторжения утрёпинцы раскупили все колбасные изделия и детские игрушки. Дело в том, что в парикмахерской № 3 одна женщина во время маникюра рассказала, что в Конотопе уже было вторжение и нептунцы первым делом набросились на колбасу. Что же касается детских игрушек, то их утрёпинцы раскупили просто так. На всякий случай.

И вот наступил тот самый день.

С утра город был пуст. Жители сидели в своих квартирах запершись и лишь поглядывали через занавеси на окнах, что же там делается с вторжением. По улицам бегали друг за другом счастливые утрёпинские собаки. Чертежник Сермяжский шепотом объяснял при помощи рейсшины, что, по-видимому, нептунцы должны быть довольно злыми. Они

значительно злее уранцев, ибо озлобленность прямо пропорциональна удаленности... Хотя и это еще не бесспорно. Ведь вот двоюродный брат Сермяжского живет далеко за Полярным кругом, но тем не менее отзывчивый и добрый человек. И не далее как прошлым летом, едучи в отпуск, завез Сермяжскому две вяленые нельмы...

В 12 часов дня вторжения не было.

В 16 часов его не было по-прежнему.

В 19 часов сторож Дворца бракосочетаний, будучи человеком практичным, выбежал на улицу, взмахнул два раза метлой и юркнул обратно в дом. Вторжение вторжением, а от прогула надо застраховаться...

Ночью не было вторжения, следующим утром не было вторжения. И вообще потом не было никакого вторжения.

Постепенно жизнь Утрёпинска вошла в прежнюю колею...

В середине августа возвратился исхудавший муж секретарши горздрава. Он ползал перед женой на коленях, плакал и в конце концов был прощен. Правда, после этого ночами он спал плохо, метался и кричал в бреду: «О Изабелла! Изабелла!..»

Секретарша горздрава объясняла просыпавшимся соседям, что ее муж имел в виду сорт грузинского винограда. Чуть позже вернулся к супруге и председатель общества «Знание». Он наотрез отказался давать какие бы то ни было показания, но обзывал при этом всякими ненаучными словами мужа секретарши горздрава.

Артистка, игравшая в Новый год по телевизору Снегурочку, подала в суд на чертежника Сермяжского «за принуждение с помощью шантажа и научной фантастики к нежелательному получению от жизни всяческих удовольствий...»

Между тем на Нептуне в течение того же самого календарного времени царила жуткая паника и неразбериха.

Стало известно, что со дня на день должно состояться вторжение с Земли. Нептунские газеты, радио и телевидение опровергали эти глупые слухи, научно доказывая, что на Земле, где средняя температура +14°C, вряд ли вероятна любая мало-мальски органическая жизнь. Тем не менее паника нарастала. Больше того, выяснилось, что земляне питаются исключительно атмосферой и жрут ее буквально кубометрами. Так или иначе, в течение июля на Нептуне и в его окрестностях аборигены расхватали весь кислород и на всякий случай остальные элементы, оставив только водород и метан (видимо, у них просто не хватило денег), и это обстоятельство долго являлось непостижимой загадкой для всего ученого мира Земли.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО И. М. ШЕВЦОВУ АВТОРУ РОМАНА «ВО ИМЯ ОТЦА И СЫНА»

Решила написать вам, Иван Михайлович, сразу же по прочтении вашего нового романа, «Во имя отца и сына», вышедшего в этом году в издательстве «Московский рабочий». Эта книга уже разобрана в рецензии «Комсомольской правды» от 9 апреля 1970 года, но ваш роман так неисчерпаем, что я тоже решила взяться за перо, тем более что на страницах романа «Во имя отца и сына» много раз упоминается журнал «Юность», в котором я работаю.

Что и говорить: потряс меня роман, да иначе и быть не могло, иначе зачем бы вам его писать? Но сразу огорчила меня одна досадная неувязка — у книги вашей нет предисловия. У предыдущего вашего романа, «Тля», есть предисловие, а у «Во имя отца и сына»

нет! В чем дело? Чем же то лучше этого? Что же, у нас ни одной известной фамилии не осталось, под которой вы сумели бы выступить с предисловием, как это было сделано в романе «Тля»? Поэтому и решила я предложить свои скромные услуги.

Хоть я не так известна и авторитетна, как бы вам хотелось, но зато я человек верный. Я уж не откажусь от того, что подпишу, как отказался в свое время автор предисловия к

роману-памфлету «Тля» действительный член Академии художеств А. Лактионов, который вдруг заявил в газетах, что этого им подписанного предисловия не только не писал, но даже и не видел. Нет, я не откажусь, уж коли подпишу!

Итак, предисловие мне представляется примерно таким.

«ВО ИМЯ ОТЦА И СЫНА» — НОВЫЙ РОМАН-ЗВОНЬ И. ШЕВЦОВА

Дорогой читатель!

Ты открываешь книгу поистине удивительную. Чтобы коротко определить оригинальный жанр, в котором выполнена книга, мы решили назвать ее «романом-звонью», тем более что слово «звонь» выковано самим автором в его творческой мастерской... «Золотую звонь осенних берез» воспевают романисты уже на седьмой странице своего романа. «Звонь!» Как многозначительно это словообразование!

Так о чем же звонит И. Шевцов? О многом. Точнее: обо всем понемногу. О стилягах, проходимцах, фальсификаторах, жуликах, анонимщиках, абстракционистах, карьеристах, фельетонистах, модернистах, садистах, антимонументалистах, а также о других гадах, которые носят шапки-пирожки из норки, знают два иностранных языка и ходят в рестораны. Их много, очень много, как это свидетельствует автор, они заполнили нашу землю, наводнили все места культурного и общественного пользования, проходу от них нет, деться от них некуда... Правда, как говорится в книге, их «можно по пальцам пересчитать, и корней в народе, как всякий мусор, они не имеют», но И. Шевцов в романе не собирается их считать, а собирается их писать! И пишет.

Автор бьет в набат, кричит «караул», потому что промедление смерти подобно. Выйди книга И. Шевцова на пару дней позже, кто знает, может быть, со всеми хорошими художниками и писателями и вообще честными людьми нашими было бы все покончено. Но, к счастью, Иван Шевцов у нас пока еще есть, и, как метко он говорит на стр. 145 романа, наши простые советские люди все-таки «спокойно и уверенно делают свое великое дело, не обращая внимания на истошный вой саксофонов».

Да, дорогой читатель! Нелегко тебе! Саксофоны воют (стр. 145), телевидение показывает всякую ерунду (стр. 219), Третьяковскую галерею кто-то хочет сжечь, поскольку она мешает новому искусству (стр. 144), в профессиональных театрах редко видишь героиню — они предпочитают ставить пошленькую иностранщину и отечественную дребедень (стр. 21), ни один фильм на современную тему не выпускают, если в нем нет твиста (стр. 219), но радио хорошую музыку дают только тогда, когда космонавты летают (стр. 274), фельетонисты в центральной прессе лаются, как базарные торговки (стр. 355), певицы выступают на эстраде, украшенной большой шестиугольной звездой, присасываются к микрофонам, как телки к вымени коровы, безголово завывают, явно подражая Пьехе (стр. 219), и вообще — наших бьют!!! (стр. 1 — 399).

Разве можно с такой обстановке нормально работать? «Нет!» — гневно отвечает И. Шевцов. Недаром в его романе коллектив завода «Богатырь», забыв о выпуске продукции, о качестве, производительности и других малоинтересных, с точки зрения автора, вещах, только и делает, что беспрерывно отбивается от нападков темных сил. Естественно, для работы на производстве просто не остается времени... Некогда даже покрыть крышу над механическим цехом, дождь поливает станки, и только на последних страницах романа крышу все-таки кое-как заделывают... А тут еще журнал «Юность»!

Этому молодежному журналу в книге И. Шевцова отводится особое место. Я сама много лет сотрудничаю в этом журнале, но только сейчас, прочитав книгу «Во имя отца и сына», поняла, в каком страшном грехе повинна. Мало того, что «Юность», оказывается, провозглашает (стр. 285), что «Шолохов, Фадеев, Фурманов, Николай Островский — это, мол, памятники, история, к которой не стоит возвращаться». К тому же этот журнал обладает, оказывается, еще и наркотическим действием. С его помощью, оказывается, легко

совращать девиц. И. Шевцов обстоятельно доказывает это на стр. 294, когда описывает, как некий Димка Братишка (он же Дин) подсовывает неопытной девушке Ладе не только рюмку с коньяком и шампанским, но и «последний сногшибательный номер «Юности». Тут-то Лада и сдалась. «Она, — пишет автор, — не то что хотела дать волю инстинктам, а просто с тайным любопытством желала новых, не изведанных ею ощущений, о которых читала в популярном молодежном журнале».

Бедная Лада! Бедная я, Галка Галкина! Несчастные мы — скромные советские девушки! Мы теперь просто будем бояться по улицам ходить... Как увидим какого-нибудь парня с журналом «Юность», так и побежим от него без оглядки... А то ведь подойдет, даст журнальчик почитать, а потом жениться не захочет... Спасибо вам, И. Шевцов, спасибо и редакторам, которые помогли появиться этой профилактической книге, спасибо всем стоящим на страже нашей целомудренности!

Далее И. Шевцов на стр. 226 обратил внимание на то, что в журнале «Юность» «стихи разбивают шестиконечными звездочками». По простоте своей я думала, что такая звездочка — обыкновенный типографский знак, каких много в каталоге шрифтов и который используется полиграфистами для разбивки текста в печатных изданиях. Наивные работники типографии! Прочтите скорей, ради бога, «Во имя отца и сына»! Там вам точно объяснят, что это никакой не типографский знак, а не больше не меньше, как «знак государства Израиль»! «Каждому, — пишет на той же странице И. Шевцов, — светят свои звезды!» Улавливаете?! Понимаете, что разоблачает автор? Но не кажется ли вам, Иван Михайлович, если продолжить дальше в том же духе «изыскания», что ведь и вас тоже подвели, заключив вашу книгу в коричневый переплет. Ведь все знают, символом чего был коричневый цвет...

Дорогой читатель! Ты можешь, конечно, обвинить меня в том, что я все время хвалю и хвалю автора и в своем предисловии совсем не указываю на недостатки книги. Да, к сожалению, имеются и они. Не всегда автор оказывается на уровне своей основной задачи — противопоставить интеллигенцию людям физического труда, поссорить их. Не слишком нов и метод очернения нашей действительности. Иногда кажется, что оценка расстановки сил в нашем обществе взята И. Шевцовым напрокат, откуда-то из зарубежной печати. Поэтому не смущайся, дорогой читатель, если при чтении «Во имя отца и сына» у тебя зарядит в глазах и буквы станут до удивления похожими на иероглифы. Ну, что ж, бывает! Что есть, то есть. Однако все претензии по этой книге мы должны предъявить прежде всего редакторам издательства «Московский рабочий», которые по роду своей профессии, вероятно, должны быть людьми культурными, обладать хотя бы элементарным литературным вкусом, чего, конечно, нельзя требовать от Ивана Шевцова.

Вот что мне хотелось сказать тебе, дорогой читатель, прежде чем ты возьмешь в руки эту книгу.

Теперь можешь считать, что слышал звонь и знаешь, откуда онь.

«Во имя отца и сына»... и святого духа. Аминь!

Галка ГАЛКИНА

В НОМЕРЕ

Проза ...

Иосиф ГЕРАСИМОВ. Туда и обратно. »

Роман 4

Борис ЗУБАВИН. Гарнизон «уголка». ч j

Рассказ ЭШ

Людмила УВАРОВА. На один день поздне-

нее. Рассказ. ' ' . .

Геннадий ПРОЦЕНКО. Двести строк на первую полосу. Рассказ . . . « : . .

ш' поэзия

Лихаил ЛЬВОВ. Ветераны. Другу. «У меня ч на столе есть Джалиля портрет. . . »™

Юлия ДРУНИНА. В сорок пятом. Правила игры. «Не встречайтесь с первой любовью. . . ». «Бывает жизнь забавною ч вначале. . . ». От имени павших . . . ff

Борис СЛУЦКИЙ. Судьба детских воздушных шаров. Вершигора конспектирует. Убежденность. Учебная музыка. Летний дождик. «Сколько звездной in блистательной падали. . . » 9V

Виктор УРИН. Днепр, 1943. Я был комсоргом- роты автоматчиков. Муравьи.)4 Вечный рядовой' *1

Михаил КАСАТКИН. «Старушка у крылечка, на ступеньке. . . ». «Полошутся березки у опушки. . . ». «Снег исчез в громах и солнцах вешних. . . ». «По осени, остылой всклень. . . ». «Дохнула ар- « бузами полночь. . . ».

Юрий КАМЕНЕЦКИЙ. Из дней войны. «Мы с ним вели железную игру. . . ». В поиске. «Кажется, скрипит земная ось. . . » Щц

Анатолий ПОПЕРЕЧНЫЙ. Земля. Мустаю яя Кариму. «Цветы зеленые Востока. . . » . **'

Агния БАРТО. Почтальону грустно. Мы не заметили жука. Так на тан. За цветами в зимний лес. Все ушло в песок. * л Наш кормилец. О1

Виктор БОКОВ. Сказ о Волге . . .

62

Валентин ПРОТАЛИН. В дороге. «Душа не знает, кто она. . . ». Последняя ночь

Щ публицистика

Борис БЯЛИК. Подвиг советской литера- г г туры

Евгений ДОЛМАТОВСКИЙ. Берлин 1 — 2 г г мая 1945 года.

Братство. Владимир ГАЛЛ. История двух памятников. Александр СИНЕЛЬНИКОВ, Валентин ТОМИН. Солдаты одного фронта . : ' m '

Виктор ЛИПАТОВ. Секретарь горкома g2

к h а МJ е и вкладке

Сергей БАРУЗДИН. Искусство и война 64

почта «юности»

Еще раз о «Восьми письмах». оа Н. ДОЛИНИНА. Обязанность души . . . »'

- ' ' .

§ среди книг

92

Маленькие рецензии и аннотации . .

Ш наука и техника

Вадим БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ. Крылья — как пі счастье. : *Щ

ф дебюты

Виктор ЧИСТЯКОВ: «Жанр пародии веду по от скоморохов». ~°

00

Яков ШАУС. Счастливчик Андрис . . *'

% заметки

и корреспонденции
& Олег МОИСЕЕВ. Харьковские девчонки
& Н. АЛЯБЬЕВ. Настоящее прошлое лп<у
й< М. ПРОБОРОВ. Свой танк ,w*
% зеленый портфель

Арк. АРКАНОВ. Перед вторжением с Неп- jqо туна

Галка Галкина. «Я к вам пишу...». Открытое письмо И. М. Шевцову, автору 4 4П романа «Во имя отца и сына» . . . Р™

На 1-й и 4-й страницах обложки рисунок Н. ВИГИЛЯНСКОЙ и Ф. КАЧЕЛАЕВА.

Главный редактор Б. Н. ПОЛЕВОЙ.

Первый заместитель главного редактора С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.

Редакционная коллегия: А. Г. АЛЕКСИН, В. И. АМЛИНСКИЙ, В. И. ВОРОНОВ (зам. главного редактора), В. Н. ГОРЯЕВ, А. Д. ДЕМЕНТЬЕВ, Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ (отв. секретарь), К Ш. КУЛИЕВ, Г. А. МЕДЫНСКИЙ, М. П. ПРИЛЕЖАЕВА.

Художественный редактор Ю. А Ц и ш е в с к и й. Технический редактор Л. К. З я б к и н а.

Адрес редакции: Москва, Г-69, ул. Воровского, 52. Тел. 291-62-47. Рукописи не возвращаются.

Сдано в набор 6/III 1970 г. А 01041. Подп. к печати 29/IV 1970 г. Формат бумаги 84X108'/6.

Объем 12,18 усл. печ. л. 17,62 учетно-изд. л. Тираж 1 800 000 экз Изд. № 916. Заказ № 712.,

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина. Москва, А-47, ул. «Правды», 24.